

Орхан ПАМУК

ЧЕРНАЯ КНИГА

Роман-цивилизация, или Возвращенное искусство Шехерезады

«Почему люди хотят жить не своей, а чьей-нибудь чужой жизнью?» – спрашивает герой памуковской «Черной книги» (по-турецки ее заглавие звучит еще лучше – «Кара китап»), на самом деле задавая этот вопрос – так уж устроена любая книга! – нам, ее читателям. А каждый из шести изданных на нынешний день романов Орхана Памука прочитали сегодня сотни и сотни тысяч людей не только у него на родине, но и в большинстве стран Запада. Сорокасемилетний на нынешний день Памук – вероятно, главное открытие в мировой литературе девяностых годов (вместе с ним событием, кажется, стала и вся новейшая турецкая проза, включая совсем не «женские» романы писательниц Латифе Текин или Эмине Оздамар, в зеркала которых сейчас с интересом вглядывается Европа).

Орхан Памук – представитель старой и состоятельной семьи выходцев из греко-турецкого городка Маниса (древняя Магнезия) неподалеку от Измира (Смирны). Учился в американском Роберт-колледже, лучшей стамбульской спецшколе, три года стажировался в США, сейчас живет в Стамбуле. Дебютировал в 1979 году, двадцатисемилетним. В начале девяностых итальянский писатель Марйо Бьонди окрестил Памука турецким Умберто Эко. «Великий турецкий роман» – представлял «Черную книгу» испаноязычным и французским читателям в 1996 году Хуан Гойтисоло. "Если говорить словами Борхеса и Памука..." – заканчивалась рецензия на американское издание «Кара китап» (1995) в газете «Нейшн». Дар воображения, пластическую силу и убедительность Памука сравнивали с энергией фантазии у Германа Гессе и Итало Кальвино, Джеймса Грэма Балларда, Уильяма Гасса, Джанет Уинтерсон. Мне же он напомнил тех – не раз и не два поминавшихся Борхесом – полуночных сказителей, *confabulatores nocturni*, которые слово за слово сплетают в веках бесконечную книгу «Тысячи и одной ночи» и которых звал к себе с восточных базаров скрасить бессонницу легендарный Зу-л-Карнайн, Александр Великий. С коврикатеческой выдумкой повествователей из городского торгового люда Памук соединяет многослойную аллегори-

ческую метафорику ученой поэзии суфиев. Не зря героиней нескольких «рассказов в рассказе», составляющих головокружительные галереи и лабиринты «Кара китап», – автор знаменитой и беспредельной «Книги о сокрытом смысле», легендарный персоязычный поэт-мистик XIII века Джалалиддин Руми, получивший титул «Мевляна» (наш господин).

Роман Памука – четвертый у него по счету – был написан в 1985-1989 годах, опубликован в 1990-м. Через год известный турецкий кинорежиссер О. Кавур снял по книге фильм (позже вышли памуковские романы «Новая жизнь», 1994, и «Меня называют Красный», 1998, ставшие в Турции уникальными по популярности бестселлерами). Поскольку «Черная книга» – если брать лишь один из уровней повествования – детектив («первый турецкий детективный роман», как отмечено в самом его конце), то я не стану излагать сюжет, прослеживать повороты запутанной интриги и предварять криминальную развязку. Скажу лишь, что перед читателями – классический, родовой образец романного жанра, «роман поиска» (novel of the quest). Причем поиск этот ведется опять-таки в нескольких направлениях и нескольких смысловых планах: Памук – писатель-симфонист, мастер большой формы; одному из рецензентов его роман напомнил гигантский кристалл Дантовой «Комедии».

Герой романа Галип (Шейх Галип – эта подразумеваемая переключка важна! – крупнейший турецкий поэт-суфий XVIII века, член братства последователей Руми) несколько дней ищет по огромному Стамбулу внезапно пропавшего двоюродного брата, известного журналиста, мистификатора, исследователя чужих секретов и любителя головоломных псевдонимов Джеляля Салика и свою, тоже исчезнувшую, жену, поклонницу зарубежных детективов Рюю (по материнской линии она, кстати, принадлежит к роду пророка Мухаммеда, а ее имя означает «мечта, греза»). Вместе с тем идущий по следам брата Галип отыскивает по его старым заметкам и памятным для них обоим с детства уголкам города самого себя, сливаясь с образом брата, больше того – как бы занимая его место и становясь писателем. «Единственный способ для человека стать собой, – заключает он в финале книги, – это стать другим, заплутаться в историях других».

Джеляль же в своих корреспонденциях – ими перемежаются сюжетные главы романа – пытался среди прочего разгадать тайну Мевляны: понять загадочную фигуру его духовного возлюбленного-двойника и наставника-мюрида, «зеркала его лица и души» Шемса Тебризи, разобраться в подробностях и смысле таинственного убийства Тебризи – из тоски по ушедшему другу и родилась у Руми его великая «Месневи». Кро-

ме того, журналист, видимо, оказался опасным свидетелем политических игр в верхах. С образами закулисного комплота и тайного общества в роман входит дальняя и ближняя история Турции в ее отношениях с мифологизированным Западом: тема скрытого спасителя-махди и лжемессии с его лжепророками, мотив готовящегося пришествия антихриста (перекличка с «Легендой о Великом инквизиторе»), череда исторических развилки и нового выбора пути в сменяющихся попытках жесткой модернизации сверху и консервативного противостояния им снизу вплоть до кемалистской революции первой четверти XX века, левого подполья 1940-1950-х и военного путча в начале 1980-х годов. Романный quest приобретает еще более обобщенный, глубокий смысл. Наконец, через биографии героев в «Черную книгу» вплетаются мотивы религиозной ереси и двойничества. Дело в том, что братства-ордена хуруфитов и бекташи основаны на суфийской философии, которая подпитывает сюжетные перипетии романа.

Виртуозно оркестрованное повествование, то отвлекаясь в сторону и как бы спохватываясь лишь через несколько глав, то делая ложные ходы и тут же посмеиваясь само над собой, бликуя из второй части в первую и наоборот, эпизод за эпизодом набирает широту и силу. Рассказ о нескольких днях из жизни трех

человек, наращивая слои как автобиографического, так и исторического материала, которые к тому же перекликаются друг с другом, становится своего рода хартией ближневосточного жизненного уклада – старой цивилизации, где сочетаются язычество и христианство, правоверный ислам и конкурирующие с ним движения и секты, седая древность и новомодная одnodневка; так в находках на дне Босфора из заметки Джеляля соседствуют олимпийские византийские монеты и крышки от газировки «Олимпос». В сторону замечу: видимо, большую романную форму – по крайней мере, в XX веке – не поднять и не удержать, не синтезировав кропотливую реальность частного времени и места с универсальным горизонтом символов и идей, не соединив древность начал и высоту ориентиров. Кстати, не частый, но и не такой уж редкий в завершающемся столетии всеохватный роман-цивилизация, роман-хартия (прообраз их всех, джойсовский «Улисс», непредставим ни без гомеровской архаики, ни без католической литургии и латинской патристики, ни без дублинского нового Вавилона, но далеко не каждая даже из припозднившихся литератур может подобным жанровым монстром похвалиться) – по-моему, одна из перспективных разновидностей крупной прозаической формы именно в последние десятилетия: для примера назову хотя бы «Хазарский

словарь» Милорада Павича и «Лэмприровский словарь» Лоренса Норфолка, «Энциклопедию мертвых» Данило Киша, «Палинура из Мехико» Фернандо дель Пасо и «Дух предков, или Праздничную кутерьму на Иванову ночь» Хулиана Риоса. Причем подобная итоговая «хартия» не только вбирает в себя прошлое, по привычной нам формуле Белинского об энциклопедическом своде исторической и обыденной жизни нации (памуковский роман – неисчерпаемая коллекция бытовых вещей, умений и имен, примет своего времени, в том числе утерянных, забытых, потонувших или запавших в щель безделушек и мелочей), но и загадывает грядущее. В стереоскопической игре «тайной симметрии» – Гойтисоло говорит о «призматическом видении» Памука – роман постоянно отсылает не только к прошедшему, но и к будущему времени, а в одной из глав первой части, в очередном вставном рассказе одного из полуконспиративных персонажей разворачивается картина утопического государства завтрашнего дня. Метафоры тайного сокровища и неотступного – то скрытого, то явного, а то и ложного – двойника, переключки облика и отображения, города и карты, игра снов и зеркал, а в конце концов жизни и искусства в смене их сходств и различий («Все убийства, как и все книги, повторяют друг друга», – говорит Джеляль) – сквозные мотивы «Черной книги». Так, одно из на-

вязчивых видений Джеляля – «третий глаз» («... глаз – это человек, которым я хотел бы быть»).

Эта образная нить – Гойтисоло вспоминает в связи с Памуком иллюзионистскую архитектуру борхесовских новелл и сервантесовского романа – дает и чисто сюжетные узлы (скажем, представленный легковерным журналистам из Би-би-си макабрный театр исторических манекенов в заключительных главах первой части или подпольный публичный дом, где каждая из обитательниц изображает турецкую кинозвезду, соответственно, выступавшую некогда в нашумевшем кинохите в роли девицы легкого поведения). Но развиваются эти метафоры и в более общем плане – как своего рода философия романного письма. Здесь Памук повествовательными средствами разыгрывает, доводя до гротеска, некоторые идеи хуруфизма, своего рода исламской каббалистики с ее идеей соответствий между чертами внешнего образа (обликом места, лицом человека), буквами арабского алфавита и божественным строем мира в его пространственном и временном целом. В главе «Тайна букв и забытая тайна» символическая значимость любого предмета, имени, жеста, поступка вырастает перед героем до циклопического наваждения, угрожая ему утратой разума.

Вероятно, самая блистательная находка Памука

здесь – замечательно воссозданный им в хронологической многослойности и социальной полифонии образ Стамбула. Гойтисоло верно замечает: подлинный главный герой памуковского романа — город. И какой! Город-символ, разорванный, как всякий символ, надвое между Европой и Азией. Палимпсест трех тысячелетий. Столица четырех империй от Римской до Османской, включая средневековую Латинскую, основанную крестоносцами. Странствия героев по пространству стамбульских кварталов, по векам истории, этапам собственной жизни, часам изменчивого дня – особое и увлекательнейшее измерение «Черной книги». Уверен, ее будущие издания еще снабдят особым атласом и путеводителем, но уже и для сегодняшних читателей памуковский Стамбул вошел в особую литературно-историческую географию наряду с гамсуновской Кристианией и Парижем Пруста, Бретона или Кортасара, борхесовским Буэнос-Айресом, беньяминовским или набоковским Берлином и милошевским Вильно. Неслучайно одна из финальных, символически нагруженных сцен романа – конкурс на лучшее изображение достопримечательностей и красот Стамбула, иронически рассчитанный опять-таки на глаз иностранца. Картины размещены в зале городского увеселительного заведения. Первую премию получает участник, придумавший повесить на

противоположной стене гигантское зеркало. И очень скоро зрители замечают, что образы в зеркале живут своей жизнью – сложной, непредсказуемой и грозной...

БОРИС ДУБИН

* * *

Айлын посвящается

Согласно рассказанному Ибн Араби (Ибн аль-Араби (1165 – 1240) – арабский поэт и философ-мистик) якобы реальному случаю, его товарищ, бродячий дервиш, вознесенный духами на небо, сразу достиг легендарной горы Каф (В мусульманских преданиях: священная гора, отделенная от земли непроходимым пространством) и увидел, что она со всех сторон окружена змеями. Известно, что нет такой горы, как и нет змей вокруг нее.

Энциклопедия ислама

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Как Галип впервые увидел Рюю

Не пользуйтесь эпитафиями, ибо они убивают тайну написанного. .

Адли

Коль суждено тайне погибнуть, убей сам и тайну, и лжепророка, ее сотворившего.

Бахти

В приятной теплой полутьме комнаты Рюя, уткнувшись в подушку, спала под покрывавшим всю кровать голубым в клеточку одеялом, складки которого образовывали мягкие холмы и тенистые долины. Снаружи в комнату проникали первые звуки зимнего утра. Шуршание шин редких автомобилей, скрип старых автобусов, звяканье поднимаемых и опускаемых на мостовую кувшинов салещика (продавец традиционного турецкого напитка салепа – горячего настоя из ятрышника), работающего в паре с пекарем, свистки распорядителя на стоянке маршрутных такси. По комнате разливался зимний серый свет, оттеняемый си-

ними занавесками. Галип сонно посмотрел на видневшуюся из-под одеяла голову жены: подбородок ее тонул в пуховой подушке. Он видел только верхнюю часть лица, на котором проступало загадочное выражение, побуждающее с испугом задуматься: какие необычные мысли крутятся сейчас в этой голове? В одной из статей Джеляль писал: "Память-это сад... " У Галипа в уме тогда мелькнуло: «Сады Рюйи, сады Рюйи... – но он тут же оборвал себя: – Не думай, не думай: начнешь ревновать!» Однако сейчас, глядя на лицо жены, он задумался.

Он хотел бы прогуляться под ивами, акациями и вьющимися розами в запретном для него саду памяти Рюйи, погруженном в покой сна... Хотя и испытывал некий страх перед теми, с кем мог там встретиться: «Ааа... и ты здесь, привет!» Кроме неприятных лиц, о которых он знал и встреча с которыми его не удивила бы, он мог, к своему огорчению, наткнуться на тени мужчин, о существовании которых не подозревал: «Простите, а вы откуда знаете мою жену?» – "Ну как же! Мы познакомились три года назад в вашем доме... в лавке Алааддина, когда она покупала зарубежный журнал мод... в школе, куда вы ходили вместе... у входа в кинотеатр, вы еще держались за руки... " Нет, наверно, все же память Рюйи не так перенаселена и беспощадна; возможно даже, в единственном

освещенном солнцем уголке темного сада своей памяти Рюйя вышла на лодочную прогулку с Галипом. Через полгода после того, как семья Рюйи приехала в Стамбул, оба они, Галип и Рюйя, одновременно заболели свинкой. Мать Галипа и красивая мать Рюйи, тетя Сузан, иногда возили их в трясущихся по мощным дорогам автобусах в Бебек или Тарабью (Районы в европейской части Стамбула на берегу Босфора) покататься на лодке. В те времена было много болезней, но мало лекарств: считалось, что детям, болеющим свинкой, полезен чистый воздух Босфора. Утром море было спокойным, лодка белой, лодочник, всегда один и тот же, дружелюбным. Мама и тетя садились на корму лодки, а Рюйя и Галип – рядышком на носу, скрытые от матерей могучей спиной лодочника. Море медленно колыхалось под их спущенными в воду ногами с одинаково тонкими лодыжками; они смотрели на водоросли, радужные пятна мазута, мелкую полупрозрачную гальку и куски газеты на ней с четким шрифтом; они высматривали там имя Джедяля.

В день, когда Галип впервые увидел Рюйю, за полгода до того, как они заболели свинкой, он сидел на табуретке, поставленной на обеденный стол, а парикмахер стриг его. В ту пору высокий усатый парикмахер Дуглас по будним дням приходил к ним домой и брил Дедушку. Как раз тогда перед лавками Араба и Ала-

аддина построили кофейни, контрабандисты продавали нейлоновые чулки, в Стамбуле появилось много «шевроле» 56-й модели, а Галип пошел в школу и пять дней в неделю внимательно читал статьи Джемля за подписью Селим Качмаз на второй странице газеты «Миллиет»; читать Галип научился не тогда; читать и писать его научила Бабушка двумя годами раньше: они садились на угол обеденного стола, и Бабушка хриплым голосом объясняла самое большое из чудес – как бьются друг о друга буквы; Бабушка выдыхала дым сигареты «Бафра», вечно торчавшей в уголке ее рта, от дыма у внука слезились глаза, а громадного размера лошадь в букваре становилась голубой и расплывалась. Эта огромная лошадь, надпись под которой удостоверяла, что она лошадь, была больше костлявых лошадей, впряженных в повозки водовоза и жулика-старьевщика. Галипу хотелось капнуть на изображение этой крепкой лошадки волшебным эликсиром, который, попав на рисунок, оживит его, однако позже, когда ему не разрешат пойти сразу во второй класс и он по тому же букварю с лошадью будет учиться читать и писать еще и в школе, он сочтет это свое желание глупостью.

Если бы Дедушка тогда, как обещал, принес чудодейственное лекарство в бутылке гранатового цвета, Галип плеснул бы чудесную жидкость на страницы

старых пыльных журналов «Иллюстрасьон», заполненные фотографиями цеппелинов, пушек и лежащих в грязи убитых в первой мировой войне; на открытки, присланные дядей Мелихом из Парижа и Марокко, на вырезанные Васыфом из газеты «Дюнья» снимки орангутангов, кормящих детенышей, на лица странных людей, тоже вырезанные из газет, но уже Джелялем. Однако Дедушка теперь не выходил никуда, даже в парикмахерскую, а сидел весь день дома. Одевался он так же, как в те дни, когда еще выходил на улицу: в старый, с широкими лацканами, английского покроя пиджак, свинцового, как и его отрастающая за воскресенье щетина, цвета, потертые брюки и чиновничий, как называл отец, галстук-шнурок. Мать производила не «галстух», а «галстук», потому что ее семья была богаче. Мать с Отцом говорили о Дедушке, как говорят о старых деревянных домах, с которых каждый день осыпается кусочек штукатурки; потом, когда, забыв про Дедушку, родители начинали громко спорить между собой, они поворачивались к Галипу: «Иди наверх, поиграй». – «Мне подняться на лифте?» – «Нет, один на лифте не ездят!», «Один в лифт не садись!» – «Можно мне поиграть с Васыфом?» – «Нет, он сердится!»

Васыф был глухонемой, он прекрасно понимал, что, ползая по полу, я играю в «потайной ход» и, про-

бираясь под кроватями, оказываюсь в конце пещеры, в мрачном подземелье под домом; я – солдат и бесшумно, как кошка, крадусь по туннелю, прорытому к окопам врага; Васыф не сердился, но кроме меня и Рюйи, которая появилась позже, никто не знал этого. Иногда мы с Васыфом подолгу смотрели из окна на трамвайные линии. Одно окно эркера нашего бетонного дома выходило на мечеть – один мир; другое на женский лицей – совсем другой мир; между этими двумя мирами находились полицейский участок, высокий каштан, перекресток и бойко торгующая лавка Алааддина. Мы смотрели на входящих и выходящих из лавки, показывали друг другу проезжающие машины, и Васыф вдруг начинал волноваться и издавал страшные хриплые звуки, словно во сне схватился с дьяволом, а я всякий раз чего-то пугался. Дедушка с Бабушкой сидели друг против друга недалеко от нас, слушая радио и дымя сигаретами, как две трубы; Дедушка, одна нога которого покоилась на низенькой скамеечке, говорил: «Васыф снова напугал Галина», а Бабушка без всякого интереса, по привычке, спрашивала: «Сколько вы там машин насчитали?» Но не слушала моего ответа о числе «доджей», «паккардов», «де сото» и новых «шевроле».

Радиоприемник, на котором стояла фигурка спокойной пушистой, совсем не турецкой собаки, был

постоянно включен, и Бабушка с Дедушкой с утра до вечера слушали турецкую и европейскую музыку, известия, рекламу банков, одеколонов и лотерей и без умолку разговаривали. Они частенько жаловались на сигареты, которые не выпускали изо рта, – так жалуются на привычную непрекращающуюся зубную боль – и обвиняли друг друга в том, что никак не могут бросить курить; когда один заходил в кашле, другой с победным и радостным видом, впрочем быстро сменявшимся беспокойством и гневом, говорил: «Видишь, моя правда, надо бросать!» А тот, кто кашлял, нервно парировал: «Ради Всевышнего, отвяжись, только и осталось радости-то, что сигареты! – А потом добавлял почерпнутое из газет: – Говорят, они успокаивают нервы!» После этого Дедушка и Бабушка некоторое время молчали, и было слышно тиканье настенных часов в коридоре, но длилось это недолго. Они разговаривали и во время чтения шуршащих газет, и во время послеобеденной игры в карты, а когда вечером собирались родственники, чтобы вместе поужинать и послушать радио, Дедушка, огорченный очередной статьей Джеляля, говорил: «Может, он обрзумился бы, если б ему разрешили подписываться своим именем». – «Ведь взрослый человек, – вздыхала Бабушка и с выражением искреннего любопытства задавала, словно в первый раз, вопрос, который зада-

вала всегда: – Интересно, он так плохо пишет потому, что ему не разрешают подписываться своим именем, или ему не разрешают подписываться своим именем потому, что он так плохо пишет?» – «Во всяком случае, – подхватывал Дедушка, – благодаря тому, что ему не разрешают ставить свою подпись под статьями, мало кто понимает, что он позорит именно нас». Это было их единственное утешение. «Никто не понимает! Разве кто-нибудь когда-нибудь говорил, что он пишет о нас?» – убежденно подтверждала Бабушка, но даже Галип улавливал, что доля сомнения в ее словах все же есть. Однажды, когда он уже стал получать еженедельно сотни писем от читателей, Дзеляль слегка подредактировал и опубликовал одну из старых статей – на сей раз под своим громким именем; одни говорили, что он сделал это, так как у него иссякло воображение, другие – что из-за женщин и политики у него нет времени, а третьи – что он просто ленив. Дедушка с видом посредственного актера, повторяющего в сотый раз надоевшую и оттого фальшиво звучащую реплику, возмущался: «Кто же не знает, что в статье „Дом“ он пишет именно о нашем доме!» Бабушка молчала.

Дедушка начал рассказывать сон, который впоследствии будет ему часто сниться. Сон Дедушки был, как и те истории, которые Бабушка с Дедушкой

рассказывали друг другу целый день, голубого цвета; так как в продолжение сна не переставая шел сильный дождь, у Дедушки быстро росли волосы и борода. Терпеливо выслушав сон, Бабушка говорила: «Скоро придет парикмахер». Но Дедушку это не радовало. «Уж очень он много болтает и много вопросов задает!» Несколько раз Галип слышал, как после пересказа голубого сна и разговора о парикмахере Дедушка тихо говорил: «Надо было строить другой дом и в другом месте. Этот оказался несчастливым».

Позднее, когда они, продав, этаж за этажом, дом Шехрикальп (), переехали в новый, похожий на все окружающие, где рядом с ними жили мелкие торговцы готовой одеждой, где размещались кабинеты гинекологов, делающих подпольные аборты, и страховые конторы, всякий раз проходя мимо лавки Алаадина и глядя на уродливый, мрачный старый дом, Галип думал: почему Дедушка так сказал? В то время Галипу казалось, что «несчастье» в Дедушкином мозгу связывалось с отъездом за границу старшего сына, бросившего жену с ребенком, и его возвращением в Стамбул с новой женой и дочерью (Рюйей); Галип догадывался об этом, так как видел, что Дедушке вообще не нравится эта тема и не нравится вопрос: «Когда ваш старший возвращается из Африки?», который неизменно, скорее по привычке, чем из любопытства,

задавал во время бритья парикмахер, – дяде Мелиху потребовались долгие годы на то, чтобы вернуться домой – сначала из Европы и Африки в Турцию, а потом – из Измира в Стамбул.

Когда начинали строить этот дом, дядя Мелих еще был в Стамбуле; Джеляль рассказывал, что отец Галипа и его братья приходили на стройку из принадлежащей им аптеки в Каракеей (Каракей – район Стамбула на берегу Золотого Рога и Босфора) и кондитерской в Сиркеджи (Район Стамбула на берегу Босфора; там находится одноименный вокзал, откуда отправляются поезда в Европу), где они продавали сладости, а потом, не выдержав конкуренции с локумами и прочими изделиями Хаджи Бекира, стали торговать вареньем из айвы, инжира и вишен, которое варила и разливала по банкам Бабушка; туда же повидаться с родственниками приходил дядя Мелих; ему еще не было тридцати, в своей адвокатской конторе он чаще устраивал скандалы, чем занимался практикой, а на страницах старых дел рисовал карандашом пароходы и необитаемые острова; под вечер, появившись в Нишанташи, он снимал пиджак, галстук и включался в работу, чтобы подстегнуть рабочих, которые расслаблялись к концу рабочего дня. Как раз в это время дядя Мелих начал говорить, что необходимо кому-то поехать во Францию и Германию, чтобы

изучить кондитерское дело в Европе, заказать красочную бумагу для упаковки засахаренных каштанов, договориться с французами о совместном производстве разноцветного пенящегося банного мыла, приобрести по дешевке – коль скоро в Европе и Америке свирепствует кризис и фабрики разоряются одна за другой – необходимое оборудование, а также купить рояль для тети Хале и показать глухонемого Васыфа хорошему отоларингологу и психоневрологу. Через два года Васыф и дядя Мелих отбыли в Марсель на румынском пароходе («Тристана»); Галип видел этот пароход на пахнувшей розовой водой фотографии из Бабушкиной коробки, а через восемь лет Джеляль прочитал в газетных вырезках Васыфа сообщение о том, что «Тристана» затонула, напоровшись на блуждающую мину. К моменту отъезда дяди Мелиха строительство дома было закончено, но в него еще не переехали. Вернувшийся год спустя уже один и поездом (на вокзал в Сиркеджи (Район в центре европейской части Стамбула)) Васыф «разумеется» оставался глухим и немым (Галип долгое время не мог разгадать причину и тайну этого многозначительного «разумеется», на котором всегда делала упор тетя Хале), но зато в руках он крепко держал аквариум с японскими рыбками; первое время Васыф не мог оторваться от рыбок, когда он смотрел на них, у него перехватывало дыха-

ние, а иногда на глаза наворачивались слезы; и через пятьдесят лет Васыф будет так же наслаждаться внуками внуков этих рыбок. Джеляль с матерью в то время жили на третьем этаже, но, поскольку надо было посылать деньги дяде Мелиху, чтобы он мог продолжать свои коммерческие дела в Париже, они сдали квартиру какому-то армянину, а сами перебрались в крохотное помещение под крышей, которое поначалу использовалось как кладовка, а потом было превращено в подобие квартиры. Когда из Парижа от дяди Мелиха все реже стали приходить письма с описанием сладостей и пирожных и способов изготовления мыла и одеколонов, а также фотографиями артистов и балерин, жующих эти сладости и пользующихся этой парфюмерией, когда уменьшилось количество посылок с мятной зубной пастой, засахаренными каштанами, образцами шоколада с ликером, игрушечными пожарными машинами и матросской шапочкой, мать Джеляля решила переехать с сыном к своему отцу. Утвердилась она в своем намерении вернуться в деревянный дом в Аксараяе (район в европейской части Стамбула. Город в Ливии), принадлежащий ее матери и отцу, мелкому служащему в фонде недвижимости, после того, как началась мировая война и дядя Мелих прислал им из Бенгази открытку, на которой был изображен минарет странной мечети и само-

лет. После этой коричнево-белой открытки, где он сообщал, что дороги возвращения на родину заминированы, он прислал другие, черно-белые, из Марокко, куда отправился уже после войны. Потом пришла открытка, на которой был изображен раскрашенный от руки колониальный отель, послуживший съемочной площадкой для американского фильма, где торговцы оружием и шпионы избивали женщин из бара; из этой открытки Бабушка и Дедушка узнали, что дядя Мелих женился на турчанке, с которой познакомился в Марракеше, что невестка происходит из рода Мухаммеда и что она очень красивая. (Много позже, определив страны по флагам, которые развевались над балконом второго этажа отеля, Галип, в очередной раз разглядывая открытку и размышляя так же, как Джеляль в статье «Бандиты Бейоглу2», решил, что один из номеров этого отеля цвета крема для пирожного является местом, где было «брошено семя» Рюйи.) Когда через шесть месяцев после этого пришла открытка из Измира, никто не мог поверить, что ее прислал дядя Мелих: считалось, что он уже не вернется в Турцию; ходили сплетни, что дядя Мелих с женой приняли христианство, что они примкнули к миссионерам, направляющимся в Кению, и там, в долине, где львы охотятся на трехрогих оленей, построили храм секты, объединяющей крест и полумесяц. А один сплет-

ник, знакомый с измирскими родственниками невестки, сообщил, что дядя Мелих в результате мошеннических операций (торговля оружием, взятка какому-то королю), которые он провернул в Северной Африке во время войны, стал миллионером, что он, не в силах противиться капризам легендарной красавицы жены, собирается с ней в Голливуд, где ее, как они полагали, ждет слава, и что фотографии невестки печатаются в арабских и французских журналах и т. п. А дядя Мелих тем временем прислал открытку, и она неделями гуляла по этажам дома и в результате была исцарапана в разных местах ногтями, словно денежная купюра, в подлинности которой сомневаются, и в этой открытке писал, что умирает от тоски по родине – так он объяснил их решение вернуться в Турцию. «В настоящий момент» дела у них идут неплохо, он ставит на новую, современную ногу бизнес тестя, занимающегося торговлей инжиром и табаком. Вскоре пришла еще одна открытка, где путано говорилось о проблемах с акциями; она была истолкована на каждом этаже по-своему, и из-за этих акций вся семья оказалась вовлеченной в ссору. Прочитав эту открытку будучи взрослым, Галип понял, что дядя Мелих не таким уж непонятным языком сообщал, что собирается в недалеком будущем вернуться в Стамбул и что у него родилась дочь, но имени ей еще не дали.

Бабушка втыкала открытки по краям зеркала в буфете, в котором хранился ликерный набор; на одной из них Галип впервые прочитал имя Рюйи. Эти открытки с изображениями церкви, моста, моря, башни, корабля, мечети, пустыни, пирамиды, гостиницы, парка и различных животных складывались во вторую раму вокруг зеркала и время от времени вызывали гнев Дедушки; здесь же находились и сделанные в Измире фотографии Рюйи в младенчестве и в детстве. Галипа тогда не столько интересовала дочь дяди (по-новому, кузина), как говорили, его ровесница, сколько тетя Сузан из рода Мухаммеда, которая печально смотрела в камеру, раздвинув рукой сетку у входа в черно-белую пещеру, где в будоражащей воображение, пугающей глубине находилась ее дочь Рюйя. Фотографии Рюйи долго путешествовали из рук в руки, и в конце концов все мужчины и женщины поняли, что там, внутри пещеры, скрывается красота: Чаше других в семье обсуждался вопрос о времени прибытия дяди Мелиха с семьей в Стамбул и о том, на каком этаже они будут жить. Мать Джеляля, вышедшая замуж за адвоката, умерла молодой от болезни, которую врачи не сумели установить; Джеляль после ее смерти не в силах был жить в Аксараяе, в доме с пауками, и по настоянию Бабушки вернулся в дом Шехрикальп и поселился в мансарде. Он писал о футбольных матчах, пытаясь

разобраться в интригах вокруг футбола, рассказывал о таинственных и искусных преступлениях смельчаков из баров, притонов и публичных домов в закоулках Бейоглу, составлял кроссворды, где черных клеточек всегда было больше, чем белых; когда его патрон не мог прийти в себя после вина с наркотиком, писал за него продолжение приключенческого романа; имя Джеляля можно было встретить в рубриках «Читаем вашу судьбу по руке», «Толкование снов», «Ваше лицо – ваша личность», «Ваш зодиакальный знак сегодня» (в этой рубрике впервые стали помещать приветы родственникам, знакомым, а по некоторым утверждениям, и любимым) и «Хочешь – верь, хочешь – не верь»; если оставалось время, Джеляль писал рецензии на последние американские фильмы, которые смотрел в кинотеатрах, куда его пускали бесплатно; всю эту работу он делал для газеты, где впоследствии будет – поначалу под псевдонимом – вести постоянную рубрику; говорили, что если он и дальше будет жить в доме с родственниками, то при таком усердии сможет заработать журналистикой достаточно денег и сможет даже жениться. Однажды утром, увидев, как брусчатку вдоль трамвайных путей бессмысленно покрыли асфальтом, Галип подумал, что «несчастье», о котором говорил Дедушка, каким-то образом связано с ужасной теснотой в доме, с чем-то неясным, непо-

гичным и пугающим. Будто назло тем, кто не принимал всерьез его открыток, в Стамбул вернулся дядя Мелих: он прибыл поздно вечером (не сообщив заранее о приезде) с красивой женой, красивой дочерью, чемоданами, сундуками и, естественно, поселился в мансарде, где жил Джеляль.

Ночью, перед тем как Галип опоздал в школу, он видел во сне свое опоздание: он ехал в автобусе, рядом с ним сидела красивая незнакомая девочка с голубыми волосами; автобус увозил их от школы, где предстояло прочитать последние страницы букваря. В тот день Отец тоже поздно пошел на работу. Они завтракали; косые лучи утреннего солнца освещали стол, покрытый скатертью, похожей на бело-голубую шахматную доску; Мать с Отцом говорили о поселившихся вчера в мансарде с таким безразличием, словно речь шла о мышах, которые обосновались в перекрытиях дома, или о привидениях и джиннах – любимая тема прислуги Эсмы-ханым. Галипу не хотелось думать ни о приехавших родственниках, ни о том, что он проспал и не пошел в школу. Он отправился на этаж Бабушки и Дедушки, но там парикмахер, брея не выглядевшего очень счастливым Дедушку, как раз спрашивал о тех, в мансарде. Открытки, прикрепленные к буфетному зеркалу, разлетелись по полу, в комнате появились незнакомые и непонятные предметы;

Галип уловил новый запах, который он так полюбит потом. Вдруг ему захотелось увидеть страны, изображенные на открытках. И красивую тетю, фотографии которой он видел. Его охватило желание поскорее вырасти и стать мужчиной! Он заявил, что хочет постричься, Бабушка обрадовалась, но болтун-парикмахер ничего не понял: он усадил Гали-па не в Дедушкино кресло, а на табурет, поставленный на обеденный стол. К тому же белая накидка, которую парикмахер, сняв с Дедушки, крепко повязал ему, была слишком велика: мало того, что она душила его, она еще свисала ниже колен, совсем как девчачья юбка. Потом, уже после их женитьбы через – как он подсчитал – 19 лет 19 месяцев и 19 дней после их первой встречи, глядя иногда по утрам на утонувшую в подушке голову жены, спящей рядом, Галип чувствовал, что голубизна одеяла, укрывавшего Рюю, вызывала у него такое же беспокойство, как та, белая до голубизны, накидка, но жене он об этом никогда ничего не говорил; возможно, потому, что знал: Рюя не будет менять одеяло по такой дурацкой причине.

Галип подумал, что газеты, должно быть, уже лежат под дверью, легко и бесшумно поднялся с постели, но ноги понесли его не в коридор, а на кухню. Чайника на кухне не оказалось, возможно, он был в гостиной, там же, где и заварочный. Судя по тому, что

медная пепельница была доверху заполнена окурками, Рюйя снова просидела до утра, читая, а может, и не читая детективный роман. Чайник он нашел в ванной: поскольку напор воды был слабый и невозможно было пользоваться устрашающим сооружением, именуемым «колонка», воду для всех нужд подогревали в чайнике; чайник же был один, второго они так и не купили. Иногда, перед тем как лечь в постель, они, как Дедушка с Бабушкой и как Отец с Матерью, покорно и вместе с тем нетерпеливо ждали, когда нагреется вода.

Во время одной из ссор, начавшейся словами: «Брось ты эти сигареты», Бабушка, обвиненная в неблагодарности, заявила Дедушке, что хотя бы раз в жизни, но она встанет после него. Васыф это видел. Галип слышал и не понял, что Бабушка хотела этим сказать. Джеляль написал что-то на эту тему, но не в том смысле, как говорила Бабушка. Он написал: «Нерожать при свете дня, вставать до рассвета, подниматься с постели раньше мужчины – таковы деревенские обычаи». Прочитав заключительную часть этой статьи, где Джеляль описывал в точности церемонию утреннего подъема Бабушки и Дедушки (сигаретный пепел на одеяле, зубные протезы, лежащие в стакане с зубными щетками, привычный просмотр газетных объявлений о смерти), Бабушка сказала: «Стало

быть, мы деревенские!» А Дедушка добавил: «Чтобы он понял, что такое „деревенские“, надо кормить его по утрам чечевичной похлебкой!»

Галип полоскал чашки, искал чистую вилку, нож и тарелку, доставал из пропахшего бастурмой холодильника похожую на пластмассу брынзу и маслины, брился, подогрев в чайнике воду; он хотел шумом разбудить Рюю, но не получилось. Потом он глотал ненастоявшийся чай, ел черствый хлеб и маслины с тимьяном, сонно читал пахнувшую типографской краской газету, которую, достав из-под двери, положил рядом с тарелкой, и думал о том, что вечером они могли бы пойти к Джелялю или в кинотеатр «Конак». Дойдя до статьи Джеляля, он решил прочитать ее вечером, когда вернется из кино; глаза, независимо от его воли, выхватили первое предложение статьи, но он без колебаний отодвинул от себя газету, оставил ее раскрытой на столе, встал, надел пальто и почему-то снова зашел в спальню. Сунул руки в карманы, полные табачных крошек, мелочи и использованных билетов; некоторое время молча, внимательно и почти-тельно смотрел на жену. Потом повернулся, тихонько прикрыл за собой дверь и вышел.

Лестница, застланная только что вытряхнутыми половиками, пахла мокрой пылью и грязью. Воздух на улице тоже был грязный, темный от дыма – дома то-

пили углем и мазутом. Было холодно; выдувая изо рта облачка пара, он прошел между сваленными на землю кучами мусора и встал в длинную очередь на стоянке маршрутного такси.

На противоположной стороне улицы старик в пиджаке с поднятым воротником выбирал у лоточника пирожки с мясом и сыром. Неожиданно для себя Галип выскочил из очереди, побежал за угол, всучил деньги газетчику, пристроившемуся у двери дома, взял газету «Миллиет» и, сунув ее под мышку, вернулся на место. Как-то Джеляль язвительным тоном копировал одну из своих престарелых почитательниц: «Мы с Мухарремом так любим ваши статьи, Джеляль-бей, что иногда покупаем сразу два экземпляра „Миллиет“!» Тогда они смеялись вместе-Галип, Рюйя и Джеляль. После долгого ожидания, изрядно промокнув под начавшимся дождем, Галип, толкаясь, влез в маршрутку, пахнущую влажной одеждой и табаком; убедившись, что общей дискуссии в машине не затевается, он старательно и с удовольствием, как истинный газетолоб, сложил газету до размера статьи в рубрике на второй странице, рассеянно посмотрел в окошко и начал читать свежее творение Джеляля.

Когда отступили воды Босфора

Нет ничего более удивительного, чем жизнь. Кроме слова.

Ибн Зерхани

Вы обратили внимание на то, что воды Босфора отступают? Не думаю. Кто из нас нынче читает, кому интересно знать, что происходит в мире, где люди убивают друг друга с радостью и энтузиазмом детей, пришедших на праздник? Даже статьи известных журналистов мы читаем в толчее на пристанях, прижатые друг к другу в автобусах или трясущихся маршрутках, когда буквы дрожат и сливаются. Вот что я прочитал во французском геологическом журнале: оказывается, температура воды в Черном море повышается, а в Средиземном – понижается. Поэтому морские воды стали заполнять придонные ямы, и в результате возникших тектонических колебаний дно Гибралтара, Дарданелл и Босфора начало подниматься.

Мы недавно разговаривали с рыбаком на берегу Босфора, и он рассказал, что его лодка, которую он раньше держал на воде, бросая якорь на цепи длиной в высоту минарета, сейчас оказалась на суше; рыбак спросил: «Неужели наш премьер-министр совсем не интересуется подобными вещами?»

Этого я не знаю. Я знаю, что ждет нас в ближайшем будущем, если процессы, о которых я прочитал, будут продолжаться. Совершенно очевидно, что через некоторое время райское место, которое мы называем Босфором, превратится в черное болото, посреди которого облепленные глиной остовы галеонов будут выглядеть как скалящие зубы привидения. Нетрудно предположить, что в конце жаркого лета это болото местами высохнет и превратится в глинистое дно скромной речки, снабжающей водой маленький поселок, а на окрестных холмах, орошаемых бурно стекающими нечистотами, вырывающимися, как водопады, из тысяч широких труб, будет зеленеть трава и даже расти ромашки. Девичья башня (Дозорная башня на Босфоре, построена в 410 г. до н. э) на холме превратится в устрашающее сооружение, вознесясь над этой глубокой мрачной ложиной.

Я представляю себе новые кварталы, которые начнут строиться на этом глинистом пустыре, прежнем «проливе», под наблюдением муниципальных чиновников, бегающих туда-сюда с квитанциями за уплату штрафа: лачуги, палатки, бары, увеселительные заведения, луна-парки с каруселями, игорные дома, мечети, обители дервишей, помещения марксистских фракций, ателье по изготовлению некачественных пластмассовых изделий и чулочные фабрики... Сре-

ди этого невообразимого беспорядка будут торчать остовы лежащих на боку судов, оставшиеся от «Ширкети Хайрие» (Старинная судостроительная турецкая фирма), крышки от бутылок и поля аурелий... Наряду с американскими трансатлантическими пароходами, оказавшимися на суше в день мгновенно отступивших вод, здесь можно будет увидеть скелеты кельтов и ликийцев, застывших с открытыми ртами, молящихся неведомым древним богам среди поросших мхом ионических колонн. Я могу предположить, что эта новая цивилизация, которая возникнет среди облепленных мидиями византийских сокровищ, серебряных и жестяных вилок и ножей, винных бочек, пролежавших тысячу лет, бутылок из-под газированной воды и остовов остроносых галер, получит топливо для своих печей и обогревателей из старого румынского нефтяного танкера, винт которого увяз в иле. В этой проклятой яме, поливаемой бурными потоками темно-зеленых нечистот всего Стамбула, среди вырывающихся из старых подземелий ядовитых газов, топкой глины, трупов дельфинов, меч-рыбы и камбалы, среди крыс, открывших для себя новый рай, распространятся эпидемии совершенно новых болезней; это главное, к чему мы должны быть готовы. Я знаю и предупреждаю: никто не уберется от трагедий, что произойдут в тот день в этом опасном районе, который будет огорожен

колючей проволокой и объявлен запретной зоной.

С балконов, где когда-то наслаждались сияющей луной, серебрившей шелковые воды Босфора, мы будем теперь наблюдать свет голубоватого дыма от костров, на которых в спешке сжигают оставшихся захороненными покойников. Мы почувствуем щекочущий ноздри, резкий, смешанный с плесенью запах мертвецов, гниющих по берегу Босфора, на столах, за которыми когда-то мы пили раки (Турецкая виноградная водка с анисом), вдыхая одуряющий аромат багряника и женских рук. А на набережных, где рядами выстраивались рыбаки, мы не услышим больше дивных весенних песен птиц и шума перекачивающего свои воды Босфора: будут раздаваться лишь крики тех, кто схватил мечи, кинжалы, ржавые сабли, пистолеты и ружья, некогда выброшенные в воду из страха перед длящимися тысячу лет повальными обысками, и бьется теперь в смертельной схватке. Стамбульцы из прибрежных районов, которые раньше, возвращаясь домой, открывали настежь окна автобусов, чтобы, вдохнув морской воздух, снять усталость, теперь, напротив, будут затыкать автобусные окна газетами и тряпками, чтобы не просачивался запах ила и гниющих мертвецов, и будут стараться не смотреть вниз, в пугающую тьму, освещенную кострами. Из прибрежных кофеен, где продавали много халвы и воздушных

шаров, мы будем наблюдать не праздничную иллюминацию, а кроваво-красный свет взрывающихся мин, взлетающих на воздух вместе с любопытными ребятами. Те, кто зарабатывал на хлеб, собирая на песчаном берегу выброшенные бурным морем византийские монеты и пустые консервные банки, отныне будут торговать скарбом из деревянных домов, некогда стоявших в прибрежных поселках; в глубине бывшего Босфора можно будет найти кофемолки, покрытые водорослями, часы с кукушками, черные фортепиано в броне из мидий. В один из таких дней я проскользну за колючую проволоку, чтобы найти черный «кадиллак».

Черный «кадиллак» был гордостью одного бандита из Бейоглу (язык не поворачивается сказать «гангстер»), за похождениями которого я следил тридцать лет назад, когда был начинающим корреспондентом, и двумя фотографиями которого, где он был изображен у входа в принадлежащий ему стамбульский приют, я восхищался. Такие автомобили в Стамбуле в то время были только у железнодорожного магната Дагделена и табачного короля Маруфа. Мы, журналисты, сделали из бандита героя, рассказ о последних часах его жизни мы печатали с продолжением в течение недели: в полночь он был окружен полицией, вместе со своей возлюбленной прыгнул в машину и – по

одной версии, под влиянием наркотиков, а по другой – сознательно (так разбойник направляет коня к пропасти) – повел «кадиллак» к мысу Акынты и ринулся, не раздумывая, в черные воды Босфора. Я примерно знаю, где может находиться этот «кадиллак», который много дней искали на дне и не нашли подводники; о нем быстро забыли и журналисты, и читатели.

Он должен лежать там, в глубине вновь образовавшейся лощины, ранее называемой «Босфором», где можно наткнуться на башмаки семисотлетней давности, ставшие жилищем для раков, на сапог, на верблюжьи кости, бутылки с запечатанными в них письмами, адресованными неизвестным возлюбленным; или там, позади холмов, заросших губками и лесами из мидий, среди которых сверкают алмазы, серьги, крышки от газировки и золотые браслеты; он может покоиться в песке, неподалеку от лаборатории по производству героина, оборудованной на скорую руку в остовах сгнившей баржи, там, где устрицы обильно орошены кровью коней и ишаков, зарезанных подпольными изготовителями колбас.

Разыскивая машину в безмолвии этой тьмы, пропитанной трупным запахом, прислушиваясь к сигналам автомобилей, проносящихся вдали по асфальтированной дороге, которая называлась прежде приморской, а теперь больше походит на горную, я уви-

жу скрюченные кости дворцовых заговорщиков, все еще лежащих в мешках, в которых они задохнулись, и скелеты православных священников, вцепившихся в свои кресты и жезлы. Потом мне попадется затонувшая английская подлодка: она должна была торпедировать парход «Гюльджемаль», перевозивший солдат с набережной Топхане в Чанаккале (Порт в проливе Дарданеллы), но винт ее запутался в рыбачьих сетях, а нос ударился в скалу, поросшую водорослями; глядя на голубоватый дымок, поднимающийся из перископа, я пойму, что теперь он используется как печная труба, что скелеты англичан с открытыми от недостатка кислорода ртами выброшены из лодки, а наши соотечественники, сидя в обитом бархатом кресле капитана, пьют из чашек китайского фарфора чай, освоившись со своим новым убежищем, изготовленным в мастерских Ливерпуля. В темноте, подальше, валяется ржавый якорь броненосца из эскадры кайзера Вильгельма. Мне подмигнет перламутровый экран. Я наткнусь на остатки разграбленной гонуэзской казны, короткоствольную пушку с забитым грязью жерлом, облепленные мидиями изображения некоторых исчезнувших государств и народов, стоящую вертикально латунную люстру с разбитыми лампочками. Шагая по глине и камням, постепенно опускаясь все ниже, я увижу скелеты прикованных к веслам рабов,

уоставившихся на звезды. Ожерелье, застрявшее в водорослях. Возможно, я не обращаю внимания на очки и зонтики, но несколько мгновений буду внимательно и боязливо смотреть на рыцарей-крестоносцев, восседающих с оружием и в доспехах на скелетах все еще упрямо стоящих на ногах коней. И тогда я с ужасом пойму, что скелеты крестоносцев с оружием и в полной экипировке, заросшей ракушками, ждали черный «кадиллак», который теперь стоит рядом с ними.

Медленно, с опаской, словно прося разрешения у охранников-крестоносцев, я подойду к черному «кадиллаку», освещаемому мерцающим, неясным, неизвестно откуда идущим светом. Я попытаюсь открыть дверцы «кадиллака», но машина, облепленная мидиями и морскими водорослями, не подчинится мне; зеленоватые окна также окажутся заклиненными. Тогда, вынув из кармана шариковую ручку, я попытаюсь расчистить ею слой водорослей фисташкового цвета на одном из окон.

В полночь я зажгу спичку в этой пугающей, волшебной тьме и – в металлическом отсвете красивых, все еще сверкающих, как броня крестоносца, руля, никелированного счетчика и корпуса часов – увижу, как сидящие на переднем сиденье бандит и его возлюбленная целуются, обнимают друг друга тонкими, в браслетах руками, пальцы которых унизаны кольцами. Не

только челюсти, сами их черепа будут слиты в нескончаемом поцелуе.

И тогда, не зажигая больше спичек, глядя на огни города, я подумаю, что это лучший способ встретить смерть в момент катастрофы; я с горечью крикну далекой любимой: дорогая моя, милая, печальная моя, страшный миг настал, приди ко мне, где бы ты ни была: в прокуренном кабинете, на кухне, пропахшей луком, в голубой неубранной спальне – пора, приди ко мне; вот он, предсмертный миг, так давай же крепко обнимем друг друга в тихой полутемной комнате с задернутыми занавесками, чтобы забыть о приближении страшной катастрофы.

Передай привет Рюйе

Мой дед называл их «семья».

Рильке

Утром того дня, когда жена ушла от него, Галип, с прочитанной газетой под мышкой, поднимался по лестнице на холм Бабыали (Квартал в центре Стамбула, где расположена резиденция губернатора) к своей конторе; он думал о зеленой шариковой ручке, утонувшей в Босфоре во время одной из прогулок на лодке, которую устроили им родители много лет назад, когда они с Рюйей болели свинкой. Вечером он обнаружит, что прощальное письмо Рюйи написано точно такой же зеленой шариковой ручкой, как и та, что он потерял в детстве. Ту ручку двадцать четыре года назад Галипу на неделю дал Джеляль, увидев, как она ему понравилась. Узнав о том, что она потерялась, Джеляль спросил, в каком месте Галип обронил ручку, и, выслушав ответ, сказал: «Потерянной ее считать нельзя, потому что мы знаем, где она упала в пролив». Войдя в контору, Галип снова внимательно перечитал «Когда отступили воды Босфора» и удивился, что Джеляль расчищал фисташковые водоросли на окне «кадиллака» не той самой зеленой шарико-

вой ручкой, а какой-то другой.

Галип слышал от Джеляля, что после отъезда дяди Мелиха в Париж и возвращения через год Васыфа, прижимающего к груди аквариум, Отец и Дедушка отправились в адвокатскую контору дяди Мелиха на Бабыали, погрузили в повозку его вещи, папки с делами, перевезли все это в Нишанташи и разместили на чердачном этаже своего дома. Позднее, когда дядя Мелих, вернувшийся из Магриба с красивой женой и дочерью Рюей, потерпел крах в бизнесе (торговле сушеным инжиром), которым он занялся вместе с тестем в Измире, он не стал для поправки семейных дел возвращаться к аптекам и кондитерским, а решил возобновить адвокатскую практику и перевез эти вещи в новую контору, полагая, что своей солидностью они произведут хорошее впечатление на клиентов. Много лет спустя, вспоминая прошлое – как всегда с насмешкой, – Джеляль рассказал Галипу и Рюе: была вызвана целая бригада грузчиков, специализирующихся на аккуратной перевозке вещей, таких, как холодильники или фортепиано, и оказалось, что один из грузчиков двадцать два года назад таскал эти вещи на чердак; годы только поубавили волос на его голове.

А еще через двадцать один год, после того как этому грузчику Васыф, смотревший на него во все глаза,

подал стакан воды, контора и все старые вещи перешли к Галипу: это произошло, по мнению отца Галипа, потому, что дядя Мелих боролся не столько с противниками своих клиентов, сколько с самими клиентами; мать Галипа считала, что Мелих переутомился, сошел с ума и стал путать законы, судебные протоколы и своды юридических актов с ресторанными меню и расписаниями пароходов; Рюйя же утверждала, что ее дорогой родитель уже тогда предвидел, какие отношения сложатся между его дочерью и племянником, и потому согласился передать свой офис Галипу, который тогда был не зятем, а всего лишь племянником. Портреты лысых западных юристов, столь знаменитых, сколь и быстро забытых, полувекковой давности фотографии преподавателей юридической школы в фресках, документы истцов и ответчиков, судьи которых давно умерли, – вот что было в этой конторе, где одно время вечерами работал Джеляль, а по утрам мать Джеляля копировала выкройки одежды; да еще в углу – массивный черный телефон, бывший скорее тяжелым, громоздким и нескладным орудием борьбы, чем средством связи,

Иногда телефон звонил сам по себе, пугая Галипа; темная, как смола, телефонная трубка была тяжелой, как маленькая гантель, при наборе номера диск выдавал скрипучую мелодию, как старые турникеты на

пристанях Каракей (Пристань и район на европейском берегу Босфора) – Кадыкей (Район и пристань на азиатском берегу Босфора); иногда телефон соединялся по своему капризу совсем не с тем номером, с каким было нужно.

Галип набрал свой домашний номер и удивился, что Рюйя сразу сняла трубку. «Ты проснулась? – Он был доволен, что она оказалась не в закрытом саду своей памяти, а в доступном мире. Он мысленно представил стол, на котором стоял телефон, неприбранную комнату, Рюйю у телефона. – Ты прочла газету, которую я оставил? Джеляль написал занятные вещи». – «Не прочла, – сказала Рюйя. – Который час?» – «Ты поздно легла, да?» – спросил Галип. «Ты сам приготовил завтрак», – донесся до него голос Рюйи. «Не хотелось тебя будить, – объяснил Галип. – Что тебе снилось?» – «Поздно ночью я видела в коридоре таракана», – услышал он в ответ. И голосом радиодиктора, сообщающего морякам местонахождение плавающей мины, Рюйя взволнованно добавила: "Между кухонной дверью и батареей в коридоре... В два часа... Такого огромного..." Наступило молчание. «Хочешь, я возьму такси и приеду?» – спросил Галип. «Когда занавески задернуты, дом такой страшный», – прозвучало в трубке. «Пойдем вечером в кино, в „Конак“, а на обратном пути зайдем к Джелялю», – пред-

ложил Галип. Рюя зевнула: «Я хочу спать». «Спи», – сказал Галип. Оба замолчали. И, уже опуская трубку на рычаг, Галип услышал, что Рюя зевнула еще раз.

В последующие дни, когда Галип волей-неволей снова и снова вспоминал этот разговор, он уже не был уверен, что точно слышал зевок и все, о чем тогда говорилось. Сказанное Рюей он вспоминал всякий раз по-другому и с сомнением думал: «А с Рюей ли я разговаривал?» – и представлял, как его разыгрывала другая женщина. Потом ему будет казаться, что он прекрасно слышал то, что говорила Рюя, это была именно она: просто он стал другим после того телефонного разговора. И уже как «другой» прокручивал в голове то, что неправильно понял или, как ему казалось, вдруг вспомнил. Галип будет представлять свой голос голосом постороннего человека, так как поймет, что, разговаривая по телефону, два человека на противоположных концах провода могут превратиться совершенно в других людей. А ведь поначалу он думал, что виной всему старый телефонный аппарат: это громоздкое чудовище звонило не переставая весь день.

После разговора с Рюей Галипу сначала позвонил клиент – квартиросъемщик, судившийся с домовладельцем. Потом ошиблись номером. Потом позвонил незнакомый человек, спрашивал телефон Джеляля:

«Я знаю, вы его родственник». После торговца металлом дозвонился – как выяснилось, после долгих усилий – Искендер; он тоже хотел связаться с Джелялем.

Искендер был лицейским товарищем Галипа, они не виделись пятнадцать лет, поэтому он прежде всего поздравил Галипа с женитьбой на Рюйе и сказал, как говорили многие: все знали, что в конце концов именно так и будет. Теперь Искендер занимался рекламой. Он хотел устроить Джелялю встречу с телевизионной группой Би-би-си, готовящей программу о Турции: «Они хотят перед камерой поговорить с таким известным журналистом, как Джеляль, который уже тридцать лет находится в гуще событий». Искендер стал сообщать ненужные подробности: телевизионщики уже встречались с политиками, деловыми людьми, профсоюзными деятелями, но самая важная для них встреча – с Джелялем. «Не волнуйся! – сказал Галип. – Я немедленно найду его, прямо сейчас позвоню». Звонок Джелялю был хорошим предлогом прекратить разговор. «В редакции мне уже два дня морочат голову, – пожаловался Искендер, – потому я и позвонил тебе. Два дня не могу застать Джеляля в газете. Что-то там не то, по-моему». Джеляль, бывало, закрывался на три-пять дней в одном из своих тайных стамбульских убежищ, адрес и телефон которых он тщательно скрывал от всех, но Галип не сомневал-

ся, что найдет его. «Не волнуйся, – повторил он, – я тебе его быстро найду».

Однако до вечера Джеляль не нашелся. В течение дня Галип звонил ему домой и в газету «Миллиет» и представлял, как Джеляль снимет трубку и ответит не своим голосом (Галип тогда тоже, изменив голос, сказал бы, подражая интонациям его читателей и поклонников – они: Рюйя, Джеляль и Галип – часто вместе разыгрывали такой спектакль: «Я, конечно же, понял особый смысл твоей сегодняшней статьи, брат!»). Но на каждый звонок в газету секретарша отвечала: «Джеляль-бей еще не пришел».

Уже под вечер Галип позвонил тете Хале в надежде, что она знает, где Джеляль, и тетя позвала его на ужин. Он понял, что она снова перепутала их голоса и приняла его за Джеляля. Поняв, что ошиблась, тетя Хале сказала: «Все вы – мои беспутные дети, все одинаковы! Я бы и тебе позвонила». На всякий случай тетя отругала Галипа – видимо, за то, что обозналась, – а потом тоном, каким бранила обычно своего черного кота Кемюра, когда он запускал острые когти в обивку кресла, попросила его по дороге зайти в лавку Алааддина и купить корм для японских рыбок Васыфа: рыбки, видите ли, едят исключительно европейский корм, а Алааддин продает его только знакомым.

– Вы прочитали его сегодняшнюю статью? – спро-

сил Галип.

– Чью? – уточнила тетя с грозным вызовом. – Алааддина? Нет. Мы выписываем "Миллиет", чтобы твой дядя разгадывал кроссворды, а Васыф развлекался вырезками, а вовсе не для того, чтобы читать статьи Джеляля и переживать из-за того, что наш сын так низко пал.

– Позвоните Рюйе, пригласите ее сами на вечер, – попросил Галип, – у меня не будет времени.

– Не забудь! – сказала тетя Хале, напоминая Галипу про поручение и час ужина. Потом, словно оглашая список игроков долгожданного футбольного матча, чтобы подогреть интерес болельщиков, тетя зачитала список приглашенных на семейный ужин, который, собственно, никогда не менялся, как и меню семейных собраний: «Твоя мама, тетя Сузан, дядя Мелих, Джеляль (если объявится) и, конечно, твой отец; Кемюр, Васыфи твоя тетя Хале». Обозначая таким образом как бы две команды, она не рассмеялась своим кашляющим смехом, а сказав: «Я испеку твои любимые пирожки», положил трубку.

Дом, где в одной квартире жила тетя Хале с Васыфом и Эсмой-ханым, а в другой дядя Мелих с Сузан (а раньше и с Рюйей), находился, по их мнению, на окраине Нишанташи. Вообще-то от полицейского участка, от лавки Алааддина и главного проспекта до этого ме-

ста было пять минут хода-все-го-то спуститься вниз через три улицы, поэтому другие никогда бы не назвали это место окраиной, но родственники Галипа не находили ничего привлекательного в этой мощеной улице, на которой они поселились, перевезя домашний скарб через глинистые пустыри и вскопанные огороды; не было ничего интересного и на соседних улицах, поэтому они считали, что это место никак нельзя было назвать центром Нишанташи. Вынужденные продать квартиры в доме Шехрикальп на главном проспекте, который представлялся им центром не только их географического, но и духовного мира, и переселиться в этот старый дом, они со всей остротой осознали, что, покинув дом, «господствовавший над всем Нишанташи» (выражение тети Хале), будут жить в снятых квартирах, где прежде уже кто-то жил, и стали часто повторять слово «окраина», не упуская случая обвинить друг друга в несчастье, свалившемся на их головы, и несколько преувеличивая свое горе. В день переезда из дома Шехрикальп на окраину, за три года до смерти, Мехмет Сабит-бей (Дедушка) уселся в новой квартире в низкое одноногое кресло, поставленное немножко иначе по отношению к окну, выходящему на улицу, и по-прежнему (как в старом доме) по отношению к массивной тумбе под радиоприемником; наблюдая, за тощей – кожа да кости – лошадью, пе-

ревозившей в тот день их вещи, сказал: «Ну что ж, пересаживаемся с лошади на ишака!» – и включил приемник, на котором уже возлежала на вязаной, ручной работы, салфетке игрушечная собака.

С тех пор прошло восемнадцать лет. В этот вечер Галип шагал под редким мокрым снегом, вдыхая воздух, загрязненный выхлопными газами и сажей из труб, пахнувший серой, углем и пылью; в восемь часов ставни почти всех лавок были закрыты, продолжали торговать только цветочник, бакалейщик и Аладдин; увидев знакомые огни, Галип остро ощутил, что с этим домом его связывают не просто восемнадцать лет воспоминаний. Ширина улицы, название дома, его местоположение не имели никакого значения: просто семья живет в этих квартирах с незапамятных времен. Войдя в подъезд со стойким запахом (в статье, вызвавшей в очередной раз гнев семьи, Джеляль вывел такую формулу: помесь запахов коридора, мокрого камня, плесени, разогретого оливкового масла и лука), Галип заторопился: хотелось скорее попасть туда, внутрь, в знакомую обстановку; так читатель привычно и нетерпеливо перелистывает страницы, перечитывая много раз прочитанную книгу.

Поскольку уже восемь, я увижу дядю Мелиха, сидящего в старом Дедушкином кресле; дядя Мелих принес с верхнего этажа газеты: он скажет, что не успел их

прочитать, или произнесет многозначительно: «Известие, прочитанное на нижнем этаже, порой приобретает другой смысл, будучи прочитанным на верхнем», а может, просто пробурчит: «Просмотрю еще разок, пока Васыф не изрезал». Я услышу, как дядя Мелих, не в силах остановить несчастную тапочку, трясущуюся на кончике его беспрерывно качающейся ноги, скажет с горечью, как во времена моего детства: «Какая тоска, надо что-то делать, ох, какая тоска, надо что-то делать!» А Эсма-ханым, которую тетя Хале прогнала с кухни, чтобы спокойно, без помех, испечь пирожки, будет накрывать на стол; держа в зубах сигарету без фильтра «Бафра», которая никак не заменяет старый добрый «Ени харман», она задаст вопрос, на который будто бы не знает ответа, или другие знают ответ, которого она не знает: «Сколько нас сегодня?» Тетя Сузан и дядя Мелих, сидящие, как бывало Бабушка с Дедушкой, напротив моих родителей по обе стороны радиоприемника, некоторое время помолчат, а потом тетя Сузан, повернувшись к Эсме-ханым, спросит с надеждой: «Джеляль сегодня придет, Эсма-ханым?» Дядя Мелих привычно скажет: «Он никогда не образумится, никогда!»; отец же мой, с удовольствием и гордостью оттого, что может противоречить дяде Мелиху и что его считают более уравновешенным и серьезным, хоть он и младше, радостно похвалит одну из

последних статей Джеляля. Защитив таким образом племянника, Отец переключится на меня: демонстрируя передо мной свою осведомленность, он произнесет в адрес Джеляля несколько одобрительных слов, над которыми первым, если бы слышал, поиздевался бы сам Джеляль, а потом выскажет «конструктивную» критику по поводу прочитанной статьи, затрагивающей жизненно важную для страны проблему, а Мама (мама, хоть ты не вмешивайся), кивая (так как она тоже считала своим долгом оберегать Джеляля от гнева дяди Мелиха, вставляя слова вроде: "Вообще-то он хороший, но..."), присоединится к отцу; я не сдержусь и, хотя прекрасно знаю, что они не наслаждаются статьями Джеляля, как я, не понимают и не могут понять того смысла в его статьях, который нахожу я, задам бесполезный вопрос: «А вы читали его сегодняшнюю статью?» В ответ я услышу, как дядя Мелих, у которого газета открыта как раз на той странице, где напечатана статья Джеляля, скажет: "Какой сегодня день?"

Его что, каждый день теперь печатают? Не читал!" После этого включится отец: «Я не считаю правильным, что он так резко выступает против премьер-министра!» А мама произнесет фразу, из которой неясно будет, кого она считает правым – премьер-министра, моего отца или Джеляля: «Даже если ты не разделяешь чье-то мнение, уважай личность другого че-

ловека». Осмелевшая от такого неопределенного высказывания, в разговор вступит тетя Сузан: «Своими рассуждениями о бессмертии, безбожии и табаке он напоминает мне французов!» – и продолжит развивать тему сигарет и табака. Эсма-ханым, которая так и не решила, на сколько персон накрывать стол, стелет скатерть, как большую свежую простыню на постель – держит за один край и, взмахнув над столом, не выпуская сигарету изо рта, наблюдает, как удачно опускается противоположный край; потом я услышу, как снова вспыхивает спор между Эсмой-ханым и дядей Мелихом: «Эсма-ханым, ведь сигареты обостряют твою астму!» – «Если сигареты обостряют астму, то сначала ты, Мелих-бей, брось курить!» При этих словах я выйду из комнаты. На кухне среди теста и брынзы, в чаду разогретого масла, как волшебница, нагревшая котел для приготовления чудесного эликсира (волосы повязаны платком, чтобы на них не попало масло), тетя Хале печет пирожки; чтобы заслужить мое особое внимание, любовь, а может, и поцелуй, она быстро, как взятку – «Никому не говори!» – сунет мне в рот пышущий жаром пирожок и спросит: «Горячий?» А у меня от ожога на глазах выступят слезы, и я даже не смогу ей ответить: «Очень!» Из кухни я пойду в комнату, где проводили бессонные ночи Дедушка и Бабушка в обнимку с голубым одеялом, на ко-

тором Бабушка учила нас с Рюей арифметике, чтению и рисованию; после их смерти сюда перебрался Васыф со своими любимыми японскими рыбками. В комнате я увижу Васыфа и Рюю, они вместе будут любоваться рыбками или рассматривать коллекцию вырезок Васыфа из газет и журналов. Я присоединюсь к ним, и первые минуты, как бы для того, чтобы не было заметно, что Васыф глухонемой, мы с Рюей будем молчать, а потом, совсем как в детстве, языком жестов, который мы для себя придумали, представим Васыфу сцену из старого фильма, недавно показанного по телевизору, или опять изобразим сцену из «Призрака в опере», всякий раз приводившую Васыфа в волнение. А потом понятливый Васыф отвернется от нас и подойдет к своим любимым рыбкам; мы с Рюей посмотрим друг на друга – я не видел тебя с утра, мы не разговаривали со вчерашнего вечера, я спрошу: «Как ты?» – «Ничего, нормально!» – как всегда ответишь ты, и я сосредоточенно буду думать, не кроется ли что-нибудь этакое в твоих словах, а чтобы скрыть тщетность моих раздумий, спрошу: «Чем ты сегодня занималась? Что ты делала сегодня, Рюя?» – будто не знаю, что ты так и не начала переводить детектив, как собиралась, что ты клюешь носом, переворачивая страницы старых полицейских романов, ни один из которых я так и не смог осилить. Тетя Хале

открыла дверь:

– А где же Рюйя?

– Она не пришла? – удивился Галип. – Разве вы не звонили ей?

– Я звонила, но никто не ответил. Я подумала, что ты ей сообщишь. – Может, она наверху, у отца? – предположил Галип.

– Да нет, твои дядя с тетей давно спустились. Они помолчали.

– Она дома, – сказал Галип, – я сбегая за ней.

– Ваш телефон не отвечал, – повторила тетя Хале, но Галип уже мчался вниз полестнице.

– Ладно, – крикнула вслед тетя Хале, – только не задерживайся. А то пирожки остынут.

Галип шел быстро, холодный ветер, крутящий влажный снег, развевал полы его пальто, которое он носил уже девять лет (тема еще одной статьи Дже-ляля). Он давно подсчитал, что если не выходить на главный проспект, а идти маленькими улочками, то можно добраться от дома родственников до своего за двенадцать минут; он почти бежал в темноте мимо закрытых лавок, мимо работающего портного, мимо витрин, освещенных светом рекламы кока-колы и нейлоновых чулок. Его подсчет оказался довольно точен. Когда он вернулся по тем же улицам (перед портным лежала та же ткань, и он вдевал новую" нитку в игол-

ку), прошло двадцать шесть минут. Открывшей дверь тете Сузан и остальным, когда они усаживались за стол, он сказал, что Рюйя простыла, напилась антибиотиков (проглотила все, что нашла в ящике стола) и заснула; она слышала днем телефонные звонки, но была не в силах подняться, а сейчас у нее нет аппетита, она хочет спать и просила передать всем привет.

Чтобы не сосредоточивать внимания на болезни жены, Галип хотел было начать: "Джеляль в сегодняшней статье... ", но, вдруг испугавшись этой своей привычки, сказал другое, неожиданно пришедшее на ум: «Тетя Хале, я забыл зайти в лавку Алааддина!»

В это время зазвонил телефон. Отец Галипа с серьезным видом снял трубку. «Наверно, из полицейского участка звонят», – подумал Галип. Отец разговаривал, переводя ничего не выражающий взгляд со стены (обои на стенах – в утешение – были такие же, как в доме Шехрикальп: зеленые почки, опавшие с кустов плюща) на сидящих за столом (у дяди Мелиха разыгрался приступ кашля; глухой Васыф, казалось, слышал разговор; волосы матери Галипа после многочисленных окрасок приняли наконец точно такой же цвет, как волосы красавицы тети Сузан); Галип, как и все, слушал, что говорит отец, а когда тот умолкал, пытался понять, кто там, на другом конце провода?

– Нет, нету, сегодня не видели, с кем я разговари-

ваю? Спасибо... Я – дядя, к сожалению, сегодня не с нами...

«Кто-то разыскивает Рюю», – подумал Галип.

– Спрашивали Джеляля, – отец, довольный, положил трубку, – пожилая дама, поклонница, ей очень понравилась статья, она хотела поговорить с Джелялем, спрашивала его адрес, телефон.

– А какая статья? – спросил Галип.

– Знаешь, Хале, – сказал отец, пропуская вопрос мимо ушей, – очень странно, голос этой женщины был удивительно похож на твой!

– Голос пожилой женщины вполне может быть похож на мой, – отозвалась тетя Хале, и тут ее розовая шея вытянулась, как у гусыни, – но этот голос не имеет ничего общего с моим!

– Откуда ты знаешь?

– Эта, как ты ее назвал, дама уже звонила утром, – сказала тетя Хале, – у этой особы голос мегеры, старающейся говорить голосом дамы. Даже похож на голос мужчины, который пытается говорить голосом пожилой дамы.

– А ты не спросила, как эта дама узнала наш номер телефона? – поинтересовался отец Галипа.

– Нет, – ответила тетя Хале, – не сочла нужным. С тех пор как Джеляль в своей газете постоянно положит наше грязное белье, будто сочиняет роман с про-

должением, я не удивляюсь никаким его выходкам: он вполне мог дать наш номер, чтобы любопытные читатели подольше развлекались после какой-нибудь его статьи, где он в очередной раз издевается над нами. Когда я вспоминаю покойных папу с мамой и думаю о том, сколько огорчений он им принес, я понимаю: нет ничего странного в том, что он дал наш номер телефона, единственное, что странно – и хотелось бы это узнать, – за что он нас ненавидит столько лет?

– Ненавидит, потому что коммунист. – Дядя Мелих, преодолев кашель, с победным видом закуривал сигарету. – Когда коммунисты поняли, что им не удастся обмануть ни рабочих, ни народ, они хотели, обманув солдат, устроить большевистскую революцию на подобие янычарского бунта. Джеляль же со своими «кровавыми» статьями и ненавистью стал их орудием.

– Нет, – возразила тетя Хале, – это уж ты чересчур!

– Мне Рюйя сказала, я знаю, — настаивал дядя Мелих. Он даже хохотнул и не закашлялся. – Джеляль поверил, что после переворота, при новом, янычарско-большевистском – на турецкий лад-порядке он станет министром иностранных дел или послом во Франции, он даже стал самостоятельно изучать французский язык. Поэтому поначалу мне почти понравился этот призыв к революции (ясное дело, что никакой революции и быть не могло), я подумал: а

вдруг благодаря этому призыву мой сын, который в молодости не удосужился выучить иностранный язык из-за того, что вращался все больше среди босяков, теперь освоит французский. Но потом Джеляль совсем взбесился, и я запретил Рюйе общаться с ним.

– Да не послушала она тебя, Мелих, – сказала тетя Сузан, – Рюйя и Джеляль постоянно встречаются, скучают друг без друга, они любят друг друга, как родные брат и сестра.

– Ну хорошо, хорошо, – согласился дядя Мелих, – я сказал неправильно; не сумев обратить в свою веру турецкую армию и нацию, он взялся за сестру. Рюйя стала анархисткой. И если бы сын мой Галип не вытащил ее из этой крысиной норы, не увел отэтих разбойников, Рюйя сейчас находилась бы не дома в постели, а неизвестно где.

Сосредоточенно рассматривая ногти, Галип думал о том, что в этот момент все опять дружно представили себе больную Рюйю, и ждал, не добавит ли дядя Мелих чего-нибудь новенького в список произошедших событий, который он озвучивал регулярно, раз в два-три месяца.

– Рюйя могла бы даже попасть в тюрьму, потому что она не была такой осмотрительной, как Джеляль, – продолжал дядя Мелих и, не обращая внимания на возгласы "Да защитит ее Аллах!", взволнован-

но развивал тему дальше: – Рюяя вполне могла вместе с Джелялем очутиться среди тех бандитов. Если бы бедная Рюяя проникла подпредлогом подготовки репортажа в среду бандитов Бейоглу, производителей героина, содержателей притонов, употребляющих кокаин русских эмигрантов, она оказалась бы одной компании со всеми этими человеческими отбросами. И сейчас нам пришлось бы искать нашу дочь среди приехавших в Стамбул в погоне за грязными удовольствиями англичан; гомосексуалистов, охотящихся за борцами; американок, обслуживающих распутниц в банях; аферисток, наших кинозвезд, которых в какой-нибудь европейской стране не взяли бы и в проститутки, не то что в актрисы; изгнанных из армии за долги и неповиновение офицеров; мужеподобных певиц с сиплыми от сифилиса голосами; квартальных покорительниц сердец, пытающихся выдать себя за светских дам. Скажи ей, пусть принимает истеропирамицин.

– Что? – не понял Галип.

– Лучший антибиотик при гриппе. Вместе с бекозим-форте. Принимать каждые шесть часов. А который час? Может, она проснулась?

Тетя Сузан сказала, что Рюяя наверняка еще спит. Галип, как и все, снова представил себе спящую Рююю.

– Нет, – решительно выговорила Эсма-ханым. Она аккуратными движениями собирала многострадальную скатерть, краями которой, по оставшейся от Дедушки дурной привычке, невзирая на протесты Бабушки, как салфетками вытирали рот после еды. – Нет! Я не позволю в этом доме плохо говорить о моем Джеляле! Джеляль стал большим человеком.

Дядя Мелих считал, что его пятидесятипятилетний сын полностью разделяет это мнение Эсмы-ханым и потому совсем не интересуется, как там поживает его старый отец, мало того – никому не сообщает, в какой из своих квартир в Стамбуле изволит находиться, и, чтобы не только отец, но и никто из семьи-даже тетя Хале, которая всегда прощала ему все, – не мог с ним связаться, еще и выключает телефоны, номера которых никому не дает. Галип испугался, что на глазах дяди Мелиха сейчас появятся – по привычке, не от горя – фальшивые слезинки. Но этого не случилось, а дядя Мелих в очередной раз повторил, что всегда хотел иметь сына не такого, как Джеляль, а такого, как Галип (он словно забыл двадцать два года разницы в их возрасте), именно такого, как Галип, умного, зрелого, спокойного...

Впервые Галип услышал эти слова двадцать два года назад (значит, Джелялю было столько, сколько ему сейчас), в ту пору, когда он неожиданно быстро

вытянулся и от смущения не знал, куда девать свои нескладные руки; он мечтал, что слова дяди Мелиха сбудутся и он избавится от тоскливых ужинов с родителями: не надо будет сидеть, устремив взгляд в никуда, сквозь стены, ограждающие под прямым углом обеденный стол, за которым усаживались Отец, Мать и он (Мать: «От обеда осталась долма, хочешь?» Галип: "Не-е... " Мать: «А ты?» Отец: «Что я?»); каждый вечер он будет ужинать с тетей Сузан, дядей Мелихом и Рюйей. Его одолевали разные волнующие мысли: красивая тетя Сузан, которую он изредка видел в голубой ночной рубашке, когда воскресным утром поднимался, чтобы играть с Рюйей (в лабиринт, в прятки), становилась его мамой (здорово!); дядя Мелих, рассказы которого об адвокатской практике и об Африке он так любил, превращался в его папу (здорово!); а они с Рюйей, поскольку она была одних с ним лет, превращались в близнецов (рассуждать дальше он почему-то боялся и на этом останавливался).

Когда со стола убрали, Галип сказал, что телевизионщики из Би-би-си, искавшие Джеляля, так его и не нашли; но, против ожиданий, это не вызвало новых пересудов о том, что Джеляль скрывает от всех свои адреса и номера телефонов, что, если верить молве, у него квартиры по всему Стамбулу, а потому где его искать – неизвестно. Кто-то объявил, что идет снег, и

перед тем, как усесться в кресла, все подошли к окну и, раздвинув занавески, некоторое время смотрели в холодную тьму, на слегка припорошенную снегом улицу. Чистый умиротворяющий снег. (Такой снег описал Джелаль в одной из статей, но не для того, чтобы разделить тоску читателей «по прежним вечерам Рамазана», а чтобы поиздеваться). Васыф направился в свою комнату, Галип пошел за ним.

Васыф сел на край большой кровати, Галип устроился напротив. Васыф провел рукой по своим светлым волосам и дотронулся до плеча: Рюйя? Галип ударил себя кулаком в грудь и изобразил сильный кашель – больная, кашляет! Потом, соединив руки, изобразил подушку, к которой прислонил голову, – лежит. Васыф достал из-под кровати большую картонную коробку – лучшие вырезки из газет и журналов, которые он собрал за много лет. Васыф наугад вытаскивал из коробки листки, они разглядывали фотографии, и казалось, что рядом с Васыфом сидит Рюйя и они вместе смеются над тем, что он показывает: улыбающееся лицо знаменитого футболиста, двадцать лет назад рекламировавшего крем для бритья; впоследствии он умер от кровоизлияния в мозг, отбив головой угловой удар; тело иракского лидера Касыма в окровавленной униформе, убитого во время военного переворота; фотографии с места знаменитого убий-

ства на площади Шишли (Рюйя в свое время комментировала их голосом актрисы из радиотеатра: ревнивый полковник в отставке, спустя двадцать лет узнав, что жена ему изменяла, долго выслеживал обидчика, распутного журналиста, и в конце концов застрелил его и сидевшую рядом с ним в машине молодую жену); премьер-министр Мендерес приносит в жертву верблюда, на заднем плане корреспондент Джеляль и верблюд смотрят куда-то в сторону. Галип собрался идти домой, когда Васыф выхватил из коробки очередную порцию вырезок, в которой оказались две старые статьи Джеляля: «Лавка Алааддина» и «Палач и плачущее лицо». Вот и есть что почитать в бессонную ночь! Галипу не пришлось делать слишком много «мимик», чтобы Васыф разрешил взять эти статьи. С пониманием встретили его отказ выпить кофе, который принесла Эсма-ханым; это означало, что на лице его написано: «Жена одна дома, больная». Галип стоял на пороге раскрытой двери. Даже дядя Мелих сказал: «Конечно, конечно, пусть идет!» Тетя Хале наклонилась над котом Кемюром, вернувшимся с улицы; из комнаты еще раз донеслось: «Передавай привет Рюйе, пусть выздоравливает!»

В квартире все было так, как оставил Галип: в гостиной свет был погашен, а в коридоре горел. Галип повесил пальто и пиджак, сразу же поставил на плиту

воду для чая, в спальне при свете тусклой лампочки передел мокрые носки. Потом, сев за стол, прочитал еще раз оставленное Рюей письмо. Это письмо, написанное лежащей на столе зеленой шариковой ручкой, было даже короче, чем ему сначала показалось, девятнадцать слов.

Лавка Алааддина

*Может, у меня и есть недостатки, но
речь не о них.*

Бирон паша (Вымышленное автором лицо)

Мы сидели в нашем доме с Алааддином, и я рассказывал ему историю зеленой шариковой ручки и детективного романа, много лет назад приобретенного в его лавке: в конце истории героиня, которой я подарил роман и которую очень любил, оказалась обреченной до конца жизни не заниматься больше ничем, кроме чтения детективных романов. Я сообщил, что именно в его лавке встретились патриотически настроенные офицеры и журналисты перед тем, как пойти на историческое собрание, где они составляли план совершения правительственного переворота с целью изменить нашу историю и историю всего Востока.

Когда я кончил говорить, настала очередь Алааддина. Большого труда стоило ему открыть эту лавку. Годами он собственноручно переплетал комиксы, утром, когда весь город еще спал, он открывал и убирал лавку, развешивал газеты и журналы на двери и на стволе и ветвях каштана, а свежие номера выставлял в витрине. У него в лавке были самые странные товары (игрушечные балеринки, передвигаемые с по-

мощью магнита, трехцветные шнурки, маленькие гипсовые фигурки Ататюрка с горящими голубыми лампочками в глазах, перочинные ножи в виде голландской мельницы, таблички «сдается внаем» и «бисмилляхирахманирахим» (Обращение к милости Аллаха перед началом какого-либо дела), жевательная резинка с сосновым ароматом, в упаковку которой были вложены изображения птиц, пронумерованные от одного до ста, розовые кости для нардов, переводные картинки, капюшоны цветов футбольных команд: один, голубой, он сам носил десять лет...). Чтобы иметь возможность предложить все это клиентам – вдруг кому-нибудь понадобится, – он годами ходил по Стамбулу, лавка за лавкой, и никогда не ответил отказом ни на одну, даже самую невообразимую просьбу (нет ли у вас синих чернил с цветочным ароматом? Нет ли у вас поющего колечка?). Когда у него спрашивали что-нибудь, он считал, что, раз спрашивают, значит, это где-то есть, и говорил: «Завтра будет!» Потом он делал заметку в тетради, на следующее утро отправлялся в путь, как путешественник в поисках чуда, обходил все лавки в городе и непременно приобретал нужную вещь.

Я понял, что между Алааддином и его покупателями существует определенная связь, для объяснения которой он не сумел бы найти слов. Он любил и

маленькую девочку, приходившую с бабушкой, чтобы купить обруч для волос с колокольчиками, и прыщавого юнца, который, забившись в угол лавки, пытался быстренько осуществить любовь с голой женщиной на обложке журнала. Любил он и очкастую служащую банка, которая покупала роман о невероятной жизни голливудских звезд, за ночь проглатывала его, а утром приносила обратно: «Оказывается, я его уже читала!» Ему дорог был старик, который просил завернуть картинку с изображением девушки, читающей Коран, непременно в газету без иллюстраций. Все же Алааддин был осмотрителен в своей любви: он мог понять мать и дочь, которые, развернув, как карту, выкройку из модного журнала, принимались прямо в лавке кроить материю, или ребятишек, которые, купив игрушечные танки, не выходя из лавки тут же начинали войну и ломали их, но, когда покупатель спрашивал ручной фонарик в виде карандаша или брелок с черепом, у него возникало чувство, что ему посылают какие-то знаки люди из совершенно незнакомого и непонятного ему мира. Знак какого волшебства нес с собой таинственный человек, явившийся в лавку снежным зимним днем и потребовавший для выполнения школьного задания «летние картинки»? А однажды, поздно вечером, когда лавка уже закрывалась, вошли два мрачных человека: они перебира-

ли кукол в красивых одеждах, поднимающих и опускающих руки, причем держали их осторожно, умело и привычно, как доктора держат живых младенцев, с изумлением смотрели, как розовые создания открывают и закрывают глаза, потом купили куклу и бутылку раки и исчезли в пугающей Алааддина тьме. Подобное случалось нередко и не проходило даром для Алааддина: он видел во сне своих кукол в коробках и целлофановых пакетах, ему снилось, что после закрытия лавки куклы открывают и закрывают глаза и у них растут волосы. Возможно, он хотел бы спросить меня, что это значит, но лишь умолк грустно и безнадежно, как обычно это делают наши соотечественники, вдруг почувствовав, что они слишком разговорились и чересчур заняли мир своими проблемами...

Уходя, Алааддин сказал, словно извиняясь, что теперь я очень много о нем знаю и могу написать что захочу...

Это чепуха

Обычно уезжают потому, что для этого есть повод. А в поводе вас извещают. Вам предоставляют право возразить. Ведь не уезжают же вот так. Нет, это чепуха.

Марсель Пруст

Прощальное письмо из девятнадцати слов Рюйя написала зеленой шариковой ручкой, которую Галип всегда клал у телефона. Не обнаружив ручку на месте, Галип стал искать ее повсюду, но, не найдя, решил, что Рюйя написала письмо, уходя из дома, в последний момент, и, вероятно, бросила ее в сумочку: вдруг пригодится; толстая ручка, которой Рюйя пользовалась, когда раз в сто лет собиралась написать кому-нибудь письмо (Рюйя никогда не дописывала письмо до конца, а если дописывала, то не оказывалось конверта, а если запечатывала, то забывала отправить), лежала на обычном месте – в выдвижном ящике тумбочки в спальне. Галип потратил много времени, чтобы выяснить, из какой тетради вырван листок для письма. Он безуспешно искал всю ночь, перерыл весь дом; после того как прозвучал утренний азан, глаза Галипа снова остановились на старом шкафу: он наугад протянул руку и вынул тетрадь, как раз ту,

из которой был вырван листок – выдран безжалостно и нервно – из середины. находка не дала ему ничего нового.

Письмо, пожалуй, нельзя было назвать «прощальным». Рюяя, конечно, не написала в нем, что вернется, но, с другой стороны, не написала и что не вернется. Было такое впечатление, что она расставалась не с Галипом, а с домом. Галипу же она пятью словами предложила стать соучастником преступления: «Придумай что-нибудь для моих родителей!» Он сразу согласился. Она не обвиняла Галипа в своем уходе, а соучастие в преступлении радовало: как-никак это их объединяло. Взамен за соучастие Рюяя пообещала: «Пришлю тебе весточку». Но в течение ночи вестей не последовало.

Всю ночь он слушал стоны, урчание и вздохи водопровода и батарей. За окном с перерывами шел снег. Прошествовал продавец бозы (турецкий напиток из проса). Галип сидел и переглядывался с зеленой подписью Рюйи. Вещи и тени внутри дома совершенно преобразились; дом стал совсем другим. Галипу хотелось сказать: «Надо же, оказывается, лампа, уже три года висящая под потолком, похожа на паука!» Он хотел поспать в надежде увидеть интересный сон, но заснуть не удалось. Ноги повели его на кухню, он пошел туда, как лунатик, открыл холодильник, ничего не

взял, вернулся в комнату и опустился в любимое кресло.

На протяжении трех лет их семейной жизни из этого кресла он наблюдал, как сидящая напротив Рюйя нетерпеливо и нервно покачивает ногой, тербит волосы, глубоко вздыхает и с шумом переворачивает страницы детективного романа. Сейчас, в ночь, когда она покинула его, у него перед глазами стояла картина из прошлого.

Пятница, вечер, прошло года полтора после того, как семья Рюйи перебралась на самый верхний этаж, – значит, они учились в третьем классе; стемнело, с площади Нишанташи доносились приглушенные зимой звуки машин и трамваев; в тот вечер они, объединив игры «Неслышный проход» и «Я не видел», открыли новую игру, которую называли «Я исчез»: один прятался в любой из квартир дядей или бабушек, забивался в какой-нибудь угол и «исчезал», а другой должен был искать, пока не найдет. Эта, казалось бы, простая игра воспитывала терпение и будила фантазию, поскольку в темных комнатах нельзя было зажигать свет и искать полагалось, пока не найдешь. Когда очередь «исчезать» пришла Галипу, он спрятался на шкафу в Бабушкиной спальне (он заметил это убежище еще два дня назад и сейчас влез на ручку кресла, осторожно ступил на спинку, подтянувшись,

залез наверх и притаился). Он лежал на шкафу в темноте, понимая, что Рюйя никогда не найдет его здесь. Он воображал себя на месте ищущей его Рюйи, чтобы лучше почувствовать, в какое отчаяние она приходит от его исчезновения: ей тоскливо одной, хочется плакать, и она умоляет его со слезами на глазах выйти из темной комнаты, где он спрятался. После ожидания, длившегося бесконечно долго, как детство, Галип спустился со шкафа, даже не думая о том, что нетерпение победило его, и, когда глаза привыкли к свету, сам пошел по дому искать Рюйю. Он обошел все этажи и со странным ощущением нереальности и поражения пришел к Дедушке с Бабушкой. «Ты весь в пыли, – сказала Бабушка, – где ты был? Тебя искали!» А Дедушка ответил на его вопрос: «Пришел Джелляль, и они с Рюйей пошли в лавку Алааддина». Галип сразу побежал к окну, холодному, темно-синему окну: шел снег, медленный, печальный, зовущий человека на улицу. Из витрины лавки Алааддина через игрушки, иллюстрированные журналы, мячики на резинках, разноцветные бутылки и танки просачивался бледный свет, похожий на цвет кожи Рюйи, он неясно отражался на белизне снега, покрывавшего мостовую.

Эта давняя картина стояла у него перед глазами на протяжении всей нескончаемой ночи: Галип вспомнил нетерпение, которое испытал тогда, двадцать четы-

ре года назад, нетерпение, которое, казалось, вот-вот перельется через край, как сбежавшее молоко: где, когда и что упустил он в своей жизни?

По утрам Галип отправлялся на работу, а вечером возвращался в маршрутках и автобусах, натываясь на чьи-то ноги и локти в толчее безликой мрачной толпы. Днем он по несколько раз звонил домой, придумывая поводы, от которых Рюйя кривила губы; вернувшись домой, по тому, какие и сколько сигарет было в пепельницах, как стояла мебель и лежали вещи, появилось ли что-то новое в доме или по выражению лица Рюйи мог почти безошибочно определить, чем она занималась в этот день. Если бы в момент наивысшего счастья (исключение) или в самый тяжелый момент беспокойства он, точно мужа в западных фильмах, спросил – как он собирался это сделать вчера вечером, – как она провела день, они оба смутились бы от того, что он вторгается в опасную и туманную, запретную для него область. Галип после женитьбы открыл, что человек, который статистикой классифицируется как «домохозяйка» (Галип никогда не мог уподобить Рюйю этим женщинам, занятым только детьми, кухней и стиркой), живет своей тайной и даже загадочной жизнью.

Иногда, когда Рюйя принималась чересчур весело смеяться над какой-нибудь его не очень смешной

шуткой или словами, он проводил рукой по щеке ее, беличьего цвета, волос, и в них пробуждалась супружеская нежность, особая близость; в такие моменты, когда весь внешний мир, казалось, исчезал, Галипу хотелось спросить, что она делала сегодня дома, чем занималась, помимо стирки, мытья посуды, чтения детективов и прогулки (доктор сказал, что детей у них не будет, и Рюйя не проявляла особого желания что-либо предпринять, чтобы исправить это); но спрашивать он не решался: после подобного вопроса могло возникнуть пугающее отчуждение, а ответ мог быть дан в выражениях весьма далеких от обычного языка их общения; поэтому он молчал, обнимал Рюйю, просто смотрел на нее. «Опять этот пустой взгляд!» – говорила Рюйя. И весело повторяла слова, которые в детстве говорила Галипу ее мать: «Ты бледен, как бумага!»

После утреннего азана Галип немного подремал, сидя в кресле в гостиной.

Очнувшись от дремы, он сел за стол и стал искать бумагу; то же, как он полагал, сделала и Рюйя девятнадцать-двадцать часов назад. Не найдя – как и Рюйя – бумаги, он стал на обратной стороне прощального письма составлять список людей и адресов, о которых думал всю ночь. Список все рос и рос, и конца ему не было, и это раздражало Галипа, потому что ему ка-

залось, что он подражает героям детективных романов.

Когда окно окрасилось в нежно-голубой цвет, Галип выключил в доме все лампочки. Наскоро просмотрел выброшенные бумаги и выставил за дверь ящик с мусором – для привратника. Заварил чай, побрился, вставив в станок новое лезвие, надел чистое, но неглаженое белье и рубашку, привел в порядок дом после ночного разгрома. Одеваясь, взял газету «Миллиет», просунувшую под дверь привратником, и за чаем стал читать статью Джеляля: это была старая история с «глазом», которую автор много лет назад пережил в отдаленном мрачном квартале. Галип уже читал эту статью, когда она была впервые опубликована, но снова ощутил ужас наблюдающего за тобой «глаза». В этот момент зазвонил телефон.

«Рюйя!» – подумал Галип, направляясь к телефону, и на ходу решил, в какой кинотеатр они пойдут сегодня вечером: «Конак». Он разочарованно отвечал на вопросы голоса в телефонной трубке: это была теть Сузан. Температура у Рюйи уже меньше, всю ночь она очень хорошо спала, даже видела сон и рассказала его Галипу. Разумеется, она захочет поговорить с матерью: «Рюйя! – крикнул он в сторону коридора, – Рюйя, твоя мама звонит!» Он будто увидел, как зевающая Рюйя поднимается с постели, лениво потя-

гиваясь, сует ноги в тапочки; тут Галип быстро сменил бобину в фильме своего воображения: обеспокоенный муж идет через коридор в спальню, чтобы позвать жену к телефону, но находит ее спящей. "Она заснула, тетя Сузан, у нее от температуры глаза распухли, она умылась, легла и снова заснула! Вечером мы, возможно, пойдем в «Конак», – сказал Галип довольно уверенно. «Не простудиться бы ей снова!» – забеспокоилась тетя Сузан, но, видимо, решив, что дает слишком много наставлений, переменяла тему: «Знаешь, по телефону твой голос вправду удивительно похож на голос Джеляля. Или ты тоже простыл? Смотри не заразись от Рюйи!» Оба они положили трубки тихонько, осторожно, будто боялись разбудить Рюйю.

Положив трубку, Галип вернулся к статье Джеляля, снова вообразил себя человеком, за которым наблюдает «глаз», и вдруг его осенило: «Рюйя вернулась к бывшему мужу!» Он удивился, что, всю ночь мучаясь всякими фантастическими предположениями, не пришел к такому простому выводу. Решительно подойдя к телефону, он позвонил Джелялю: сейчас он расскажет ему о своем беспокойстве и решении: «Я иду искать их. Я найду Рюйю с бывшим мужем, это не займет слишком много времени, но боюсь, что не смогу убедить ее вернуться. Что сказать ей, чтобы она вернулась (он хотел сказать „ко мне“, но не сказалось)

домой?» – «Прежде всего успокойся, – сочувственно ответит Джеляль. – Когда Рюйя ушла? Успокойся! Давай подумаем вместе. Приезжай ко мне в редакцию». Но телефон не отвечал. Джеляля не было ни дома, ни в редакции.

Перед уходом Галип снял трубку с телефона. Если тетя Сузан пожалуется: «Я звонила, звонила, но было все время занято», я скажу: «Наверно, Рюйя плохо положила трубку, вы же знаете, какая она рассеянная».

Буквы горы Каф

Разве имя должно что-то значить?
Льюис Кэрролл

Выйдя после бессонной ночи на улицу, Галип понял, что сильный снег шел дольше, чем он предполагал: обычно свинцово-серый Нишанташи сверкал непривычной белизной. Пройдя мимо цветочных лавок с запотевшими окнами, пассажей, куда то и дело ныряли разносчики чая, лица, где они с Рюей учились, мимо сказочного вида каштанов, с веток которых свисали сосульки, Галип вошел в лавку Алааддина. Алааддин с голубой повязкой на голове, девять лет назад упомянутой в статье Джелеля, держал платок у носа.

– Алааддин, ты что, приболел?

– Простудился.

Галип перечислил названия левых политических журналов и попросил Алааддина подобрать их по одному экземпляру: в одних раньше публиковался бывший муж Рюи, некогда популярный политик, в других были статьи в его поддержку, в третьих писали его противники. С обычным детским выражением на лице, в котором можно было прочесть опаску, иногда

– недоверие, но никогда – враждебность, Алааддин сказал, что эти журналы покупают только студенты, и спросил:

– Тебе-то они зачем?

– Кроссворды буду разгадывать, – сказал Галип.

– Алааддин рассмеялся, показав, что понял шутку, а потом сказал с грустью кроссвордомана:

– В них не бывает кроссвордов, брат! Вот тут два совсем свежих журнала, хочешь?

– Давай, – сказал Галип, а потом шепотом, как старик, купивший журнал с голыми женщинами, добавил:

– Заверни-ка мне все это в газету!

Стоя в автобусе, ехавшем в Эминеню1, он внезапно почувствовал, что пакет с журналами словно потяжелел, и тут же ощутил на себе чей-то взгляд. Но это не были глаза одного из пассажиров автобуса, потому что все пассажиры, качающиеся, как в катере на волнуемом море, старались удержаться на ногах и рассеянно смотрели на заснеженные улицы и пешеходов. Галип заметил, что на него с газетной фотографии смотрит Джеляль: оказывается, Алааддин завернул журналы в старый номер газеты «Миллиет». Эту фотографию он видел много лет каждое утро, но сегодня Джеляль смотрел с этой фотографии совершенно по-иному, пугающе, как бы одним глазом. Этот взгляд говорил: «Я тебя знаю и все время наблюдаю за то-

бой!» Галип закрыл пальцем этот проникающий в душу глаз, но на протяжении всего пути в автобусе ощущал его на себе.

Добравшись до своей конторы, он сразу позвонил Джелялю, но того не было на месте. Развернув газету, Галип осторожно отодвинул ее в угол, положил перед собой журналы и, внимательно читая их, вспомнил о Сайме, своем старом товарище, который собирал политическую литературу.

Ему хотелось получше познакомиться с черно-белым странным политизированным миром маленьких левых партий, чтобы, когда он найдет Рюю, быть готовым к разговору с ее бывшим мужем, и, отыскав в книжке номер телефона, он позвонил приятелю-коллекционеру.

– Ты все еще собираешь журналы? – спросил он с надеждой. – Мне нужны кое-какие данные для защиты одного клиента, могу я поработать в твоём архиве?

– Конечно, – сказал Саим с обычной готовностью, довольный, что ему звонят по поводу «архива». Они договорились, что Галип придет вечером, в полдевятого...

Когда стемнело, Галип, не зажигая света, закрыл тяжелые ящики стола, надел найденное на ощупь пальто и вышел из конторы.

По холодным пустынным улицам он добрался до

дома Сайма в районе Джихангир.

Саим и его жена смотрели телепередачу. Когда программа закончилась и телевизор был выключен, в комнате воцарилась тишина; супруги вопросительно посмотрели на Галипа. Он объяснил, что взялся защищать студента, обвиняемого в преступлении, которого он не совершал. К сожалению, в деле фигурирует труп: трое неопытных молодых людей совершили ограбление банка; один из них в метаниях между банком и угнанным ими такси сшиб старушку. Несчастная женщина упала, ударилась головой о мостовую и скончалась на месте. («Надо же!» – воскликнула жена Сайма.) Во время этого происшествия был задержан скромный на вид молодой человек, у которого нашли пистолет. Он не назвал полиции имена своих товарищей, устоял под пытками; плохо то, что своим молчанием, как сказали Галипу, молодой человек взял на себя ответственность и за смерть старушки. А студент-археолог Мехмет Йылмаз, который сбил старушку и стал виновником ее смерти, через три недели после происшествия был убит наповал в тот момент, когда писал лозунг на стене фабрики в новом районе бедняков в Умрание. Теперь, казалось бы, юноша мог назвать имя виновного; однако полиция не верит, что погибший был действительно Мехметом Йылмазом, к тому же руководители орга-

низации, устроившей ограбление банка, настойчиво утверждают, что Мехмет Йылмаз жив и по-прежнему пишет статьи в журнале, который они издают. Галип, который взялся за это дело по просьбе богатого и добронамеренного отца юноши, находящегося в тюрьме, хочет: во-первых, просмотреть статьи Мехмета Йылмаза, чтобы доказать, что тот, кто пишет сегодня под этим именем, не является Мехметом Йылмазом; во-вторых, установить по псевдонимам, кто подписывает статьи именем погибшего Мехмета Йылмаза; в-третьих, поскольку эту странную ситуацию создала политическая фракция, которую какое-то время возглавлял бывший муж Рюйи, Галип хочет посмотреть, чем эта фракция занималась последние шесть месяцев; и, наконец, в-четвертых, ему хочется разгадать, кто пишет, прикрываясь именами умерших и пропавших без вести людей.

Саим был взволнован рассказом Галипа, и они немедленно приступили к работе. Первые два часа они пили чай, который подавала жена Сайма (Галип вспомнил, что ее зовут Рукие), бросали в рот кусочки кекса и просматривали имена и псевдонимы только авторов журналов. Потом расширили круг поиска до псевдонимов признавшихся на допросах и сотрудников журналов: скоро у них голова пошла кругом от этого увлекательного полулегального мира с его сообще-

ниями о смертях, угрозами, признаниями, бомбами, печатками, стихами и лозунгами, мира, который все еще существовал, но уже начал исчезать из людской памяти.

Саим считал, что большинство имен, с которыми они встречались в журналах, были вымышленными. Они пытались угадать, кто стоит за этими именами, понять, по какому принципу изобретались псевдонимы, расшифровать их; жена Сайма ушла, оставив мужчин в комнате с наваленными повсюду горами бумаг, газет, журналов и листовок. Было далеко за полночь; в Стамбуле царил волшебное снежное безмолвие.

Имя Мехмеда Йылмаза встретилось им в журнале четырехлетней давности. Галип подумал, что это случайность, и хотел было уже уйти, но Саим удержал его, заверив, что в его журналах – он так и называл их все: «мои журналы» – ничего случайного быть не может. Следующие два часа они усердно просматривали журналы и открыли, что Мехмет Йылмаз сначала превратился в Ахмета Йылмаза, а в журнале, где на обложке был изображен колодец, вокруг которого стояли крестьяне и разгуливали куры, Ахмет Йылмаз превратился в Метина Чакмаза. Саим без труда установил, что Метин Чакмаз и Ферит Чакмаз – одно и то же лицо; отказавшись от сочинения теоретических ста-

тей, этот человек стал писать песни, но и в этом жанре работал недолго. Саим на цыпочках пошел в спальню, принес еще одну подборку журналов и в номере, вышедшем три года и два месяца назад, уверенно нашел своего героя, будто сам поместил туда его статью: теперь это был уже не Ферит Чакмаз, а Али Харйкаульке, и он писал, что, поскольку в прекрасном будущем отпадет надобность в королях и королевах, то изменятся правила шахматной игры, что детей по имени Али хорошо кормят, поэтому они вырастут рослыми и крепкими, что в конце концов будут разгаданы все тайны, и счастливые люди будут беспечно сидеть по-турецки, и на лицах у них можно будет прочесть их имена. Открыв другой номер журнала, они поняли, что Али Харйкаульке не автор, а переводчик этой статьи. Автором же статьи оказался албанский профессор. Галипа поразило, что рядом с биографией профессора он встретил имя бывшего мужа Рюйи, который никогда не скрывался за псевдонимами.

Галип молчал, удивленный, а Саим гордо сказал: «Нет ничего более удивительного, чем жизнь! Кроме слова».

Он снова на цыпочках пошел в спальню и принес две больших коробки, доверху набитых журналами: «Это журналы фракции, имеющей связи с Албанией. Я открою тебе странную тайну, на разгадывание ко-

торой у меня ушли годы, поскольку вижу: то, что ты ищешь, каким-то образом связано с ней».

Саим разложил журналы, заварил чай и начал рассказ:

– Шесть лет назад, как-то в субботу после обеда, я листал последний номер одного из журналов, придерживающихся курса Албанской партии труда и ее вождя Энвера Ходжи (тогда выходило три таких журнала, и они вели между собой острую борьбу); итак, я просматривал журнал «Халкын змеи» («Труд народа»).— вдруг попадется что-нибудь интересное. Мое внимание привлекла статья и фотография к ней: в статье говорилось о торжествах по случаю вступления в организацию новых членов. Меня не удивило, что в нашей стране, где запрещена какая бы то ни было коммунистическая деятельность, открыто сообщалось о вступлении новых членов в марксистскую организацию, о церемонии с чтением стихов и игрой на сазе; пренебрегая опасностью, журналам всех мелких левых организаций ради выживания приходилось сообщать о своем росте и в каждом номере печатать подобные статьи. На черно-белой фотографии были видны плакаты с портретами Энвера Ходжи и Мао; собравшиеся читали стихи и курили сигареты с такой страстью, будто выполняли священный обряд; бросалось в глаза, что в зале двенадцать колонн. Это бы-

ло странно. Но еще более странным было то, что вымышленные имена вступающих в организацию были сплошь имена алевитов (Алевиты, они же шииты, – последователи Али, зятя пророка Мухаммеда), такие, как Хасан, Хюсейн, Али, то есть, как я открыл впоследствии, имена, дающиеся в честь основателей ордена Бекташи (Религиозный мистический орден, основанный в Турции в XV в. Хаджи Бекташи. Запрещен в 1926 г. Имел центр в Албании). Если бы я не знал, насколько сильно было когда-то в Албании влияние ордена Бекташи, я бы даже не заметил здесь ничего загадочного; я стал изучать литературу о Бекташи, о янычарской армии, о хуруфитах (Хуруфиты – члены шиитской общины, основанной в XIV в., верящие в мистическое значение букв. Члены ордена Бекташи), коммунизме в Албании и разгадал историческую загадку.

Ближе к утру Саим стал излагать семисотлетнюю историю ордена Бекташи, начиная с его основателя Хаджи Бекташи Вели. Он говорил об алевитских, мистических и шаманистских истоках ордена, о его участии в основании и возвышении Османского государства, о революционных и бунтарских традициях янычарской армии, основу которой составляли бекташи. Если подумать о том, что каждый янычарский воин был членом ордена Бекташи, то станет ясно, какое

влияние оказал на историю Стамбула орден, секреты которого всегда строго охранялись. В 1826 году после расстрела по приказу султана Махмуда II взбунтовавшихся армейских казарм, которые противились новой военной методике Запада, были закрыты дервишские обители – очаг духовного единства янычар, а отцов ордена выслали из города.

Через двадцать лет после первого ухода в подполье бекташи вернулись в Стамбул, но на сей раз как орден Накшибенди. В течение восьмидесяти лет, вплоть до того момента, когда Ататюрк после провозглашения Республики запретил деятельность всех орденов, бекташи представляли себя внешнему миру как накшибенди, но между собой они жили как бекташи, еще глубже спрятавшие свои тайны.

Перед Галипом лежала книга о путешествии в Англию; гравюра на раскрытой странице, изображавшая религиозный обряд бекташи, была в значительной мере плодом творческой фантазии художника, но Галип насчитал двенадцать нарисованных на ней колонн.

– Третий приход бекташи, – продолжал Саим, – состоялся через пятьдесят лет после провозглашения Республики, и на этот раз не в виде ордена Накшибенди, а в виде марксизма-ленинизма. – Помолчав, он взволнованно стал показывать журналы, бро-

шюры, книги, собранные вырезки, фотографии и гра-
вюры, свидетельствующие о том, насколько совпа-
дало происходившее в ордене и в политической ор-
ганизации: обряд приема новых членов, физические
испытания, которым подвергались молодые кандида-
ты перед приемом, преклонение перед павшими за
идею, сами способы выражения этого преклонения,
священный смысл, придаваемый слову «путь», зна-
чение единства и единения духа – не важно, какими
словами оно выражается, – радения, узнавание друг
друга единомышленниками по усам, бородам, даже
по взглядам, сазы, звучащие во время обрядов, ритм
и рифмы читаемых стихов и т. д. и т. п. – Даже если все
это случайные совпадения, – сказал Саим, – и просто
жестокая шутка, которую сыграл со мной Всевышний
при помощи статей, главное – и надо быть совершен-
но слепым, чтобы не заметить этого, – налицо: в жур-
налах политической организации с очевидностью, не
оставляющей никакого сомнения, неизменно повто-
ряется игра слов и букв, которую бекташи заимство-
вали у хуруфитов. – И в глубокой тишине, когда слыш-
ны были свистки сторожей из далеких кварталов, Са-
им стал медленно, как молитву, читать фразы, в кото-
рых он открыл игру слов, указывая на скрытый смысл
прочитанного.

Спустя довольно долгое время, когда Галип погру-

зился в какое-то полусонное состояние и вспоминал о счастливых днях с Рюйей, Саим перешел, как он выразился, к «сути и самой поразительной стороне темы». Нет, вступающие в политическую организацию молодые люди не знали, что это организация бекташи; нет, подавляющее большинство членов организации – может быть, за исключением трех-пяти человек – не имели понятия о том, что между средним звеном партийного руководству и некоторыми шейхами Бекташи в Албании существует тайное соглашение; нет, этим увлеченным самоотверженным. молодым людям, которым, вступив в организацию, приходилось в корне менять привычки, да и сам образ жизни, даже в голову не могло прийти, что снятые на фотографиях торжества, демонстрации, обряды, общие обеды некоторые отцы ордена Бекташи, находящиеся в Албании, считали продолжением деятельности ордена.

– Я наивно думал, – рассказывал Саим, – что это чудовищная тайная ловушка, что молодые люди были обмануты самым мерзким способом, я был так взволнован, что впервые за пятнадцать лет работы над архивом решил опубликовать большую статью о своем открытии, но довольно скоро отказался от этого намерения. – Он прислушался к тому, как по Босфору проходит танкер, стоном своего чрева вызывающий

дрожь стекол в окнах домов, и прибавил: – К тому времени я уже понял, что, даже если и докажешь, что твоя жизнь – всего лишь сон другого, это ничего не изменит.

А потом рассказал историю народа Зерибан, который поселился высоко в горах Восточной Анатолии, куда не доходили караваны и даже птицы долетали с трудом; двести лет народ готовился совершить путешествие на гору Каф; и что изменится от того, что идея восхождения была почерпнута из книги снов, изданной триста лет назад, или станет известно, что у шейхов был тайный договор с османами – они передавали его по секрету из поколения в поколение, – согласно которому было дано обещание не предпринимать попыток восхождения на гору Каф? Что толку объяснять солдатам, заполнившим в воскресный вечер кинотеатр маленького анатолийского городка, что интриган-священнослужитель на экране, пытающийся по сценарию исторического фильма напоить отравленным вином отважных турецких воинов, в жизни всего лишь скромный актер и честный мусульманин? Что это даст, кроме того, что люди лишатся радости проявить праведный гнев? Под утро, когда Галип дремал, сидя на диване, Саим сказал, что некоторые партийные руководители Албании встретились с шейхами Бекташи в просторном отеле начала века; глядя со

слезами на глазах на выставленные перед ними фотографии молодых турок, шейхи скорее всего не подозревали, что на них запечатлены приобщенные не к тайнам ордена, а к высоким идеям марксизма-ленинизма.

Пока Рукие собирала журналы, освобождая на столе место для завтрака, Саим просматривал свежие газеты, просунутые под дверь.

– Знание того, что статьи не есть сама жизнь, а просто-напросто статьи и в каждой присутствует некоторая доля фантазии, тоже ничего не изменит, – заключил он.

Три мушкетера

*Я спросил его о врагах. Он считал.
Считал. Считал.
Беседы с Яхьей Кемалем.*

Тридцать два года назад он описал, какими будут его похороны, двадцать лет назад он боялся, что они будут такими, как он описал. Были они именно такими. Участников церемонии, включая лежащего в гробу умершего писателя, было девять: двое из маленького частного дома для престарелых, служитель и сосед по комнате, пенсионер-журналист, которому когда-то в самое блестящее время своей карьеры он в чем-то помог, два растерянных родственника, которые не имели ни малейшего понятия о жизни и творчестве покойного, странная женщина в шляпке с вуалью и брошью, напоминающей те, что прикреплялись к головным уборам султанов, имам эфенди (Имам — духовное лицо, главный служитель мечети, глава религиозной общины) и я. Когда гроб опускали в могилу, разыгралась снежная метель, поэтому имам скороговоркой прочитал подходящие молитвы, а мы наскоро побросали землю. После этого все разошлись.

Когда я познакомился с покойным, он был известным публицистом, ему было семьдесят, а мне тридцать.

цать. Я собирался в Бакыркей (Район Стамбула на берегу Мраморного моря.) навестить приятеля и уже садился на пригородный поезд в Сиркеджи, как вдруг увидел его и еще двух популярных журналистов моего детства и юности, сидящих в вокзальном ресторане; перед ними на столе стояли стаканы раки. Поразительным было не то, что эти три старца, герои моих литературных мечтаний, каждому из которых было сейчас по семьдесят, оказались в вокзальном ресторане, среди простой толпы, а то, что эти три рыцаря пера, которые на протяжении всей жизни ненавидели и оскорбляли друг друга, собрались, словно три мушкетера Дюма-отца двадцать лет спустя, спокойно сидели и пили за одним столом. За свою полувековую журналистскую деятельность три бойких на перо скандалиста пережили трех султанов, одного халифа и трех президентов; в чем только не обвиняли они друг друга: в безбожии, младотюркизме, западничестве, национализме, масонстве, кемализме, республиканстве, измене родине, приверженности падишаху, сектантстве, плагиате, нацизме, пособничестве евреям, арабам, армянам, гомосексуализме, оппортунизме, поддержке шариата, коммунизме, проамериканских настроениях и – мода самого последнего времени – экзистенциализме (один из них написал тогда, что самым крупным экзистенциалистом был Ибн

Араби, а Запад через семьсот лет заимствовал его идеи и стал подражать ему). Некоторое время я наблюдал за тремя рыцарями, а потом, повинуясь внутреннему побуждению, подошел к их столику, представился и выразил восхищение их творчеством, стараясь быть одинаково внимательным к каждому.

Я хочу, чтобы читатели поняли: я был энергичен, молод, удачлив, уверен в себе и самонадеян, я подошел к ним с добрыми намерениями, но не без задней мысли. Я только что стал ведущим рубрики и ничуть не сомневался, что в те дни меня читали больше, чем их, я получал больше читательских писем и, уж конечно, лучше писал; если бы я не был уверен, что им известны как минимум два первых обстоятельства, я ни за что не осмелился бы подойти к этим трем мэтрам моей профессии.

Они поморщились, когда я назвал свое имя: я с радостью принял это как знак победы. Они отнеслись бы ко мне гораздо лучше, если бы я был не преуспевающим журналистом, а их рядовым почитателем. Они даже не пригласили меня сесть, мне пришлось ждать; потом посадили, но тут же послали на кухню, как официанта, я сходил; потом им захотелось посмотреть свежий журнал, я сбегал и принес; одному я очистил апельсин, другому изловчился быстренько поднять уроненную салфетку; на вопросы я отвечал

так, как им было приятно – робея и смущаясь: нет, французского, к сожалению, не знаю, но вечерами пытаюсь со словарем осилить «Цветы зла». Мое невежество делало мою победу еще нестерпимее для них, но поскольку я очень стеснялся, вина моя смягчалась.

Годы спустя, когда я проделывал такие же номера в присутствии молодых журналистов, я понял: три мастера прикидывались, что не обращают на меня внимания, когда разговаривали между собой, но на самом деле они старались произвести на меня впечатление. Я слушал их молча и уважительно: почему немецкий ученый-атомщик, имя которого не сходило в те дни со страниц газет, захотел принять ислам? Когда патриарх турецкой газетной журналистики Ахмед Мидхат-эфенди ((1844-1913) – турецкий писатель, просветитель; эфенди – вежливая форма обращения) подстерег на улице в ночи одержавшего над ним верх в публичной дискуссии коллегу и побил его, взял ли он с противника слово прекратить ведущуюся между ними полемику? Бергсон – мистик или материалист? Какие есть доказательства существования «другого мира», спрятанного на нашей Земле? Кто те поэты, которых осудили в последних аятах двадцать шестой суры Корана за то, что они не верили в Аллаха и не соблюдали обрядов, но делали вид, что верят и соблюдают? Андре Жид в самом деле был го-

мосексуалистом или, понимая пикантность этой темы, подобно арабскому поэту Абу Нувасу (р. 747-762, ум. 813-815) – арабский поэт, воспевавший обыденную жизнь), любил женщин, но сознательно наговаривал на себя? Когда Жюль Берн в своем романе описывал площадь Топхане и фонтан Махмуда I, он наделал ошибок потому, что писал с гравюры Меллинга, или потому, что слово в слово переписал описание из «Воспоминаний о Востоке» Ламартина Мевляна ((господин, наш учитель, перс.) – титул поэта-суфия, основателя суфийского ордена Джалалиддина Руми (1207-1273), ставший как бы вторым именем поэта) включил в пятую книгу «Месневи» (Месневи – жанровая форма поэзии Востока, состоит из попарно рифмующихся двустиший. «Месневи» – поэма Д. Руми из 6 томов притч и проповедей) рассказ о женщине, умершей во время совокупления с ослом, из-за занимательности истории или в назидание людям?

Деликатно обсуждая этот вопрос, они бросали взгляды в мою сторону, а потом их белые брови подали мне знак говорить. Я сказал, что, по моему мнению, рассказ был помещен в книгу так же, как и все другие рассказы, его просто прикрыли тюлевым покрывалом морали. Тот, на похоронах которого я был вчера, спросил: «Сын мой, вы пишете статьи для воспитания нравственности или ради развлечения?» Что-

бы продемонстрировать, что у меня имеются четкие суждения по каждому вопросу, я выпалил первое, что пришло в голову: «Для развлечения». Мой ответ им не понравился. Они сказали: «Вы еще молоды и стоите в начале профессионального пути, мы дадим вам кое-какие советы!» Я стремительно вскочил с места: «Эфенди, я хотел бы записать ваши наставления!» Я помчался к кассе, взял у владельца ресторана стопку листков. И вот теперь я хочу поделиться с вами, мои читатели, наставлениями, записанными зелеными чернилами моей гладенькой ручки на обороте ресторанных бланков; итак, на одной стороне – название ресторана, а на другой – наставления, которые я получил во время той долгой беседы в воскресенье.

А. АДЛИ. В тот зимний день на нем был костюм кремового цвета из английской ткани (я так пишу, потому что у нас всякую дорогую ткань называют английской) и темный галстук. Высокого роста, ухоженный, с расчесанными седыми усами. Ходил с тростью. Он выглядел как английский джентльмен, у которого нет денег; впрочем, не знаю, можно ли быть джентльменом без денег.

Б. БАХТИ. Галстук перекошен, как и лицо. Одет в старый неглаженный пиджак в пятнах. Под пиджаком – жилет, в кармане жилета – цепочка от часов. Толстый, неряшливый. Бесперывно курил, называл си-

гареты «Мой единственный друг!» и говорил, что настанет день, когда единственный друг предаст одно-стороннюю дружбу и убьет его, остановив сердце.

Дж. ДЖЕМАЛИ. Маленького роста, нервный. Стара-ется выглядеть опрятным и респектабельным, несмотря на скромную одежду учителя-пенсионера. Выцветший пиджак, брюки почталыона и ботинки на толстой пластиковой подошве. Сильно близорукий, в очках с толстыми стеклами. Неприятная внешность, которую можно было бы назвать недружелюбной.

Итак, наставления мэтров и мой жалкий коммента-рий: 1. Дж.: Работа только для удовольствия остав-ляет журналиста без компаса в открытом море. 2. Б.: Журналист – не Эзоп и не Мевляна. Мораль всегда выходит из рассказа, а не наоборот. 3. Дж.: Пиши по уму читателя, а не по своему уму. 4. А.: Компас – это рассказ (очевидно, ответ Дж.). 5. Дж.: Не вникнув в загадку нашей истории и кладбищ, невозможно пи-сать ни о нас, ни о Востоке вообще. 6. Б.: Ключ к те-ме Восток – Запад спрятан в словах Сакаллы Ари-фа: «Ах вы несчастные, следующие на Восток и гля-дящие с тихого корабля на Запад!» (Сакаллы Ариф – герой рубрики Б., имевший прототипа). 7. А. – Б. – Дж.: Обзаведитесь собственными пословицами, погово-рками, анекдотами, остротами, стихотворными строка-ми, афоризмами. 8. Дж.: Не надо начинать с поисков

«своей» темы, сначала надо найти стоящий афоризм, а потом уже искать тему, подходящую для него. 9. А.: Не садись за стол, пока не нашел первой фразы. 10. Дж.: Верь в то, что пишешь. 11. А.: А если у тебя нет искренней веры, сделай так, чтобы читатель поверил, что она у тебя есть. 12. Б.: Читатель – ребенок, мечтающий попасть на ярмарку. 13. Дж.: Читатель не прощает оскорбления Мухаммеда, ибо Аллах за это насылает паралич (понял, что сентенцией под No 11 А. задевает его и намекает на легкий парез уголка рта А., который писал статьи о женитьбе и личной жизни Мухаммеда). 14. А.: Люби карликов, их и читатель любит (ответ Дж. с намеком на его маленький рост). 15. Б.: Хорошая тема, например, загадочный дом карликов в Ускюдаре (Ускюдар – район на азиатской стороне Стамбула). 16. Дж.: Борьба, когда она спортивная, тоже хорошая тема, о ней интересно писать (решил, что сентенция No 15 – опять намек на него, и отправляет меня к слухам о пристрастии Б. к мальчикам, порожденные серией статей журналиста о борьбе). 17. А.: Читатель живет трудно, читатель – это отец семейства, имеющий жену, четырех детей и ум двенадцатилетнего подростка. 18. Дж.: Читатель неблагодарен, как кошка. 19. Б.: Я бы не сказал, что умный зверь кошка – неблагодарная; она просто знает, что нельзя доверять писателям, любящим собак. 20. А.: Зани-

майся не кошками и собаками, а проблемами страны.

21. Б.: Узнай адреса зарубежных консульств (намек на слухи о том, что во время второй мировой войны Дж. подкармливало немецкое консульство, а А. – английское).

22. Б.: В полемику вступай только в том случае, если уверен, что одержишь верх над противником.

23. А.: В полемику вступай только в том случае, если сможешь привлечь на свою сторону патрона.

24. Дж.: В полемику вступай только в том случае, если у тебя под рукой пальто (намек на то, что Б. не принимал участия в освободительной борьбе, а остался в оккупированном Стамбуле, произнес знаменитую фразу «Я не переносу анкарских зим!»).

25. Б.: Отвечай на письма читателей; если писем нет, сам пиши и отвечай на них.

26. Дж.: Наш бесспорный патриарх и мэтр – Шехерезада; не забывай, что ты, как и она, всего-навсего пишешь истории в пять-десять страниц, впихивая в них события, называемые жизнью.

27. Б.: Читай мало, но с наслаждением, будешь выглядеть более начитанным, чем те, кто читает много, но без удовольствия.

28. Б.: Будь нахрапистым, знакомься с такими людьми, о которых после их смерти можно написать воспоминания.

29. А.: Некролог начинай с сострадания и не кончай оскорблением покойного.

30. А. – Б. – Дж.: По возможности удерживайся от следующих фраз – а) еще вчера он был среди нас; б) про-

фессия наша неблагодарна, уже на следующий день люди забывают написанное; в) слушали ли вы вчера такую-то программу радио?; г) как летят годы!; д) что сказал бы покойный об этом позоре?; е) такого не бывает и в Европе; ж) в таком-то году хлеб стоил столько-то; з) этот случай напоминает мне о... 31. Дж.: Слово «потом» существует только для новичков, не знающих дела; 32. Б.: Что является искусством, то не является статьей, а что является статьей – то не является искусством; 33. Дж.: Не расточай похвалы уму, который насилием над стихами погасил страсть к искусству (намек на поэтические занятия Б.); 34. Дж.: Пиши просто, легче поймут; 35. Дж.: Пиши сложно, легче поймут; 36. Б.: Будешь писать сложно, наживешь язву (тут все вместе дружно засмеялись, будто впервые сказали друг другу доброе слово); 37. Б.: Состарься пораньше. 38. Дж.: Состарься пораньше, чтобы написать хорошую, глубокую статью! (Снова с симпатией улыбнулись друг другу); 39. А.: Три сильные темы, конечно же, смерть, любовь и музыка. 40. А.: Но прежде надо самому решить, что такое любовь; 41. Б.: Ищи любовь (напомню читателям, что советы эти не сыпались один за другим, а перемежались молчанием, обдумыванием); 42. Дж.: Береги любовь, потому что ты писатель; 43. Б.: Любовь – это поиск; 44. Дж.: Скрывайся, пусть думают, что у тебя есть тайна; 45. А.: Дай

почувствовать, что у тебя есть тайна, и тебя будут любить женщины; 46. Дж.: Каждая женщина – зеркало (на этом совете была открыта новая бутылка, и мне предложили раки); 47. Б.: Помни нас хорошенько (конечно, буду помнить, эфенди, сказал я, и, как поймет мой внимательный читатель, многие статьи я написал, вспоминая их и их истории); 48. А.: Выйди на улицу, посмотри на лица – вот тебе и тема; 49. Дж.: Дай понять, что ты знаешь исторические тайны, но, к сожалению, ты не можешь о них писать (здесь Дж. рассказал историю; историю возлюбленного – я перескажу ее в другой раз, – который говорил своей любимой: «Я есть ты», и я ощутил наличие некоей тайны и любви, усадившей за один стол этих трех писателей, которые на протяжении полувека публично оскорбляли друг друга); 50. А.: Не забывай, что весь мир враждебен нам; 51. Б.: Этот народ очень любит своих пашей, детство и матерей, люби их и ты; 52. А.: Не пользуйся эпитафиями, они убивают тайну написанного; 53. Б.: А уж если суждено ей погибнуть, убей сам – и тайну, и лжепророка, ее сотворившего; 54. Дж.: Если будешь пользоваться эпитафиями, не бери их из западных книг, авторы и герои которых совсем не похожи на нас, и ни в коем случае не бери из книг, которых не читал, ибо именно так поступал Даджал (Так, согласно исламу, зовут Антихриста, который должен появиться-

ся перед концом света); 55. А.: Не забывай, что ты и дьявол, и ангел, и Даджал, и Он. Потому что читателю скучно, когда все хорошо или все плохо; 56. Б.: Когда читатель поймет, что принял Даджала за Него, когда в ужасе заметит, что обманут тобой и тот, которого он принимал за Спасителя, на самом деле Даджал, он непременно убьет тебя на темной улице!; 57. А.: Да, поэтому храни тайну, не выдавай тайну профессии; 58. Дж.: Не забывай, что твоя тайна – это любовь. Любовь – ключевое слово; 59. Б.: Нет, ключевое слово Он пишет на наших лицах. Смотри и слушай; 60. А.: Любовь, любовь, любовь, любовь!.. 61. Б.: Не бойся революции; вся тайна нашего трудного чтения и трудного писания спрятана в мистическом зеркале. Знаешь рассказ Мевляны «Состязание художников»? Он тоже взял этот рассказ у других, но сам... (тут я сказал: знаю, эфенди, знаю); 62. Дж.: Когда состаришься и тебе зададут вопрос, может ли человек быть самим собой, не забудь спросить себя самого, раскрыл ли ты эту тайну! (я не забыл); 63. Б.: Не забудь, что понимающих и снисходительных к старым автобусам и написанным наскоро книгам столько же, сколько непонимающих и непримиримых!

Тут откуда-то, кажется из дальнего угла ресторана, послышалась песня о несчастной любви, горе и тщетности жизни; они мигом забыли обо мне и, вспомнив,

что каждый из них – пожилая и усатая Шехерезада, стали печально и дружески рассказывать друг другу истории. Вот некоторые из них. Забавная и грустная история о публицисте, который всю жизнь страстно описывал прогулки Мухаммеда по седьмому небу, а потом случайно узнал, что нечто подобное уже сделал Данте: это было большое несчастье; рассказ о безумном падишахе-извращенце, который в детстве гонял с сестрой ворон на огороде; рассказ о писателе, потерявшем сон, когда его покинула жена, о читателе, который вообразил себя одновременно и Альбертиной, и Прустом; рассказ о публицисте, оказавшемся султаном Фатихрм Сулейманом Мехмедом (Мехмед II Фатих (Завоеватель) (1432-1481) – султан, который в 1453 г. захватил Константинополь и сделал его столицей Османской империи), и т. д. и т. п.

Кто-то преследует меня

То шел снег, то было темно.
Шейх Галип

Весь тот день Галип снова и снова будет вспоминать как единственную подробность, оставшуюся в памяти от жуткого кошмара, старое кресло, которое он увидел утром, когда, выйдя из дома своего друга Сайма, спускался в Каракей по старым улицам и ступенькам узких тротуаров Джихангира. Это было на высоком холме позади Топхане, где Джеляль когда-то искал следы передвижения по Стамбулу торговцев наркотиками. Кресло стояло перед закрытыми лавками обойщика, обивщика, картонщика, столяра; лак на ручках и ножках облупился, кожа сиденья походила на рваную рану, и из этой раны уныло торчали ржавые пружины, словно кишки из развороченного живота раненой кавалерийской лошади.

Войдя в контору, Галип сел за стол и тут же принялся читать новую статью Джеляля. На самом деле статья была не новой, она уже публиковалась много лет назад. Это могло означать, что Джеляль давно не давал в газету новых материалов, но могло быть и тайным знаком чего-то другого. И вопрос: «Трудно ли вам

быть самим собой?», который задает герой статьи, парикмахер, возможно, указывал на тайный смысл чего-то выходящего за рамки газетной публикации.

Галип помнил, как Джеляль что-то говорил ему на эту тему. «Большинство людей, – объяснял он, – не замечают сути вещей только из-за того, что они под носом, а видят и замечают второстепенные особенности, причем лишь потому, что они не бросаются сразу в глаза. Поэтому я не высказываю открыто основную идею, а прячу ее где-нибудь в середине статьи. Но не слишком глубоко, я словно играю в прятки с детьми, и читатели, найдя спрятанное, верят мне, как дети. Самое скверное – это когда газету выбрасывают, не поняв ни прямого смысла написанного, ни требующего немного терпения и ума другого, скрытого значения».

Что-то подтолкнуло Галипа, отложив газету, отправиться в редакцию газеты «Миллиет». Он знал, что Джеляль чаще ходит туда в конце недели, когда там не так многолюдно, и надеялся застать его одного в кабинете.

Джеляля он не нашел. Стол был убран, пепельница пуста, чашки на столе не было. Галип сел в кресло фиолетового цвета, в котором всегда сидел, когда приходил сюда, и стал ждать. Он был уверен, что через некоторое время услышит смех Джеляля, доносящийся из какого-нибудь кабинета.

К тому времени как он потерял эту уверенность, ему вспомнилось, как они в первый раз пришли сюда с Рюей и Джеляль отвел их в типографию («Вы тоже хотите стать журналисткой, маленькая ханым?» – спросил пожилой печатник, а Рюя по дороге домой задала этот же вопрос Галипу); Галип считал редакцию необыкновенной сказкой из «Тысячи и одной ночи», местом, наполненным фантазиями и бумагой, на которой сочинялись невероятные рассказы и истории.

В лотке на столе он увидел две папки с надписями «Пошедшие» и «Резервные». В папке «Пошедшие» лежали отпечатанные на машинке статьи, опубликованные за последние шесть дней, и для воскресного номера: она появится в завтрашней газете, видимо, ее набрали и положили обратно в папку.

Значит ли это, что Джеляль, никому ничего не сказав, отправился в какую-нибудь поездку или уехал в отпуск? Вообще-то он не любил уезжать из Стамбула.

Галип вошел в просторный кабинет одного из редакторов спросить, где Джеляль; за столом сидели, беседуя, двое пожилых мужчин.

Один из них был сердитый старик, публицист, известный под псевдонимом Нешати. – В прошлом он вел в газете острую полемику с Джелялем, теперь же писал брюзгливо-нравоучительные воспоминания

в рубрике менее популярной, чем рубрика Джеляля. У него было тоскливое, как у бульдога, выражение лица – точь-в-точь как на фотографии в его рубрике; взглянув на Галипа, он сказал:

– Джеляль-бей не появляется уже много дней! А вы ему кто?

Второй журналист тоже поинтересовался, зачем ему понадобился Джеляль. Лицо этого человека показалось Галипу знакомым, и он мучительно копался в памяти, пока не вспомнил, откуда ему знакомо это лицо: это был Шерлок Холмс в черных очках из журнала-приложения, который знал все и обо всех.

– Значит, вы родственник, – сказал этот второй журналист, – а я считал, что у Джеляль-бея, кроме покойной матери, никого близких не было.

– Если бы у него не было родственников, – съязвил старый публицист, – разве Джеляль-эфенди достиг бы того положения, которое занимает сегодня!

– Если вы хотите найти Джеляль-бея, – сказал журналист, – просмотрите его статьи, он в одном из мест, обозначенных в его статьях. Вы знаете, что его статьи полны знаков, особых маленьких весточек, которые отсылают вас куда-то. Понимаете, о чем я говорю?

В ответ Галип рассказал, что, когда он был ребенком, Джеляль показывал ему предложения, состав-

ленные из первых и последних слов абзацев или первых и последних слогов предложений... И еще много всяких игр с буквами. А одну игру слов он придумал специально, чтобы сердить их тетю.

– Это та, что осталась в девках? – спросил журналист.

– Да, ей не удалось выйти замуж.

– А правда, что Джеляль-бей был в ссоре с отцом?

Галип ответил, что это очень давняя история.

– Понимаешь, юноша, – сказал старый полемист, – все, о чем тебя сейчас спрашивали, мы узнали не от Джеляль-бея. У нас есть один коллега, увлекающийся расследованиями и хуруфизмом, он-то и откопал все эти сведения в статьях Джеляль-бея, в словах, за которыми Джеляль-бей прятал реальные факты. Это была кропотливая работа – все равно что иголкой колодец копать.

– Поскольку в этих играх есть смысл, – добавил журналист, – а может, потому, что в них была тайна или они были как-то связаны с тайной, Джеляль-бей превзошел своих коллег; тем не менее следовало бы напомнить ему истину: «Зазнавшегося журналиста хоронят на казенный счет».

– Его невозможно нигде найти, – рассуждал старый публицист, – потому что все оставленные им адреса оказываются вымышленными или он там уже не жи-

вет; Джеляль-бей испытывает странную, непонятную ненависть к близким и дальним родственникам, всем людям, на любовь которых не может ответить взаимностью.

Галип спросил, где он может найти Джеляля, если его нет в редакции.

– Джеляль-бей отдалился от всего человечества, спрятавшись в недоступном месте, потому что понял наконец, что никогда не избавится от ощущения невыносимого одиночества, которое преследовало его как злой рок со дня рождения из-за его неумения сблизиться с людьми; неизвестно, в какую конуру он забился сейчас, как отчаявшийся безнадежный больной.

Галип сказал, что телевизионная группа Би-би-си хотела бы вытащить Джеляля из его «конуры»...

– Джеляль-бея скоро уволят! – резко оборвал его Нешати. – За последние десять дней он не прислал ни одной новой статьи. А машинописные материалы, которые он оставил как запасные, это его статьи двадцатилетней давности, и все об этом знают!

– А вдруг он, да сохранит его Аллах, умер, – предположил старый публицист. – Ну как, нравится вам игра, в которую мы играем?

А журналист продолжал спрашивать:

– Правда, что он потерял память?

– И правда, и неправда, – ответил Галип.

– А то, что у него много адресов в городе, которые он держит в тайне?

– Тоже: и верно, и неверно.

– Может, он сейчас изнывает в одиночестве от страданий в одной из своих квартир,

– сказал публицист.

– Если бы это было так, он бы позвал кого-нибудь, кого считает близким, – высказал предположение журналист.

– Нет такого человека, нет у него близких, – настаивал публицист.

– Юноша, наверно, так не считает, – сказал журналист. – Кстати, вы не назвали своего имени.

Галип назвал.

– Скажите, Галип-бей, – продолжал журналист, – ведь у Джеляль-бея, который сейчас заперся бог знает в каком состоянии, есть люди, которых он считает близкими настолько, чтобы передать им свои литературные тайны, свое наследие? Ведь не настолько он одинок?

Галип подумал: «Нет, он не так одинок».

– Кого бы он позвал к себе, – спросил публицист. – Вас?

– Сестру, – уверенно сказал Галип, – у него есть сестра по отцу, на двадцать лет моложе его, он позвал

бы ее. – И задумался. Вспомнил кресло, из распоротого брюха которого выскочили ржавые пружины.

– Кажется, вы начали понимать логику нашей игры, – отметил старый публицист, – и, похоже, получаете от нее удовольствие. В таком случае я вам прямо скажу: все хуруфиты плохо кончают. Фазлаллах Астарабади (основатель шиитской общины хуруфитов), основатель ордена хуруфи, был убит, как собака, к ногам его привязали веревку и труп таскали по всем базарам. Знаете ли вы, что шестьсот лет назад он начинал с толкования снов, как Джеляль-бей? Только он занимался этим не в газете, а в пещере за городом.

– Можно ли понять человека, проникнуть в тайны его жизни с помощью подобных сравнений? – рассуждал журналист. – Я, например, уже больше тридцати лет пытаюсь разгадать несуществующие тайны наших бедных артистов, которых мы, подражая американцам, называем звездами; в конце концов я понял: неправда, что люди созданы парами, – никто ни на кого не похож. Каждая бедная девушка бедна по-своему. Каждая звезда на небе несравненна и одинока.

– Кроме голливудских оригиналов, – не согласился старый публицист. – Я говорил вам, кому подражал Джеляль-бей. Кроме тех, кого мы уже называли, он постоянно заимствовал что-то у Данте, Достоевского, Мевляны, Шейха Галипа.

– Каждая жизнь неповторима! – возразил журналист. – Каждая история является историей потому, что не похожа на другую. Любой писатель несчастен и одинок.

Я так не считаю! – не уступал старый публицист. – Возьмем статью Джеляля «Когда отступили воды Босфора», которая так всем понравилась. Разве светопреставление не заимствовано из книг, написанных тысячу лет назад, где рассказывалось о конце света перед пришествием Махди (так в исламе называют Мессию); разве не заимствовано оно из Корана и Ибн Хальдуна? Да еще он добавил к этому рассказ об обыкновенном бандите. Тут нет ничего значительного. И причина взволнованного восприятия статьи небольшой группой читателей и сотней истеричных женщин, звонивших нам в тот день, конечно же, не в чепухе, которая описана в статье. В тексте есть «послания», которые не можем понять ни я, ни вы, а могут понять мюриды (Мюрид – ученик, последователь суфизма – возникшего в X – XII вв. в исламе мистического течения о приближении к Богу и слиянии с ним через любовь и экстатические «озарения»), знающие шифры. Эти заполонившие всю страну мюриды, половина из которых проститутки, а половина – педерасты, воспринимают послания как приказ к действию и с утра до вечера звонят в газету, чтобы их шейха, Джеляля,

не выгнали за то, что он пишет такой вздор. Несколько человек постоянно караулят его у редакции. Откуда нам знать, Галип-бей, не из их ли вы числа?

– Галип-бей нам понравился, – сказал журналист, – мы увидели в нем что-то от нашей молодости. Мы прониклись к нему симпатией настолько, что открыли ему кое-какие свои тайны... Что такое, молодой человек уходит?..

Выйдя на улицу, Галип внимательно посмотрел по сторонам. На противоположном тротуаре, где когда-то юноши из лица имени имама Хатиба сожгли газету из-за статьи Джеляля, в которой осмеивалась религия, тоскливо стояли продавец апельсинов и какой-то лысый мужчина. Не было никого, кто мог бы ждать Джеляля. Галип подошел к торговцу, купил апельсин и, очистив, начал есть. И вдруг почувствовал, что кто-то следит за ним. Он шел в свою контору через площадь Джалалоглу, размышляя над тем, почему именно в этот момент ощутил, что за ним следят; медленно передвигаясь по спуску и заглядывая в книжные витрины, он никак не мог понять, почему это чувство столь реально. Словно над затылком у него находился какой-то «глаз», который просто едва различимо обозначал свое присутствие, и больше ничего.

Когда, замедлив шаг у одной из витрин, он встре-

тился взглядом с другой парой глаз, он обрадовался так, будто встретил близкого человека. Это был магазин издательства, выпускающего детективные романы, которые запоем читала Рюйя. Самоуверенная сова, эмблема издательства, которую он так часто видел на обложках книг, снисходительно смотрела на проходящую мимо лавки субботнюю толпу и на Галипа. Галип вошел в магазин и купил три старых романа, которые, как он считал, Рюйя не читала.

Выйдя на улицу, Галип осмотрелся, но ничто не привлекало внимания: женщина, повязанная платком, с ребенком в на вырост пальто, разглядывавшая бутерброды в витрине; две школьницы в одинаковых зеленых гольфах; старик в коричневом пальто, ожидающий удобного момента, чтобы перейти улицу. Но как только он двинулся дальше к своей конторе, он снова почувствовал затылком следящий за ним «глаз».

Увидев слепого безногого нищего у двери рядом со входом в его контору, Галип подумал, что кошмар, в котором он оказался, связан в равной мере как с исчезновением Рюйи, так и с бессонницей. Войдя в офис, он сразу подошел к окну и, распахнув его, стал смотреть вниз, наблюдая за движением на улице. Когда он сел за стол, рука, против обыкновения, потянулась не к телефону, а к пачке бумаги. Достав чистый лист, он, не раздумывая, написал:

Рюйя может быть: у бывшего мужа; у родственников; у подруги Бану; в компании занимающихся политикой; в компании интересующихся политикой; в литературной компании; просто в знакомой компании; в доме у кого-нибудь в Нишанташи; в чьем-нибудь доме в любом другом районе. Он отложил ручку, после недолгих размышлений снова взял ее и вычеркнул все, кроме «у бывшего мужа». После этого он стал составлять второй список: Рюйя с Джелялем могут быть: в одной из квартир Джеляля; в гостиничном номере; в кино. Он словно увидел, что они находятся где-то вместе. Рюйя и Джеляль. Рюйя и Джеляль?

Галип позвонил домой, долго держал трубку около уха – напрасно. Тогда он набрал номер тети Хале.

Тетя сообщила, что беспокоилась о здоровье Рюйи и была у них дома, так как не могла дозвониться – никто не брал трубку, но и дверь никто не открыл; она вернулась ни с чем. Чтобы тетя не начала задавать вопросы, Галип на одном дыхании выложил ей: они не могли позвонить, потому что сломался телефон; болезнь Рюйи прошла за ночь, она совершенно здорова, довольна жизнью, а в настоящий момент сидит в своем фиолетовом пальто в такси «шевроле-56» и ждет Галипа: они едут в Измир навестить старого друга, который тяжело болен; пароход скоро отчаливает, Галип звонит из бакалейной лавки по пути, спасибо

бакалейщику, разрешил позвонить: «До свиданья, тетя, до встречи!» Тетя Хале все же успела спросить, хорошо ли они закрыли дверь и надела ли Рюйя зеленый шерстяной свитер.

Галип размышлял о том, что происходит с человеком, когда он долго разглядывает карту города, в котором никогда не был. Позвонил Саим: после ухода Галипа он продолжил поиски в своем архиве и нашел кое-какие данные, которые могут быть полезными; виновный в смерти старушки Мехмет Йылмаз, возможно, до сих пор жив, но живет не под именем Ахмета Качара или Хальдуна Кара, а бродит по городу, как призрак, под именем Муаммера Эргенера, которое не похоже на вымышленное. Этим именем подписаны две статьи, жестко критикующие Джеляля. Опубликованы они в старом номере маленького учебного журнала «Эмеин саати» («Час труда»), и в этом же номере есть статья за подписью: Салих Гельбаши; причем налицо тот же стиль и те же орфографические ошибки. Установив, что это имя и фамилия имеют одинаковые согласные с именем и фамилией бывшего мужа Рюйи и даже рифмуются с ними, Саим выписал для Галипа адрес редакции, находящейся за городом: Гюнтепе, ул. Рефет-бея, 13, Синанпаша, Бакыркей. Найдя квартал Гюнтепе на карте города, Галип поразился: бесплодный холм, на котором двенадцать лет назад

стояла одинокая маленькая лачуга, где после замужества поселились Рюйя с мужем, чтобы заниматься просвещением рабочих, превратился в густонаселенный квартал. Судя по карте, квартал был разбит на участки улицами, носившими имена героев Освободительной войны. На окраине была обозначена зелень парка, мечеть и помеченная маленьким квадратиком площадь с памятником Ататюрку посередине. Об этом районе Галип подумал бы в последнюю очередь.

Позвонив в редакцию и узнав, что Джеляль-бей еще не появился, Галип связался с Искендером. Он сказал, что нашел Джеляля, что Джеляль в принципе не против встретиться с английскими телевизионщиками, но в настоящее время очень занят. Искендер сообщил, что англичане пробудут в Стамбуле еще минимум шесть дней. Им очень хвалили Джеляля, и он уверен, что они подождут свидания с ним; если Галип хочет, он может сам позвонить им в гостиницу «Пера палас» (Одна из первых (1895 г.) гостиниц в центре Стамбула, в районе Бейоглу).

«Глаз»

В тот период своей жизни он каждый день писал статью объемом не менее пяти страниц.

Абдуррахман Шереф

Случай, о котором я расскажу, произошел со мной зимней ночью. Это было нелегкое для меня время: первые и трудные годы журналистского труда остались позади, но усилия, потраченные на то, чтобы добиться минимального признания, давно иссушили волнение, с которым я осваивал свою профессию. Холодными зимними ночами я говорил себе: «Все-таки я сумел удержаться!» Но вместе с тем я понимал, насколько опустошен. Как раз в ту зиму у меня началась бессонница, которая стала мучением всей моей жизни, и я иногда оставался до поздней ночи в редакции вместе с дежурным по номеру и готовил некоторые материалы, которые не смог бы написать при дневном шуме и суете. Вечер как нельзя лучше подходил для подготовки материалов в рубрику «Хочешь — верь, хочешь — не верь», довольно модную в то время и в европейских газетах и журналах. Я раскрывал какую-нибудь европейскую газету с уже сделанными вырезками и внимательно рассматривал иллюстрации

в рубрике «Хочешь – верь, хочешь – не верь» (изучать какой-либо иностранный язык я считал ненужным, более того, мешающим полету моей фантазии); рассмотрев рисунки, я тут же брался за ручку и с воодушевлением писал то, на что они меня вдохновляли.

В ту зимнюю ночь во французской газете («Иллюстрасьон») я увидел монстра со странной мордой (один глаз внизу, другой наверху); посмотрев некоторое время на это изображение, я одним махом набросал материал об одноглазых чудовищах: я вкратце изложил прошлое этого существа, которое пугало юных дев в «Деде Коркуте» («Сказки моего деда Коркута» – название тюркского эпоса), видоизменяясь, являлось под именем Циклопа в поэме Гомера; было самим Даджалом в «Истории пророков» Бухари (Бухари (810 – 869) – ученый и знаток хадисов (преданий о поступках и изречениях Мухаммеда) из Бухары.); входило в гаремы визирей в сказках «Тысячи и одной ночи»; плясало в пурпурном одеянии перед встречей в Дантовом раю с прекрасной Беатриче, которая казалась мне такой знакомой; преграждало путь караванам в «Месневи» Мевляны Джалалиддина; я написал, на что похож этот странный и единственный глаз, сидящий прямо посередине лба, как темный колодец, почему он заставляет нас вздрагивать, почему надо бояться и из-

бегать его; после всего этого я добавил к своему исследованию два рассказика, которые как-то сами оказались на кончике пера, сочинились в пылу душевного подъема: некий человек, живущий в одном из бедных кварталов на берегу Золотого Рога, по ночам входит в грязную, покрытую пятнами мазута воду, идет неизвестно куда и встречается с чудовищем, а некоторые говорят, что он сам и есть одноглазое чудовище, и в полночь он направляется в дорогие публичные дома Пера, и девушки пугаются и падают в обморок, хотя ведет себя чудовище вежливо и его даже называют лордом.

Оставив материал художнику, обожавшему подобные темы (я и записочку написал: пусть чудовище будет с усами и в сапогах), я вышел из редакции после полуночи и, поскольку мне не хотелось сразу возвращаться в свою пустую и холодную квартиру, решил побродить по старым улицам Стамбула.

Я шагал по кривым и пересекающимся окраинным улицам, которые постепенно сужались и становились все темнее. Я шел, сопровождаемый звуком собственных шагов, под слепыми окнами темных домов, эркеры которых почти вплотную подходили друг к другу. На эти заброшенные богом, забытые улицы не решались ступать не только стаи собак, сонные сторожа и наркоманы, но даже призраки.

Почувствовав, что за мной откуда-то наблюдает «глаз», я поначалу не придавал этому значения, решил, что это ощущение возникло под влиянием только что написанной мною статьи: я считал, что никакого глаза нет ни в боковых окнах нависающих над улицей покосившихся эркеров, ни во тьме заброшенного пустыря. Наблюдающий «глаз» был моей неясной фантазией, и мне не хотелось обращать на него внимание. Вокруг была абсолютная тишина, лишь доносились свистки сторожей да лай собачьих стай из отдаленных кварталов; однако ощущение, что за мной наблюдают, постепенно росло и стало настолько сильным, что я понял: избавиться от этого упорного преследования, делая вид, что его нет, невозможно.

«Глаз», все видящий и находящий меня повсюду, откровенно наблюдал за мной! Здесь не было никакой связи с героями выдуманных мною историй; он не был пугающим, безобразным или смешным; не был чужим и холодным; совсем наоборот, это было что-то знакомое: «глаз» знал меня, а я – его. Мы давно подзревали о существовании друг друга, но для того, чтобы мы могли так явно друг друга заметить, понадобилось ощущение, испытанное мною в ту ночь на той улице, и острота видения обретенного.

Название этой улицы на холме над Золотым Рогом ничего не скажет читателю, не знающему хоро-

шо Стамбул. Сейчас, через тридцать лет после проведенного мной метафизического опыта, большинство подобных мест сохранилось в прежнем виде: представьте себе мощеную улицу с мрачными деревянными домами, тенями эркеров, тусклыми фонарями, выхватывающими из тьмы кривые ветки деревьев. Мостовые грязные и узкие. Стена мечети этого маленького квартала пропадает во тьме. И в черной точке, куда тянутся улица, стена – перспектива, – меня ждал этот нелепый (как еще я могу его назвать?) «глаз». Ясно, что он не хотел мне зла, не собирался меня испугать, задушить, зарезать, убить; потом уже я додумался до того, что он ждал меня, чтобы я побыстрее вошел в этот «метафизический опыт», скорее напоминающий сон, он хотел помочь мне.

Не было слышно ни звука. Я довольно быстро догадался, что весь этот эксперимент каким-то образом связан с тем, куда завела меня журналистская профессия, с моей внутренней пустотой. Самые реальные кошмары человек видит, когда устает! Но это не было кошмаром, это было ощущение вполне определенное, отчетливое и почти математическое. «Я знаю, что опустошен». Так я подумал. А потом прислонился к стене мечети: «Он знает, что я опустошен!» Он знал, о чем я думал, что делал до сих пор, но все это было не важно, потому что «глаз» был знаком чего-то друго-

го, причем совершенно определенного. Я создал его, а он – меня! Я думал, что эта мысль промелькнет в голове и исчезнет, как ненужное слово порой приходит и просится из-под пера, но она прочно поселилась в моем мозгу. Таким образом, через дверь, открытую этой мыслью, я вошел в новый мир – совсем как тот английский кролик, упавший в пустоту через норку под изгородью.

Сначала я создал этот «глаз». Разумеется, чтобы он видел меня и наблюдал за мной. Я не хотел выпадать из его поля зрения. Я сформировал себя под этим взглядом, и он был мне приятен: Я чувствовал, что существую, так как каждый миг нахожусь под наблюдением. Словно, если этот «глаз» не будет меня видеть, я перестану существовать. Это было настолько очевидно, что я, забыв о том, что сам создал его, испытывал благодарность к «глазу» зато, что он констатировал мое существование. Мне хотелось по-виноваться его приказам! Словно тогда я начал бы более приятную жизнь; сделать это было трудно, но, с другой стороны, это была не трудность, сопряженная со страданием, а просто форма жизни, нечто обыденное, что надо было естественным образом принять. Так что воображаемый мир, в который я окунулся, прислонившись к стене мечети, не был похож на кошмар, это было своеобразное счастье, сотканное

из воспоминаний и почему-то знакомых картин несуществующих художников, о странностях которых я писал в разделе «Хочешь – верь, хочешь – не верь».

В полночь, стоя у стены мечети, я увидел себя в саду этого счастья, я будто наблюдал свои материализовавшиеся мысли.

Я сразу понял, что тот, кого я увидел мысленным взором, не есть мое подобие: это я сам. И тогда я почувствовал, что ощущаемый мною взгляд «глаза» – это мой взгляд. То есть я стал тем, что еще недавно было «глазом», и наблюдал себя со стороны. Это не было ни странно, ни чуждо и уж совсем не страшно. Я вспомнил, что наблюдать за собой со стороны у меня вошло в привычку. Многие годы, глядя на себя со стороны, я думал: «У меня все в порядке», или «Нет, недостаточно похож», или «Похож, но не в той степени, как хотелось бы». А иногда, опять же взглянув на себя со стороны, говорил: «Я похож, но надо еще постараться»; были и счастливые моменты, когда я был доволен: «Наконец я добился сходства, какого хотел! Да, я похож, я стал Им!»

Кто Он?

Мои внимательные читатели, разумеется, поняли, что я заменил слово, но все же поясню: «Он» – это не что иное, как «глаз». Глаз – это человек, которым я хо-

тел бы быть. Сначала я создал не «глаз», а Его, человека, которым хотел быть. А Он, тот, кем я хотел быть, устремил на меня свой безжалостный уничтожающий взгляд. «Глаз» видел все, что я делаю, осуждал меня, ограничивал мою свободу, он повис над моей головой и остался там, как проклятое, постоянно светившее мне солнце. Только не подумайте, что я жалуясь. Я был вполне доволен блестящей перспективой, которую предлагал мне «глаз».

Наблюдая за собой в геометрическом, абсолютно чистом пространстве (это было приятной стороной дела), я сразу понял, что создал Его сам, но каким образом я это сделал, я мог лишь смутно догадываться. Некоторые моменты указывали на то, что я создал Его из собственного жизненного материала и воспоминаний. В Нем, которому я хотел подражать, присутствовали черты любимых литературных героев моего детства, Его движения порой напоминали позы писателей-философов, фотографии которых я видел в зарубежных иллюстрированных журналах; эти величавые люди позировали перед своими священными жилищами – там, в библиотеках, за рабочими столами они развивали «глубокие и многозначительные» мысли. Конечно, я хотел бы быть похожим на них, но до какой степени? В том, из каких именно подробностей своего прошлого я сотворил Его в этой метафи-

зической географии, были некоторые противоречия: трудолюбивый и богатый сосед – объект восхищения моей матери; паша, проникшийся идеями Запада и посвятивший себя спасению страны; учитель, что в наказание за дурные поступки не разговаривал с нами; мой школьный товарищ, который говорил родителям «вы» и был настолько богат, что каждый день мог менять носки; умные, удачливые и находчивые герои зарубежных фильмов (тех, что показывали в центре города), их манера держать бокалы, их спокойствие, раскованность и – в случае необходимости – решительность в общении с женщинами, красивыми женщинами; знаменитые писатели, философы, ученые, первооткрыватели и изобретатели, истории жизни которых я читал в энциклопедиях и предисловиях к книгам; некоторые военные; герои, спасшие город от оползня...

Я создал Его из воспоминаний и людей, ставших воспоминаниями. Его взгляд, парящий над моей головой, превратился в мой взгляд, и было во всем этом что-то диковинное, нечто от коллажа, где мне был виден каждый человек отдельно. В этом взгляде я видел сейчас себя и всю свою жизнь. Я доволен, что этот «глаз» наблюдает за мной: благодаря Ему я слежу за собой, живу с верой, что, подражая Ему и тем самым стремясь к Нему приблизиться, я стану таким, как Он,

стану Им. Я живу не вместе с надеждой, а ради надежды стать другим, стать Им. Нет, пусть не думают читатели, что этот «метафизический опыт» был неким пробуждением, поучительным событием, был проделан ради, желая увидеть истину. В мире чудес, в который я вошел там, у стены мечети, все отличалось безупречной геометрией. Как-то во сне я видел такую же улицу, такую же перспективу, и сияющая полная луна, подвешенная на небе, окутанном такой же синевой ночи, постепенно превратилась в сияющий циферблат часов. Все вокруг меня было светлым, прозрачным и гармоничным, как в давнем сне. Человеку приятно смотреть на радостные картины.

Обо всем этом я думал, глядя на себя со стороны. Потом Я, наблюдающий себя со стороны, начал двигаться вдоль стены мечети, а когда она кончилась — вдоль однообразных деревянных домов с эркерами, пустырей, фонтанов, лавок с опущенными ставнями, мимо кладбища к своему дому, к своей постели.

Мы бываем удивлены, когда, шагая по людному проспекту и разглядывая лица и фигуры людей, вдруг в витрине лавки или в глубине, в широком зеркале за строем манекенов видим себя; подобное удивление испытывал я, глядя на себя со стороны. Я словно пребывал во сне, я знал, что нет ничего удивительного в том, что человек, которого я наблюдаю со стороны,

есть я сам. Я чувствовал, что этот человек мне близок, и питал к нему какую-то невероятную теплоту, искреннюю расположенность и любовь. Я понимал, насколько Он раним, несчастен, грустен и в каком безвыходном положении Он находится; в то же время я знал, что этот человек не такой, каким Он кажется, и мне хотелось, как отцу, даже как Аллаху, защитить Его, взять под свое крыло этого трогательного ребенка, это многострадальное доброе существо. Он долго бродил по окраинам (о чем Он думал, почему был печален, отчего так устал и обессилен?) и вышел на центральный проспект. Он шел, бросая рассеянные взгляды на неосвещенные витрины бакалейных и кондитерских лавок. Руки в карманах, голова чуть наклонена вперед. Он шел из района Шехзадебаша по направлению к Ункапаны и не обращал внимания на проносящиеся мимо редкие машины и свободные такси. Может, у Него и денег не было.

Слава Всевышнему! Без всяких приключений Он добрался до своего дома (дом назывался Шехрикальп) в Нишанташи! Я полагал, что, войдя в свою квартиру под самой крышей, Он ляжет спать, забыв о тех проблемах, что мне так хотелось понять и разрешить. Но нет, усевшись в кресло, Он некоторое время курил, просматривая газету. Потом принялся ходить по комнате: старый стол, выцветшие занавески, бума-

ги, книги. Сел за стол, поерзал на скрипящем стуле и, наклонившись, взял ручку, чтобы написать что-то на чистом листе бумаги.

Я был совсем рядом с Ним, здесь, подле этого заваленного бумагами стола. Я видел Его с очень близкого расстояния: Он был старателен, как ребенок, и спокоен, как человек, смотрящий любимый фильм, но взгляд Его был обращен внутрь себя. Я следил за Ним с гордостью отца, наблюдающего, как любимый сын пишет Ему первое в своей жизни письмо. К концу предложений кончики Его губ стягивались, а глаза, просматривающие написанное, подрагивая, быстро передвигались по бумаге. Увидев, что Он заканчивает страницу, я прочитал написанное и ужаснулся.

Я надеялся прочитать слова, идущие из Его души, которую мне так важно было понять, а Он всего лишь повторил то, что вы сейчас здесь прочитали. Это были не Его, а мои мысли, и слова были не Его, а мои, те самые, что вы так быстро (помедленнее, пожалуйста) прочитали. Мне хотелось помешать Ему, попросить, чтобы Он написал СВОИ слова, но я, как это бывает во сне, ничего не мог поделать, мог только наблюдать за Ним: фраза следовала за фразой, и каждая причиняла мне боль.

Перед новым абзацем Он на мгновение остановился. Посмотрел в мою сторону, мы будто встретились

взглядом. В старых книгах и журналах описывалось, как писатель мило беседует с музой, своей вдохновительницей; художники шутливо изображали на полях, как прелестная маленькая муза и рассеянный писатель улыбаются друг другу. Именно так улыбнулись друг другу мы. После этого, казалось бы, понимающего взгляда я (с надеждой, конечно) ждал, что все изменится. Он поймет наконец истину, откроет мне мир своей души, что так меня интересует, и это будет доказательством того, что я могу стать Им, и я с удовольствием прочту написанное.

Но ничего такого не случилось. Он еще раз улыбнулся мне счастливой улыбкой, будто все, что должно было проясниться, прояснилось, будто трудная шахматная задача решена, на миг замер в волнении и дописал последние слова, мои слова, которые ничего не проясняли в моем мире.

Память мы потеряли в кит

Кино портит не только зрение, но и притупляет ум ребенка.

Улунай

Галип проснулся и увидел, что опять идет снег. Может быть, он сквозь сон почувствовал, как снег своим безмолвием перекрывает городской шум; когда Галип подошел к окну, у него возникло то же ощущение, которое он только что испытал во сне, хотя что ему снилось, вспомнить не мог. Был уже вечер, давно стемнело. Галип умылся водой, которая так и не нагрелась в колонке, и оделся. Взял лист бумаги, ручку, сел за стол, немного посидел над своим списком. Потом побрился, надел серый твидовый пиджак – Рюйя считала, что он ему идет, и точно такой же был у Джеляля, – грубое толстое пальто и вышел на улицу.

Дойдя до площади Нишанташи, обрадовался, что проезд по центральному проспекту открыт. В газетном киоске у бакалейной лавки увидел свежий номер «Миллиет» и купил его. Зашел в ресторан на противоположной стороне улицы, сел в угол, где его не было видно прохожим, и заказал томатный суп и котлету. В ожидании еды положил на стол газету и внимательно прочитал воскресную – опять старую – статью Джеля-

ля. За кофе сделал в статье некоторые пометки. Выйдя из ресторана, поймал такси и поехал в Бақыркей.

В Бақыркее он отпустил такси и отправился пешком искать квартал Гюнтепе, который, по его представлению, находился недалеко от центрального проспекта. Дорога шла среди перестроенных из лачуг двухэтажных домов с задернутыми на окнах занавесками и темных лавок.

Галип нашел нужный дом. На втором этаже, куда вела отдельная лестница, через занавески просачивался свет телеэкрана. Когда он стал подниматься по ступенькам, во дворе смежного дома громко залаяла собака. «Я не буду слишком долго разговаривать с Рюйей!» – мысленно говорил Галип то ли себе, то ли ее бывшему мужу. Он попросит ее объяснить причину ухода – из «прощального письма» он ничего не понял – и потребует, чтобы она как можно скорее забрала все свои вещи, все: одежду, книги, сигареты, чулки, очешники, шпильки, пряжки, недоеденные шоколадки, игрушки, оставшиеся с детства, даже пустые коробки из-под лекарств. «Любое напоминание о тебе невыносимо для меня». Конечно, он не сможет всего этого сказать при этом типе, так что главное – сразу уговорить Рюйю пойти куда-нибудь, где можно посидеть и поговорить «как разумные люди». И уж если они сразу заведут разговор о «разумности», Рюйю

можно будет убеждать. Только вот где в этом квартале найти подходящее место, если здесь всего одна кофейня и в нее ходят одни мужчины? Он давно уже нажал на звонок.

Сначала он услышал голос ребенка («Мама, звонят!»), а потом голос женщины, не имеющий ничего общего с голосом его жены, которую он любил двадцать пять, а знал тридцать лет; Галип понял, как он сглупил, предположив, что найдет здесь Рюю. Он подумал было удрать, но дверь открылась. Галип сразу узнал бывшего мужа Рюи – это был человек средних лет, среднего роста, и выглядел он так, будто осуществил свою мечту и вполне доволен жизнью.

Глаза бывшего мужа привыкли к темноте, и он узнал Галипа. Из комнаты выглянули любопытные глаза сначала жены, затем одного, потом второго ребенка: «Кто там, папа?» Папа, удивленный, не знал, что ответить. Галип решил, не заходя в дом, тут же уйти, и выпалил одним духом цель своего прихода. Он просит извинения за столь поздний визит, но ему крайне необходимо навести срочные справки об одном человеке, узнать хотя бы, под какими именами он скрывается. Он взялся защищать студента университета, обвиняемого в убийстве, которого не совершал. Настоящий же убийца разгуливает по городу под вымышленным именем, и когда-нибудь...

Галипа пригласили войти, выдали домашние тапочки, которые оказались ему малы, и сунули в руки чашку кофе. Галипу вовсе не хотелось вступать в долгие разговоры, поэтому он быстро назвал первое попавшееся имя: оно окажется незнакомым бывшему мужу, и можно будет быстро уйти. Но хозяин дома начал говорить. Слушая его, Галип почувствовал, что рассказ наваливается на него, как сон, и понял, что покинуть этот дом будет нелегко. Потом он вспомнит, что утешал себя тем, что из рассказа выплывает что-нибудь, связанное с Рюей, но это было утешение больного, успокаивающего себя тем, что его усыпят перед опасной операцией. Ему казалось, что выйти отсюда не удастся никогда, но все же через три часа он сумел подойти к входной двери. За это время бывший муж, речь которого текла, как поток, не встречающий никаких препятствий, успел рассказать следующее.

Мы думали, что знаем многое, но не знали ничего.

Мы, например, знали, что большинство евреев Европы и Америки были выходцами из еврейско-хазарского государства, которое тысячу лет назад простиралось на территории между Кавказом и Волгой. Мы знали, что хазары – это турки, принявшие иудаизм. Но мы не знали, что насколько иудеи являются турками, настолько и турки являются иудеями. Очень интересно проследить историю развития двух братских

племен, которые на протяжении двадцати веков кочевали, постоянно соприкасаясь, словно кружились в ритме танца под какую-то неслышимую музыку, как сиамские близнецы, обреченные жить друг с другом, но так и не объединились.

На столе появилась карта, Галип преодолел оцепенение разомлевшего от тепла тела и с изумлением стал рассматривать стрелки, нарисованные на карте зеленой шариковой ручкой. Бывший муж Рюи развивал свою идею. Он говорил, что история состоит из чередующихся равнозначных периодов и это – аксиома. А потому сейчас мы должны готовиться к полосе бед, и она будет длиться ровно столько, сколько длилась счастливая жизнь.

Будет создано новое государство на Проливах. На сей раз в новой стране не поселится много пришельцев, как это бывало неоднократно на протяжении тысячелетий, но пришельцы превратят нынешних обитателей в «новых людей», в прислугу. Не обязательно даже читать Ибн Хальдуна, чтобы предположить, что ради этого они лишат нас памяти, превратив в безродных тварей вне времени, без прошлого и без истории. Чтобы уничтожить нашу память, они планировали сначала поить турецких детей в миссионерских школах Стамбула светло-лиловой жидкостью (слышите, какой цвет, сказала детям мать, которая вни-

мательно слушала рассказ мужа). Но потом «гуманное» крыло Запада признало этот радикальный метод слишком опасным из-за вредности химических веществ, и тогда был применен более мягкий способ – кино и музыка, – рассчитанный на более долгий срок.

Несомненно, этот способ – демонстрация лиц красивых женщин, словно сошедших с икон, прекрасная музыка, пейзажи, напоминающие о божественном, яркие, броские, сверкающие бутылки с напитками, оружие, самолеты и невиданная одежда – дает гораздо более эффективные результаты, чем методы, которые миссионеры опробовали в Латинской Америке и Африке. (Галипу было бы интересно узнать, кто еще слушал эти заготовленные речи: соседи по кварталу? Единомышленники? Пассажиры маршруток, не имеющие удостоверения личности? Теща?) Когда в Стамбуле, в районах Шехзадебаши и Бейоглу, открылись первые кинотеатры, сотни людей были буквально ослеплены. Зрители испытывали ужас от того, что с ними проделывают в залах кинотеатров, громко кричали в отчаянии, на помощь приходили полицейские и врачи-психиатры. Тем, у кого сегодня бывает такая непосредственная реакция в кинотеатрах, надевают на ослепленные глаза дешевые очки. И все же находятся такие, что не желают успокаиваться. Он понял это, когда увидел в двух кварталах отсюда подростка

шестнадцать лет, который ночью в упор расстреливал киноафишу. Другой, когда его схватили у входа в кинотеатр с канистрой бензина, вырывался и требовал, чтобы ему вернули глаза, да, глаза, он хотел видеть жизнь по-старому. Газеты писали, что сына пастуха из Малатьи за неделю так приучили к кино, что он забыл дорогу домой, забыл вообще все, что знал, напрочь потерял память, читал ли Галип об этом? Слишком много времени понадобилось бы, чтобы рассказать обо всех, кто стал нищим, так как не мог вернуться к нормальной работе из-за желания ходить по улицам, увиденным на белом полотне, носить такую же одежду, обладать такими же женщинами. Люди воображали себя на месте живущих на экране, их было так много, что сосчитать было невозможно, поэтому их не называли ни «больными», ни «грешными», наши новые господа даже нанимали их на работу. Мы все ослепли, все, все.

Теперь хозяин дома, бывший муж Рюйи, спрашивал: неужели и в самом деле ни один из государственных деятелей не видел прямой связи между упадком Стамбула и успехами кино? Он спрашивал: случайность ли то, что в нашей стране публичные дома и кинотеатры открывались на одних и тех же улицах? И еще спрашивал: почему кинотеатры темные, такие темные, всегда темные?

Здесь, в этом доме, десять лет назад они с Рюй-ей-ханым под вымышленными именами, с фальшивыми паспортами с энтузиазмом работали ради идеи, в которую верили. Они получали воззвания из страны, где никогда не бывали, написанные на чужом языке той страны; они делали перевод на «наш» язык, стараясь, чтобы он был максимально точным; они получали политические задания от людей, которых никогда не видели, излагали их на «новом» языке, печатали на машинке и размножали, чтобы распространить среди людей, которых они также никогда не видели. На самом деле они просто хотели стать другими. Как радовались они, когда узнавали, что какой-нибудь новый знакомый принял их вымышленные имена за настоящие! Иногда они, забыв про усталость после целого дня работы на фабрике батареек, про статьи, которые надо было писать, про готовые воззвания, которые надо было связывать в пачки, подолгу рассматривали свои новые паспорта. Им так нравилось говорить с юношеским волнением «Я изменился!», так нравилось говорить «Я стал совсем другим!», что они специально подводили разговоры к тому, чтобы дать возможность друг другу произносить эти слова. Благодаря новым паспортам они увидели в мире смысл, которого не могли видеть раньше; мир становился совершенно новой энциклопедией, и ее можно было чи-

тать с начала и до конца; по мере чтения изменялась энциклопедия, изменялись и они; прочитав ее с начала до конца, они начинали читать мир-энциклопедию снова, с первого тома, и были просто без ума от радости, что у них есть новые паспорта. (В тот момент, когда хозяин дома явно потерялся в потоке своих слов – как в энциклопедии, о которой он говорил, – Галип обратил внимание на выпуски «Хранилища знаний», издаваемые какой-то газетой, лежавшие на одной из буфетных полок.) Теперь он понимает, что они сами создали этот порочный круг в поисках утешения: невозможно стать другим, совсем другим, а потом вернуться к счастью своего первоначального состояния; считать так – беспочвенный оптимизм. На середине своего пути они поняли, что сбились с дороги среди знаков, которым уже не в состоянии были придавать какой-либо смысл, писем, воззваний, фотографий, лиц, пистолетов. Тогда их дом был единственным на этом пустом холме. И как-то вечером Рюйя запихала свои вещи в небольшую сумку и вернулась в семью, в старый свой дом: он казался ей более надежным.

Увлечшийся монологом хозяин дома чем-то напомнил Галипу Ловкого Зайца из старого детского журнала; он вскакивал с кресла, ходил взад-вперед, отчего у Галипа сонно кружилась голова, и продолжал увлеченно: «их» игры надо было прекратить, значит,

мы должны были вернуться и начать все сначала. Галип-бей видит, что этот дом – типичный дом «мещанина», или «представителя среднего класса», или «нашего простого человека». Старые кресла под чехлами из цветного ситца, занавески из синтетической ткани, эмалированные тарелки с орнаментом из бабочек, уродливый буфет и хранящийся в нем ликерный сервиз с сахарницей, выставляемый на стол только для гостей по праздникам, выцветший старый ковер. Все это хозяин знает и видит. Знает он и то, что его нынешняя жена – не такая блестящая и образованная женщина, как Рюйя; она, как и его мать, простая, скромная, она – дочь его дяди (женщина улыбнулась сначала Галипу: вот какая у нее тайна, а потом мужу). И дети у них хорошие. И если он будет жив-здоров и ничего не изменится, он проживет такую же жизнь, как его отец. Он сознательно выбрал эту жизнь, намеренно живет именно так, срывая заговор двухтысячелетней давности, категорически отвергает идею «быть другим», желает быть только самим собой.

И все, что Галипу могло показаться случайным в этой комнате, разложено, расставлено, развешано исключительно с этой целью. Стенные часы повешены специально, потому что в таком доме должны быть такие часы с боем. Телевизор в таких домах в это время всегда включен, он стал чем-то вроде улично-

го фонаря; салфетка ручной работы лежит на нем потому, что в таких семьях телевизор должен быть покрыт именно такой салфеткой. Все продумано до мелочей: и беспорядок на столе, и груда старых газет, и капля варенья на коробке для шитья, приспособленной из коробки шоколадных конфет, чашка с отбитой детьми ручкой, похожей на ухо, белье, что сушится у печки довольно страшного вида. Иногда он наблюдал за детьми и очень радовался, когда видел, что они смотрят фильм, разговаривают с родителями, сидят за столом, движутся и говорят именно так, как положено в подобных семьях. Это было счастье, человек был счастлив, так-как сознательно жил именно той жизнью, какой хотел. А когда он понимает, что с помощью этого счастья он еще и срывает заговор, задуманный две тысячи лет назад, он становится еще счастливее.

Несмотря на большое количество чашек выпитого чая и кофе, Галипу казалось, что он сейчас заснет (хоть бы эта фраза была последней!); он встал, сказал, что ему надо торопиться, и, с трудом передвигая затекшие ноги, пошел к двери. Хозяин двинулся за ним и, втиснувшись между Галипом и стеной, на которой висело пальто гостя, продолжал говорить:

Ему жаль Галип-бея, который возвращается в Стамбул, где начался этот упадок. Стамбул – проб-

ный камень: не то что жить там, ступить туда означает – сдаться, потерпеть поражение. Страшный город, он теперь полон отвратительных картин, которые мы раньше видели только в темных кинотеатрах. Жалкая толпа, старые автомобили, медленно погружающиеся в воду мосты, груды жестяных банок, искореженный асфальт, непонятные громадные буквы, неразборчивые афиши, полустертые надписи на стенах, реклама спиртного и сигарет, минареты, с которых не читают азан, груды камней, пыль, грязь и т. д. и т. д. От этой разрухи нечего ожидать. Если когда-нибудь наступит время воскресения – хозяин дома уверен, что есть множество людей, как и он, всю жизнь сопротивляющихся тому, что происходит, – оно начнется в этих кварталах, о которых с пренебрежением говорят: «бетонные лачуги», потому что именно здесь все еще хранятся истинные сокровища. Он гордится тем, что начинал строить этот квартал, и приглашает Галипа сюда, в эту жизнь, прямо сейчас, Галип мог бы остаться здесь сегодня ночью, они хотя бы поспорили...

Галип надел пальто, попрощался с хозяином дома, его молчаливой женой, тихими детьми, открыл дверь и вышел. Хозяин дома, стоя у открытой двери, внимательно всматривался в темноту, а потом произнес с таким удовольствием, что даже Галипу понравилось:

«Как бело!» Много лет назад, не унимался бывший муж Рюйи, он познакомился с шейхом, который ходил только в белых одеждах, и после этого знакомства увидел белый-белый сон. В этом белоснежном сне он сидел вдвоем с Мухаммедом на заднем сиденье белого «кадиллака». Впереди сидели шофер, лица которого не было видно, и два внука Мухаммеда – Хасан и Хюсейн в белых одеждах. Когда «кадиллак» проезжал по Бейоглу мимо афиш, реклам, кинотеатров и публичных домов, внуки, оборачиваясь к деду, морщились.

Галип стоял на верхней ступеньке засыпанной снегом лестницы, ожидая окончания рассказа, хозяин дома не умолкал: нет, он не придавал снам слишком большого значения. Просто научился читать некоторые священные знаки, вот и все. Ему бы хотелось, чтобы Галип и Рюйя пользовались его знаниями. Другие пользуются.

Он слышал, как премьер-министр дословно приводил выдержки из его анализа политической ситуации и излагал некоторые его идеи, сформулированные в статье, опубликованной им под псевдонимом три года назад в момент политического кризиса. Конечно, у них много служащих, которые следят за выходящими в стране даже самыми маленькими журналами и при необходимости докладывают наверх. На днях он об-

ратил внимание на статью Джелеля Салика и понял, что тот тоже какими-то путями добрался до его статей и тщетно пытается по-своему истолковать одну старую проблему.

В обоих случаях любопытно, что мысли человека, про которого говорят, что он исчерпал себя и никому не нужен, повторяют премьер-министр и известный журналист. Он хотел было доказать, что эти два уважаемых человека использовали некоторые предложения и даже фразы из статьи в малотиражном журнале одной из фракций, собирался заявить в прессе о наглом плагиате, но потом решил, что для этого еще не пришло время. Он твердо знал, что надо набраться терпения и ждать, потому что настанет день, когда и эти люди постучат в его дверь. Разве не факт, что в этот отдаленный район ночью, в снег, под неубедительным предлогом разузнать что-то о человеке под вымышленным именем приехал Галип-бей. Галип-бей должен знать, что он хорошо читает подобные знаки. Галип спустился по ступенькам на покрытую снегом мостовую и уже не слышал последних вопросов, которые задавал ему хозяин дома:

Может ли Галип прочитать нашу историю под этим новым углом зрения? Если он заблудится и не сможет выбраться на центральный проспект, не вернется ли он к ним в дом? Может ли он передать большой при-

вет Рюйе?

Все мы ждем его

Поэма моя называется «Великий инквизитор», вещь нелепая, но мне хочется ее тебе сообщить.

Достоевский

Мы все ждем Его. Все мы веками ждем Его. Но все по-разному: кто, устав от толпы на мосту Галата, смотрит в свинцово-голубые воды Золотого Рога; кто подбрасывает дрова в печку, которая никак не согревает комнату в два окошка у подножья крепостной стены; кто нескончаемыми лестницами поднимается к дому греческой постройки в глубине квартала Джихангир; кто в далеком анатолийском поселке, ожидая часа встречи с друзьями в мейхане (Мей – вино (поэт.)', мейхане – заведение, где подают спиртные напитки), коротает время за разгадыванием кроссвордов в стамбульской газете; а кто-то мечтает сесть в самолет, описание и фотографию которого видел в газетах, или войти в светлый зал и обнять красивое тело; так или иначе, мы все ждем Его. Мы ждем Его, когда грустно бредем по грязным мостовым, держа в руках кулек, свернутый из старой, читаной-перечитаной газеты или пакет из дешевого пластика, после которого яблоки пахнут синтетикой, или сетку, оставляющую

на ладони и пальцах синие следы. Мы ждем Его всегда: когда субботним вечером возвращаемся из кинотеатра, где смотрели фильм о невероятных приключениях красивейших женщин с мужчинами, бьющими бутылки и окна, или из квартала публичных домов, где время, проведенное с проститутками, лишь усилило чувство одиночества, или из мейхане, где приятели безжалостно высмеивали какую-нибудь нашу навязчивую идею, или от соседей, где не удалось спокойно послушать театральную постановку по радио, потому что шумные дети никак не могли уснуть. Говорят, Он появится сначала в темных закоулках окраинных кварталов, где мальчишки перебили из рогаток уличные фонари, или перед лавками жуликов, торгующих лотерейными билетами национальной и спортивной лотереи, журналами с обнаженными женщинами, игрушками, табаком и прочей мелочью. Но все считают, что где бы Он ни появился – в котлетной лавке, в которой маленькие дети по двенадцать часов месят фарш, или в кинотеатре, где тысячи глаз превращаются в один, горящий единым желанием, или на зеленых холмах, где безгрешные, как ангелы, пастухи любят чудом кипарисов на кладбищах, – где бы Он ни появился, счастливец, который увидит Его первым, сразу же узнает Его, и вмиг станет ясно, что ожидание, длившееся долго, как бесконечность, и коротко,

как одно мгновение, закончилось: пришло время спасения.

Удивительно, что никто из ожидающих прихода великого Спасителя, мечтающих об этом приходе, не мог представить себе Его лица: ни мой уважаемый читатель-фантазер Мехмет Йылмаз, живущий в далеком анатолийском городке, ни Ибн Араби, изложивший свои мечты семь сотен лет назад в книге «Симург Запада», ни философ Эль-Кинди ((801-873) – арабский философ), который тысячу сто одиннадцать лет назад видел во сне, как Он помог отвоевать Стамбул у христиан, ни девушка-продавщица, мечтающая о Нем среди катушек с нитками, пуговиц и нейлоновых чулок в галантерейной лавке в Бейоглу через много лет после описания этого сна.

А вот Даджала мы представляем себе довольно хорошо: Бухари в «Пророке» сообщает, что Даджал – одноглазый и рыжеволосый, а в «Хадже» добавляет, что по лицу Даджала можно прочесть, кто он есть; от других авторов мы узнаем, что он костлявый и у него могучая шея и красные глаза. В первые годы моей работы журналистом в газете «Карагез», весьма читаемой в Анатолии, в комиксах о похождениях турецкого воина Даджал изображался с перекошенным ртом. Наш воин крутил любовь с красавицами еще не завоеванного Константинополя и, пуская в ход все-

возможные хитрости (некоторые художнику подсказывал я), сражался с Даджалом, большелобым, большеносым и безусым. В отличие от столь красочных описаний Даджала, Его, которого мы ждем, живой яркий образ создал лишь один писатель, доктор Ферит Кемаль (вымышленный автором персонаж), но, поскольку свой труд «Le Grand Pacha» («Великий Паша» (франц. .)) он написал по-французски и издать его в Париже сумел лишь в 1870 году, мы не включаем эту книгу в нашу литературу.

Но исключать из турецкой литературы книгу «Le Grand Pacha», единственное произведение, где Он представлен столь реалистично, только потому, что она написана по-французски, неверно и нелепо; такое же чувство нелепости охватывает, когда читаешь в восхваляющих восток журналах типа «Шадырван» («Фонтан для омовений») или «Бююк Догу» («Великий Восток»), что глава «Великий инквизитор» в романе «Братья Карамазовы» русского писателя Достоевского списана с маленькой брошюры. Когда я сталкиваюсь с легендами о похищении произведений и перемещении их с Востока на Запад или с Запада на Восток, у меня неизменно возникает одна мысль: если вселенная снов, называемая нами миром, это дом, куда мы входим неосознанно, как луна-тики, то литературы можно уподобить стенным часам,

развешанным в комнатах этого дома, к которому мы хотим привыкнуть. И в таком случае:

1. Глупо говорить, что какие-то из этих часов, тикающих в комнатах дома снов, показывают время правильно, а какие-то – неправильно.

2. Глупо говорить, что какие-то из часов спешат на пять часов, потому что, по той же логике, они могут опаздывать на семь.

3. Если какие-то часы показывают без двадцати пяти десять, а через некоторое время без двадцати пяти десять покажут другие часы, глупо делать вывод: вторые часы подражают первым.

Написавший более двухсот суфийских книг Ибн Араби за год до участия в похоронах Ибн Рушда в Кордове находился в Марокко и писал там книгу, вдохновленный рассказом (сном) в суре Корана «Аль-Исра» о том, как Мухаммед ночью был перенесен в Иерусалим и там по лестнице взобрался на небо, где наблюдал Рай и Ад; я уже писал об этом выше (наборщик, если мы сейчас в верхней части колонки, то набирай не «выше», а «ниже»). Ибн Араби написал свой труд, когда ему было 33 года (1198); и сегодня, читая в его книге, приравненной к путеводителю по семи небесам, как он там путешествовал, что видел, о чем разговаривал с пророками, которых встретил, было бы очень глупо сделать вывод, что являвшаяся в снах де-

вущка по имени Низам «правильная», а Беатриче – «неправильная», или что Ибн Араби «правильный», а Данте «неправильный», равно как и «Книга о ночном путешествии» с «Книгой о месте перенесения» – «правильные», а «Divina Commedia» – нет. Это было бы такой же глупостью, как та, что я обозначил под номером один.

Андалусский философ Ибн Туфейль признал как «божественную истину» небо, море, смерть, лань, вскормившую попавшего на необитаемый остров ребенка, природу, окружающие дитя предметы и еще в одиннадцатом веке написал о том, как этот ребенок долгие годы жил в одиночестве. Сказать, что Ибн Якзан опередил на шесть столетий Робинзона Крузо, или на том основании, что Дэниэл Дефо более подробно описал вещи и орудия Крузо, заключить, что Ибн Туфейль на шесть столетий отстал от Дефо, было бы такой же глупостью, как та, что я обозначил под номером два.

В одну из пятниц марта 1761 года шейхульислам султана Мустафы III Хаджи Веллийудин Эфенди, придя вечером домой, застал у себя в кабинете болтливого друга; увидев роскошный шкаф, гость сказал: «Хаджи Эфенди, у тебя в шкафу, наверно, такой же беспорядок, как и в голове!» В ответ на эти неуважительные и неуместные слова шейхульислам начал

сочинять Месневи, доказывающие, что у него полный порядок и в ореховом шкафу, и в голове. В сочинении он показал, что в нашем мозгу точно так же, как в том бесподобном – армянской работы – шкафу с двумя дверцами, четырьмя отделениями и выдвижными ящиками, есть двенадцать ячеек, хранящих время, места, числа, документы и всякую всячину, которую мы называем сегодня «причинность», «существование», «необходимость»; через двадцать лет после этого немецкий философ Кант опубликовал свой знаменитый труд, в котором обозначил двенадцать категорий чистого разума; сделать из этого вывод, что Кант – подражатель шейхульислама, было бы глупостью, обозначенной мною под номером три.

Доктор Ферит Кемаль, столь живо описавший Его, которого все мы ждем, не удивился бы, узнав, что через сто лет соотечественники вспомнили о нем. Вся жизнь доктор был окружен стеной забвения и безразличия, которая обрекла его на молчание сна. Сегодня я могу представить себе лицо Ферита Кемалья – не осталось ни одной его фотографии – лишь как мечтательное лицо лунатика: он был наркоманом. К такому умозаключению мы приходим, прочитав написанную в презрительном тоне книгу «Новые Османы и свобода» Абдуррахмана Шерефа, который, как и Ферит Кемаль, многих своих больных сделал наркома-

нами. В 1866 году – да, да, за год до второго путешествия Достоевского в Европу – он отправился в Париж, охваченный неясным чувством протеста и стремления к свободе; опубликовал несколько статей в газетах «Хюрриет» и «Мухабир», выходящих в Европе, позднее, когда младотурки договорились с дворцом и – потихоньку – вернулись в Стамбул, он остался в Париже. На этом его следы теряются. Судя по тому, что в предисловии к своей книге он говорит об «Исканиях рая» Бодлера, он, возможно, был знаком с любимым мной Де Куинси и пробовал наркотики; но на страницах, где речь идет о Нем, не чувствуется следов этого увлечения, напротив, мы видим там ясную логику, которая сейчас нам бы очень пригодилась. Я пишу, чтобы поговорить об этой книге, об этой логике, чтобы познакомить офицеров-патриотов нашей армии с идеями из «Le Grand Pacha», которые трудно оспаривать.

Но чтобы понять эту логику, надо прежде всего представить себе, что это за книга: она напечатана в Париже в 1870 году издателем Poulet-Malassis'ом на плотной рисовой бумаге, у нее голубая обложка. Всего девяносто шесть страниц. Представьте себе иллюстрации, сделанные французским художником (De Tennielle), изображающие скорее не тогдашний Стамбул, а современный, с каменными зданиями, каменными плитами мощеных улиц; окружающие предме-

ты, тени, камера, орудия пыток – все выглядит поразительно современно.

Книга открывается описанием одной из окраинных улиц Стамбула в полночь. Тишина, удары палок сторожей о мостовые и далекий вой дерущихся собачьих стай. Забранные решетками окна деревянных домов темны. Едва заметный дымок печных труб смешивается с прозрачным туманом, опустившимся на крыши и купола. И в этой глубокой тишине слышится звук шагов. Этот странный, новый, неожиданный звук каждый воспринимает как благую весть: и те, кто, натянув на себя все, что можно, готовится лечь в холодную постель, и те, кто под грудой одеял уже видит сны.

Наутро – светлое веселье, от ночной тоски не осталось и следа. Все узнали Его, все поняли, что это – Он, все догадались, что кончилось, как казалось, бесконечное, полное невзгод время; многие в минуты уныния думали, что оно никогда не кончится. В этот день Он был со всеми: с теми, кто катался на карусели, с примирившимися давними врагами, с детьми, поглощающими яблочную помадку и тянучки, с веселящимися и танцующими мужчинами и женщинами. Он скорее был похож на идущего среди братьев старшего брата, чем на Спасителя, окруженного несчастными, которых он поведет к светлым дням. Но на лице Его была тень сомнения, какого-то раздумья, пред-

чувствия. Задумавшись, Он шел по улицам, и люди Grand Pacha схватили Его и бросили в холодную городскую тюрьму, окруженную каменной стеной. Ночью со свечой в руке Grand Pacha навещает Его в камере и всю ночь разговаривает с Ним.

Кем был Grand Pacha? Поскольку я, как и автор книги, хочу, чтобы читатель самостоятельно решил это, я не буду называть имя этого очень неординарного человека. Судя по тому, что он паша, мы можем предположить, что он крупный государственный деятель, или великий воин, или просто военный в высоком чине. Основываясь на глубине его рассуждений, можно также подумать, что он – философ или великий человек, обладающий такого рода знаниями, которыми обладают люди, думающие о государстве и нации больше, чем о себе; мы знаем много таких людей. Всю ночь в камере Grand Pacha будет говорить, а Он слушать. Вот слова, которыми Grand Pacha убедил Его и заставил молчать:

1. Как и все, я сразу понял, что ты – Он (так начал Grand Pacha). Чтобы это понять, мне не пришлось – как это делалось сотни, тысячи лет – обращаться к тайнам букв и цифр, к знакам на небе или в Коране, к предсказаниям о тебе. Когда я увидел на лицах людей в толпе радостное волнение, я понял, что ты – Он. Сейчас все ждут, что ты поможешь им забыть

боль и печаль, оживишь утраченные надежды, поведешь к счастью, но сумеешь ли ты это сделать? Много веков назад надежду несчастным сумел внушить Мухаммед, потому что вел их от победы к победе с мечом. Но сегодня, какой бы сильной ни была наша вера, оружие врагов ислама сильнее нашего. Военная победа невозможна! Разве не ясно это из того, что Лжемахди, выдававшие себя за тебя, поначалу обосновались в Индии, Африке, у англичан, французов, но потом были уничтожены, исчезли; результатом же была еще большая разруха. (Победа не только ислама, но Востока над Западом – это всего лишь мечта, что совершенно очевидно, стоит лишь сравнить военную и экономическую мощь: Grand Pacha как политик-реалист показал богатство Запада и нищету Востока, а Он – ведь это был не какой-нибудь шарлатан, а Он – молча и грустно соглашался с этой мрачной картиной.)

2. Крайняя нищета вовсе не означает, что невозможно дать несчастным надежду на победу (так продолжал Grand Pacha, а время было уже далеко за полночь). Единственное: мы не можем сейчас начать войну против внешних врагов. А внутренние? Разве причина нашей нищеты и наших бед – не наши собственные грешники, ростовщики, кровопийцы, деспоты, которые внешне выглядят праведниками? Ты ведь

и сам понимаешь, что надежду на счастье и победу можешь дать своим несчастным братьям только объявлением войны внутренним врагам! Ты отлично знаешь, что вести эту войну будут не отважные герои, а доносчики, палачи, полицейские. Надо показать отчаявшимся виновного в их нищете, да так, чтобы они поверили, что, когда ему отрубят голову, на земле установится рай. Последние триста лет мы только этим и занимаемся. Чтобы дать надежду нашим братьям, указываем на виновных, живущих среди них. А поскольку надежда нужна, как хлеб, люди верят. Самые умные и порядочные из виновных понимают, что все вершится согласно таким рассуждениям, и поэтому, совершив небольшой проступок, они еще до вынесения приговора умножают свою вину в десять раз, чтобы таким образом дать надежду несчастным братьям. Некоторых мы даже прощаем, и они присоединяются к нашей охоте за виновными. Надежда, как и Коран, питает не только духовную, но и мирскую нашу жизнь, ибо надежду и свободу мы ждем оттуда же, откуда ждем хлеб.

3. Я знаю, ты силен и можешь совершить все нелегкие дела, которых ждут от тебя, ты в состоянии в мгновение ока найти в толпе виновных и даже, пусть и неохотно, подвергнуть их пыткам, все это ты можешь, потому что ты – Он. Но сколько можно тешить людей

надеждой? Через некоторое время они увидят, что дело не идет на лад. Хлеба у них не станет больше, и надежда, связанная с тобой, станет улетучиваться. Они опять начнут терять веру в Книгу и в оба мира и снова погрузятся в глубокое уныние, безнравственность, духовную нищету, в которых недавно пребывали. Самое ужасное, что они станут сомневаться в тебе, ненавидеть тебя. Доносчики начнут испытывать угрызения совести перед теми, кого они с радостью сдали твоим палачам и мучителям; полицейские и тюремщики так устанут от бессмысленности своих занятий, что их не утешат ни имеющиеся у них новейшие орудия пыток, ни даруемая тобой надежда; они решат, что несчастные, висящие на виселицах, как гроздья винограда, зря были принесены в жертву. И в день Страшного суда ты увидишь, что они больше не верят ни тебе, ни историям, которые ты им рассказываешь; а когда не будет истории, в которую все верят сообща, у каждого появится своя история, каждый будет верить в нее и захочет ее рассказать. По заму соренным улицам многолюдных городов, по их грязным площадям, где никак не могут навести порядок, миллионы нищих будут бродить со своими рассказами, неся их гордо, как венец мучеников. И тогда в их глазах ты перестанешь быть Им: ты станешь Даджалом, а Даджал – тобой! И они захотят верить не твоим, а

его, Даджала, расскажам. Я или кто – то вроде меня, вернувшийся с победой, станет Даджалом. И он скажет этим несчастным, что ты годами обманывал их, нес им не надежду, а ложь, что ты – не Он, а Даджал. Впрочем, возможно, в этом и не будет необходимости, потому что или сам Даджал, или какой-нибудь несчастный, убедившись, что ты много лет обманывал его, ночью на темной улице разрядит пистолет в твое брэнное тело, которое прежде считалось неуязвимым для свинца. Вот так, из-за того, что ты долгие годы, давая им надежду, обманывал их, однажды ночью на грязной мостовой, к которой ты уже привык и даже начал любить ее, найдут твое мертвое тело.

Любовные истории в снежной ночи. Те, кто бродит с немощными в поисках историй и легенд.

Мевляна

Когда Галип вышел на проспект, часы показывали второй час ночи, но по улицам, покрытым снегом, все еще бродил народ. «На улице за английским консульством, – припомнил Галип, – есть одно заведение, открытое до утра, куда ходят не только провинциалы, приезжающие из Анатолии транжирить деньги, но и приличная публика!» Подобные сведения с иронией сообщали иллюстрированные журналы, которые любила рассматривать Рюйя.

Перед старинным зданием отеля «Токатлаян» Галип столкнулся с Искендером. Заметно было, что тот изрядно выпил. Оказывается, он показывал телевизионной группе Би-би-си Стамбул «Тысячи и одной ночи» (собаки у мусорных ящиков, торговцы наркотиками и коврами, пузатые танцовщицы, исполняющие танец живота, сводники и т. п.). В кафе на окраине, куда он повел англичан, какой-то человек с портфелем затеял из-за чего-то ссору (не с ними), и полицейские уволокли его, а второй участник спора выпрыгнул в окно и удрал. После скандала сидеть в кафе больше не хочется, и они идут дальше искать приключений, Галип, если хочет, может к ним присоединиться. Они прошли по Бейоглу, купили сигареты без фильтра

для Искендера и отправились к дому, на котором была вывеска «Ночной клуб».

Галипа встретили шумно, но без особого интереса. Красивая англичанка с Би-би-си рассказывала историю. Оркестр умолк, выступал фокусник: он доставал из коробок коробки, а из них еще коробки. У ассистентки были кривые ноги, а внизу живота виднелся след кесарева сечения. Галип подумал, что такая женщина могла родить не ребенка, а только сонного кролика, вроде того, что она держала в руках.

Сидящие за столом по очереди рассказывали любовные истории. Искендер переводил рассказ англичанки. Галип внимательно вслушивался, пытаясь по выразительному лицу женщины угадать начало рассказа, которое он пропустил. Из того, что он услышал, было ясно, что какая-то женщина (Галип подумал, что это сама рассказчица) пыталась растолковать мужчине, с которым была знакома с девяти лет, смысл изображения на византийской монете, найденной водолазом на дне моря; мужчина, ослепленный любовью к женщине, никак не мог увидеть то, что видела она, но зато он сочинил любовные стихи. "Таким образом, – перевел Искендер, – двоюродные брат и сестра поженились благодаря византийской монете, поднятой со дна моря водолазом. Женщина изменилась под воздействием волшебного лица, отчеканенного на моне-

те. Но мужчина не заметил этого. И до конца жизни женщина жила в одиночестве в башне. (Галип подумал, что женщина бросила мужчину.) Галипу показалось наигранным сочувствие к «человеческим» чувствам, которое изображали сидящие за столом. Он не ожидал, что все будет, как он, радоваться, что красивая женщина покинула никчемного мужчину. Но такой трагический конец истории «красивой» женщины был совершенно нелепым, и после завершающей, произнесенной с пафосом эффектной фразы наступило тягостное молчание.

Следующим рассказчиком был пожилой фотограф. Лет тридцать назад в его маленькое ателье зашел слуга и пригласил мастера в один из домов, расположенных вдоль трамвайной линии в Шишли (Фешенебельный район в центре Стамбула). Отправляясь по указанному адресу, он терялся в догадках: почему для съемок развлечений богатых позвали именно его, работающего в ресторанах, а не кого-нибудь из его коллег, гораздо больше подходящих для подобного случая. Его встретила молодая красивая вдова и предложила хорошие деньги за то, что фотограф каждое утро будет приносить ей копии всех фотографий, которые отснимет в ночных ресторанах Бейоглу за ночь. Фотограф принял предложение, ему было любопытно: он подумал, что за этим может стоять любов-

ная история, и решил, насколько будет можно, последить за заказчицей-шатенкой с серо-голубыми глазами. Через два года работы на женщину он понял, что она не ищет конкретного мужчину, знакомого или увиденного на фотографии, – из сотен фотографий, которые он приносил ей по утрам, она отбирала понравившиеся, просила увеличить, каких-то мужчин просила сфотографировать в других позах, но это были совершенно не похожие друг на друга мужчины – ни по возрасту, ни по типу лица. Они «сотрудничали» несколько лет, это их сблизило, поскольку у них было что-то вроде общей тайны. Иногда женщина говорила фотографу: «Что ты мне приносишь фотографии этих людей с пустыми, бессмысленными глазами, какие они невыразительные!»

Но однажды на фотографии, где множество людей сидели за столом, она увидела среди бессмысленных лиц необычное, сияющее лицо и поняла, что ее поиски в течение одиннадцати лет не прошли даром. В ту же ночь фотограф снова сфотографировал крупным планом это удивительное молодое лицо, на котором читалось чистое, простое и откровенное – любовь. Они узнали, что человек, у которого было такое лицо, работал в Карагюмрюке (Район в европейской части Стамбула) часовым мастером в маленькой мастерской, ему было тридцать три года; на лице

его, по словам женщины, явно читались буквы любви, но фотограф их не видел, и женщина гневно назвала его слепым. Следующие несколько дней женщина провела в волнении, как невеста, которой предстояли смотрины; она страдала, как влюбленная, знающая наперед, что обречена на неудачу; потом наступал момент, когда ей казалось, что брезжит свет надежды, и тогда она предавалась мечтам о возможном счастье. За неделю женщина украсила все стены дома сотнями фотографий часовщика, сделанных под разными предлогами.

Фотографу удалось сфотографировать часовщика с очень близкого расстояния. Но после этого часовой мастер вдруг пропал. Женщина буквально сходила с ума. Она отправила фотографа в Карагюмрюк, но мастера не было ни в мастерской, ни дома. Через неделю фотограф снова поехал в Карагюмрюк, и оказалось, что мастерская продается, а дома – никого. С того дня женщина не желала смотреть ни на какие фотографии, кроме фотографий часовщика. В тот год осень наступила рано, задули холодные ветры. Как-то фотограф приготовил очередную серию фотографий и утром пришел к женщине. Дверь открыл всегда не в меру любопытный привратник и сообщил, что госпожа куда-то уехала. Фотографу оставалось только, зная начало, домыслить конец этой истории.

Но настоящий конец он узнал через несколько лет из газетного заголовка: «Плеснула в лицо азотной кислотой!» Ревнивую женщину звали иначе, чем женщину из Шишли, она не подходила по возрасту и не была на нее похожа; муж, в лицо которого она плеснула азотную кислоту, был не часовым мастером, а прокурором небольшого городка в Центральной Анатолии. Ни одна из подробностей, приведенных в газете, не вязалась с мечтательной женщиной и красивым часовым мастером, но, прочитав слово «кислота», фотограф тотчас догадался, что речь идет именно о них; он понял, что много лет они были вместе, что они использовали его и устроили все эти игры для того, чтобы сбежать вдвоем. Увидев в тот же день в другой бульварной газете обожженное лицо часовщика, лишенное всякого выражения, он убедился, что прав в своих предположениях.

Фотограф понял, что его рассказ вызвал интерес зарубежных журналистов, оценен по достоинству, и, чтобы закрепить свой успех, добавил последнюю деталь с таким видом, будто открывал военную тайну: та же фотография обожженного кислотой лица (спустя несколько лет) была опубликована в той же бульварной газете как фотография последней жертвы войны, длившейся много лет на Среднем Востоке. Под фотографией была подпись: «Как говорится, все – во имя

любви».

Сидящие за столом охотно позировали фотографу. Галип заметил двух знакомых журналистов и лысого человека, который показался ему похожим на агента по рекламе; было еще несколько незнакомых ему людей. За столом установилась атмосфера легкой симпатии, какая бывает между людьми, делящими крышу на одну ночь или попавшими вместе в несерьезную аварию. Всем было интересно. Огни сцены давно погасли, в зале было тихо и безлюдно.

Слово взял лысый старик, которого Галип принял за агента по рекламе. Искендер рассказал Галипу, кто этот старик: он встретился с ним в холле отеля «Пера палас» в те хлопотные дни, когда составлял программу для английских журналистов, стараясь ее максимально уплотнить, и разыскивал Джеляля – да, кажется, это было как раз в тот день, когда он звонил Галипу. Человек стал помогать в поисках Джеляля, сказав, что знаком с ним и у него тоже есть дело к журналисту. Старик появлялся время от времени и оказывал англичанам кое-какую помощь: он был отставным военным и имел весьма широкие связи. Очевидно, что он не работает, любит делать добрые дела, ищет друзей и хорошо знает Стамбул.

Рассказ лысого оказался рассказом-загадкой: старый чабан, изнуренный солнцем, днем возвращается

домой, загоняет овец, входит в дом и видит в своей постели горячо любимую жену с любовником: на мгновение растерявшись, он хватается за нож и убивает обоих. Сдавшись властям, он защищает себя перед кадием (Кадий – судья шариатского суда), утверждая, что убил не жену, а незнакомую женщину, которая оказалась с любовником в его постели. Чабан рассуждает просто: долгие годы они жили в любви, женщина, которую он хорошо знал, верил ей, не могла так обойтись с ним; это значит, что и женщина в постели была другая, и он был не он. Чабан искренне верил в превращение, считал, что само солнце подало ему знак. Он, конечно, готов отвечать за преступление, совершенное кем-то другим, в которого он превратился в момент преступления, но настаивал на том, чтобы убитых им мужчину и женщину считали ворами, бесстыдно воспользовавшимися его постелью. Каким бы ни было наказание, он его отбудет, а потом отправится искать жену: ведь он не видел ее с того дня, когда его чуть не хватил солнечный удар, а когда найдет, то с помощью жены будет искать свою собственную потерянную личность. К какому наказанию приговорил кадий чабана?

Слушая ответы сидящих за столом на вопрос отставного полковника, Галип думал о том, что он то ли слышал, то ли где-то читал этот рассказ раньше, но

где – никак не мог припомнить. Он решил, что вспомнит, откуда знает и рассказ, и лысого человека, когда посмотрит фотографии, которые фотограф уже проявил и раздавал присутствующим; тогда он скажет лысому, кто он на самом деле, и таким образом раскроет тайну его не очень простого лица. Когда подошла его очередь, Галип сказал, что кадий должен был простить чабана, и понял, что угадал, что выражало лицо отставного полковника: казалось, тот был одним человеком, когда рассказывал свою историю, и стал совсем другим, когда закончил ее. Что же с ним происходило, когда он рассказывал, что изменило его во время рассказа?

Теперь все смотрели на Галипа и ждали его историю; он стал рассказывать о любви пожилого одинокого журналиста, оговорившись, что эту историю когда-то поведал ему коллега героя повествования. Этот человек всю жизнь делал переводы для журналов и газет и, кроме того, писал статьи о новых фильмах и театральных постановках. Он никогда не был женат, больше интересовался женскими нарядами и украшениями, чем женщинами. Жил он в маленькой квартирке на окраине Бейоглу в полном одиночестве, с полосатой кошкой, которая выглядела еще более старой и одинокой, чем он сам. Единственным потрясением его плавно текущих дней стало то, что под ко-

нец жизни он начал читать поразительную книгу Марселя Пруста о поисках утраченного времени.

Пожилому журналисту так понравилась книга, что он говорил о ней каждому встречному, однако никто не потрудился прочесть эту книгу по-французски, более того, журналист не встретил ни одного человека, который хотя бы проявил к ней интерес. Тогда он замкнулся и начал мысленно повторять сцены, которые читал и перечитывал по многу раз. Днем ему приходилось сталкиваться с неприятностями, иметь дело с раздраженными, бесчувственными, неделикатными, грубыми и бескультурными людьми; если ему было тяжело, он говорил себе: «Нет, я не здесь! Я дома, у себя в спальне, я думаю о том, что делает моя Альбертина: спит или уже проснулась и ходит по комнатам мягкими шагами, а я люблюсь ею!» Печально бродя по улицам, он точь-в-точь как рассказчик в романе Пруста, воображал, что его ждет молодая и красивая женщина по имени Альбертина, простое знакомство с которой уже было бы для него счастьем, а она у него дома и ждет его, и он думал о том, что она делает в ожидании. Он возвращался в свою двухкомнатную квартирку, печка никак не желала гореть, и старый журналист с грустью вспоминал другие страницы Пруста, где Альбертина покинула его; ощущая тоску пустого дома, он вспоминал, о чем они, улыба-

сь, разговаривали с Альбертиной, как она приходила, позвонив в дверь, как они завтракали; он вспоминал свои частые вспышки ревности, мечты о путешествии вдвоем в Венецию; все это проходило перед его глазами как яркие картины, он был как будто одновременно и Прустом, и его возлюбленной Альбертиной; он предавался воспоминаниям, пока из глаз не начинали течь слезы, слезы печали и счастья.

Старый журналист сокрушался, что никто не знал о Прусте и Альбертине, что у нас такая убогая и жалкая страна. Вот когда появятся здесь люди, понимающие Пруста и Альбертину, тогда, может быть, эти несчастные, которых он встречает на улицах, заживут другой, лучшей жизнью и не будут пырять друг друга ножами в припадках жестокой ревности, а, как Пруст, погрузятся в воспоминания, стараясь оживить перед глазами образы любимых. Все журналисты и переводчики, которые работали в газете и считались образованными людьми, на самом деле были противными невеждами, потому что они не читали Пруста, не были знакомы с Альбертиной и не знали, что их старый коллега, прочитав Пруста, стал одновременно и Прустом, и Альбертиной.

Нет ничего странного в том, что пожилой одинокий журналист вообразил себя персонажем или автором романа; любой турок, прочитавший с удовольствием

западную книгу, которую никто другой не читал, через какое-то время начинает искренне верить, что он не только с удовольствием прочитал, но и написал ее. И начинает презрительно относиться к окружающим не только потому, что они не читали этой книги, но и потому, что они не в состоянии написать так, как написал он. Неудивительно, что старый журналист годами вообразил себя Прустом или Альбертиной, удивительно, что эту тайну, тщательно скрывааемую от всех много лет, он открыл молодому коллеге. Выслушав историю тайной любви старого журналиста, тот сначала расхохотался, а потом сказал, что опишет этот любопытный факт в своей рубрике.

Старый журналист понял, что мир его рухнул: теперь в пустой квартире он не мог думать ни о ревности Пруста, ни о прекрасных днях, проведенных с Альбертиной, ни о том, куда отправилась Альбертина. Необыкновенная любовь, которую он пережил и о которой в Стамбуле знал он и только он, великая любовь, единственный чистейший источник его гордости, скоро станет достоянием сотен тысяч безмозглых читателей, а это все равно что Альбертина, та, что долгие годы была объектом его поклонения, будет изнасилована. На обрывках газеты с именем Альбертины будут чистить рыбу, их будут бросать в мусорные ведра. Когда он думал об этом, ему хотелось одного

– умереть.

Отчаяние придало ему смелости, и он позвонил молодому коллеге, умоляя его не писать об Альбертине и Прусте. «Ведь вы даже не читали это произведение Марсея Пруста!» Молодой журналист, который и думать забыл об исповеди старика, никак не мог понять, о чем идет речь: «Какой писатель? Какое произведение? О чем вообще речь-то?» Старик снова все рассказал, и опять молодой хохотал и говорил радостно, что об этой истории просто необходимо написать, и как можно скорее, пока старик не написал о ней сам.

Статья действительно появилась. Старый журналист был потрясен, прочитав, как высмеивают его в этой статье. А когда он увидел в ней имена Пруста и Альбертины, единственное, что ему осталось, – уйти из этой жизни. Он умер через три дня после появления жестокой статьи. Когда взломали дверь его двухкомнатной квартиры, выяснилось, что старый журналист тихо скончался во сне. Упрямая печка дымила вовсю, а рядом с покойником сидела полосатая кошка, которая два дня ничего не ела, но не покинула хозяина.

Несмотря на то что рассказ Галипа кончился печально, как и все другие, слушатели почему-то разве-селились. Несколько человек, в том числе и иностранные журналисты, встали из-за стола и до самого за-

крытия развлекались, смеялись и танцевали с девушками.

Я должен быть самим собой

Если ты хочешь быть печальным, рассеянным, задумчивым или вежливым, надо просто старательно играть соответствующую роль.

Патриция Хайсмит

Лет одиннадцать или двенадцать назад, точно не помню (к сожалению, моего «тайного архива», к которому я обращаюсь в подобных случаях, когда память моя, как сейчас, слабеет, нет под рукой), я написал длинную статью о ночной прогулке по городу под неотступным наблюдением «глаза» и получил множество писем от читателей. Как всегда, большинство из них возмущались, что я не написал привычной статьи (о проблемах страны, о грустных стамбульских улицах под дождем), и, как всегда, в почте оказалось письмо читателя, который «чувствовал», что он разделяет мои взгляды «по очень важному вопросу».

Я почти забыл о письме читателя, сообщавшего, что скоро посетит меня, чтобы задать вопросы, «глубокие» и «особенные», по которым, как он считал, мы сходимся во мнениях; о себе он сообщил лишь, что профессия его – парикмахер (мне показалось это странным). Но однажды, после обеда, в день, когда

верстался номер, когда надо было дописать несколько материалов и я был страшно занят, он предстал передо мной. Я думал, что парикмахер будет долго делиться своими горестями, а потом настаивать, требовать, чтобы я все это описал в газете. Я попытался избавиться от него, попросил, чтобы он пришел в другое время. Он напомнил, что письменно предупредил о своем приходе, и сказал, что в другой раз не сможет прийти. Он хочет задать мне всего два вопроса, сделать это можно на ходу. Мне понравилось, что парикмахер сразу перешел к делу, и я попросил его задать вопросы.

—Трудно ли вам быть самим собой?

. К столу подошли несколько человек, почуявшие, что происходит нечто необычное; они надеялись развлечься, думали, что я отвечу шуткой и мы вместе посмеемся; здесь были молодые журналисты, которым я покровительствовал, толстый и шумный футбольный обозреватель, вечно смешивший всех своими остротами. Я ответил «умной» шуткой, как от меня и ждали. Парикмахер внимательно выслушал шутку как ответ на первый вопрос и тут же задал второй.

—Как сделать, чтобы человек всегда мог быть самим собой?

Вид у него был такой, словно он задавал вопрос не для удовлетворения своего любопытства, а чтобы

выполнить некую важную миссию. Ясно было, что он заранее заготовил вопросы. Смех, вызванный моим шуточным ответом, еще не смолк, он привлек других людей, и в таком положении я, естественно, не стал произносить философскую речь на тему, как человеку быть самим собой, а отпустил вторую шутку, как забил шар в лузу. Вторая шутка дополняла первую, и буквально из пустяка можно было сделать замечательный рассказ. Я до сих пор помню, как после второй шутки парикмахер сказал:

–В сущности, я понял! – и ушел.

Если слово двусмысленно, то наш народ воспринимает исключительно его второй смысл, в котором содержится презрение или унижение, поэтому меня совершенно не волновало, что парикмахер мог обидеться. Более того, скажу, что я его унизил, как унизил бы любого читателя, который стал бы задавать вопросы о смысле жизни или интересоваться, верующий ли я, застав меня в уборной застегивающим брюки.

Но через некоторое время... Если читатели думают, что я напишу сейчас, будто раскаялся в своем нахальстве, постоянно думал о том, был ли уместен вопрос парикмахера, видел его во сне, испытывал чувство вины и просыпался весь в поту, то они сильно ошибаются. О парикмахере я вспомнил всего один раз. Дело в том, что задолго до знакомства с ним меня посетила

мысль. Поначалу это даже и мыслью-то назвать было нельзя; у меня в ушах, нет, не в ушах, где-то в глубине души вдруг снова зазвучали слова, которые время от времени посещали меня в детстве: "Я должен быть самим собой, самим собой, самим собой..." "

Как-то после дня, проведенного среди людей – родственников, «товарищей» по работе, – ночью, перед тем как лечь в постель, я сел в старое кресло, вытянул ноги на подставке, закурил и стал смотреть в потолок. Голоса людей, с которыми я весь день общался, шум, просьбы слились в единый звук и доносились откуда-то из глубины неприятно и утомительно, как головная боль, нет, хуже – как ноющая зубная боль. Слова из детства, которые я стесняюсь назвать мыслью, сначала возникли как «антизвук», чтобы заглушить неумолкающий гул, напомнить о возможном пути выхода: надо просто услышать собственный внутренний голос, погрузиться в собственное спокойствие, счастье, даже в собственный запах. «Ты должен быть самим собой, самим собой, самим собой!»

Уже поздно ночью я вдруг понял, как доволен тем, что сижу дома, вдали от всей этой толпы, от убийственной суеты, которую они (имам с его пятничной проповедью, учителя, тетя, отец, дядя, политики – все!) называли «жизнью», да еще хотели, чтобы и я, и все мы окунулись в нее! Я был так доволен, что про-

гуливался в саду собственных фантазий, а не их скучных, банальных сказок, что с любовью смотрел даже на свои вытянутые на подставке худые, совсем не стройные ноги и с симпатией наблюдал за некрасивой беспомощной рукой, подносящей ко рту сигарету, из которой я пускал дым в потолок. В кои-то веки я сумел стать самим собой! Я мог любить себя за это! В этот счастливый миг навязчивые слова вдруг зазвучали по-иному. Я повторял эти слова, как квартальный дурачок, идущий вдоль стены мечети, выкрикивает один и тот же бессмысленный повтор, как старик пассажир, который считает проплывающие мимо поезда столбы: один, один, один; надоевшие было мне слова вдруг превратились в истину, которая наполнила меня какой-то новой силой, преобразила не только меня, но и мою старую бедную комнату. И я повторял, но уже не занудно, а с каким-то радостным протестом:

Я должен быть самим собой, я должен быть самим собой и не обращать внимания на их голоса, запахи, желания, любовь и ненависть, я должен быть самим собой, повторял я, глядя на свои. ноги, покоящиеся на подставке, и на сигаретный дым, который пускал в потолок; ведь если я не являюсь самим собой, я становлюсь таким, как они хотят, а я не хочу быть тем человеком, каким они хотят меня видеть, и я ничего не буду делать, чтобы стать тем невыносимым челове-

ком, каким они хотят, чтобы я был, лучше пусть меня совсем не будет, думал я, потому что в молодости, когда я приходил в дом дяди и тети, в их взглядах я читал: «Как жаль, что он занялся журналистикой, но он много работает и, если и дальше будет так работать, бог даст, добьется успеха»; я становился тем человеком, каким они меня видели, и, чтобы стать другим, я работал много лет, и когда, будучи взрослым мужчиной, я приходил в дом, где отец жил уже с новой женой, я становился человеком, про которого они говорили: «Он много работал и добился-таки успеха»; самое скверное, что я не мог видеть себя другим, я не хотел быть таким, каким они хотели, чтобы я был, но этот образ прилипал ко мне, как кожа к мясу, и, находясь среди них, я ловил себя на том, что говорю слова не свои, а этого человека, которым мне так не хочется быть; вечером, вернувшись домой, я вспоминал фразы, что произносил там: «Я коснулся этой темы в большой статье», «Эту проблему я рассматриваю в своей последней воскресной статье», «В статье, которая появится завтра, я написал так». Потом я пытался говорить простые слова: «Я разбередил муравейник», потому что начинал задыхаться от штампов и хотел хоть немного стать самим собой.

Вся моя жизнь – цепь подобных неприятных воспоминаний. Сидя в кресле, наслаждаясь тем, что я яв-

ляюсь самым собой, я вспоминал времена, когда не был самым собой.

Я вспомнил, что во время всего срока службы в армии меня считали человеком, умевшим шутить в тяжелую минуту; я изо всех сил старался соответствовать этой характеристике: ведь «товарищи по оружию» решили, что я именно такой. Вспомнил, как в то время, когда мы разрабатывали планы подготовки военного переворота и мечтали о временах, когда власть перейдет в наши руки, я вел себя как горячий патриот, лишившийся сна от страха, что переворот совершится слишком поздно и народ будет продолжать страдать. Рядом с симпатичными женщинами я старался вести себя так, как, по-моему, им должно было нравиться: то я был человеком, думающим только о женитьбе и пытающимся устроиться в жизни, то решительным мужчиной, поглощенным заботами о спасении страны, то чувствительной натурой, уставшей от черствости и всеобщего непонимания, царивших вокруг, а то просто «романтичным поэтом». Вспомнил, наконец (да, напоследок!), как у парикмахера, к которому я ходил раз в два месяца, я не мог быть самым собой, я был личностью, соединившей в себе всех, кому подражал.

Я отдавал себя в руки парикмахера (другого, не того, о котором шла речь в начале моей статьи). Мы вме-

сте смотрели в зеркало на подстригаемые волосы, на голову, плечи, тело, и я всегда сразу понимал, что сидящий в кресле человек – не я, а кто-то другой. Голова в руках парикмахера, спрашивающего: «Сколько снимем спереди?», шея, на которой держится эта голова, плечи, тело – не мои, они принадлежат журналисту Дзелялю. А у меня нет ничего общего с этим человеком. Это было настолько очевидно: я думал, что и парикмахер видит это, но он, кажется, не замечал. И все же, словно стремясь показать мне, что я – не я, он задавал вопросы, какие обычно задают журналистам: «Победим ли мы греков, если начнется война?», «Правда, что жена премьер-министра – проститутка?», «Лавочники сами поднимают цены?» Почему-то я был не в состоянии отвечать на эти вопросы; журналист, за которым я с непонятым изумлением следил в зеркале, бормотал вместо меня с умным видом: «Мир – дело хорошее!», «Надо понимать, что, вешая людей, цен не снизишь!»

Я ненавидел этого журналиста: он считал, что все знает, а когда чего-то не знал, то, зная, что не знает, умел снисходительно иронизировать над своим незнанием и недостатками! Ненавидел я и парикмахера за то, что уже первым вопросом он превращал меня в журналиста Дзеляль-бея! Размышляя над всем этим, я и вспомнил парикмахера, пришедшего в газе-

ту задать мне странные вопросы.

Той ночью, сидя в кресле, я говорил себе: «Да, господин парикмахер! Они никогда не позволят человеку быть самим собой, никогда, никогда не позволят!» Я говорил решительно и убежденно, но это не приносило мне желаемого покоя. Тогда я решил, что в моих воспоминаниях, освеженных визитом парикмахера, есть некий смысл, некий порядок, как бы «тайная симметрия»; мои самые внимательные читатели, я думаю, помнят, что я писал об этом и в других статьях. Словно бы это был знак, обращенный в мое будущее: возможность быть самим собой, сидя в одиночестве в кресле после долгого дня или даже вечера; это было что-то вроде возвращения домой после долгих, длившихся годами приключений.

Вы меня узнали?

И сейчас, когда я обращаю взор в те времена, я словно бреду наугад в беспорядочной толпе.

Ахмет Расим

Рассказчики вышли из клуба, но не разошлись, а, стоя под легким снежком, смотрели друг на друга в ожидании новых развлечений: будто они только что стали свидетелями убийства или пожара и были не в состоянии сдвинуться с места: вдруг еще рванет! Лысый, уже давно водрузивший на голову большую фетровую шляпу, повернулся к Искендеру: «Туда всех не пускают. Да и столько народу там не поместится. Я хочу повести только англичан. Пусть увидят и эту сторону нашей жизни». Взглянул на Галипа: "Вы, конечно, можете пойти с нами..." "

Когда они проходили мимо американского консульства, человек в фетровой шляпе спросил: «Вы бывали у Джеляль-бея в Нишанташи и Шишли?» – «Что?» – удивился Галип, глядя в лицо, которое не казалось ему выразительным. «Искендер-бей сказал, что вы племянник Джеляля Салика. Разве вы не разыскиваете его? Было бы хорошо, если бы он рассказал англичанам о проблемах нашей страны. Видите, мир уже

проявляет к нам интерес». Галип: «Да, конечно». Человек в фетровой шляпе: «У вас есть его адреса?» Галип: «Нет, он никому их не дает». – «А правда, что он прячется там с женщинами?» – «Нет». – «Не сердитесь. Сплетни. Чего только не наговорят! На каждый роток не накинешь платок. Особенно если речь о такой знаменитости, как Джеляль-бей! Знаете, я ведь с ним знаком». – «Неужели?» – «Да, как-то он пригласил меня в одну из своих квартир в Нишанташи». – «Куда именно?» – «Тот дом давно снесли. Это был двухэтажный кирпичный дом. Он жаловался на одиночество. Сказал, что я могу видаться с ним, когда захочу». – «Но он сам стремится к одиночеству». – «Может быть, вы не так уж хорошо его знаете. Сейчас интуиция мне подсказывает, что он ждет от меня помощи. Вы не знаете ни одного из его адресов?» – «Ни одного». – «Неудивительно, что каждый находит в нем частицу самого себя. Замечательная личность!» – заключил человек в фетровой шляпе, и они стали обсуждать последнюю статью Джеляля.

Дверь, на которой было написано «Мастерская манекенов», открыл небритый человек лет тридцати. На нем были черные брюки и полосатая пижамная куртка. Пожав руку каждому из гостей с таким видом, будто они принадлежат к одному тайному братству, он пригласил всех в ярко освещенную комнату, пах-

нущую краской, заваленную коробками, болванками, жестянками, муляжами различных частей человеческого тела. Вытащив из угла и раздав пришедшим брошюры, он монотонным голосом начал рассказывать:

– Вы находитесь в лучшей из мастерских манекенов на Балканах и Среднем Востоке. Уровень, на который мы поднялись за сто лет существования, показывает, каких вы сот достигла Турция в этом виде производства и его модернизации. Мы не только полностью обеспечиваем страну руками, ногами и бедрами...

– Джеббар-бей, – тоскливо перебил его лысый, – наши друзья пришли не в мастерскую, а для того, чтобы с вашей помощью посмотреть нижние этажи, подземелье, увидеть фигуры страдальцев, нашу историю, то, что делает нас нами.

Гид с недовольным видом повернул выключатель, и сотни рук, ног, голов, торсов вмиг погрузились в беззвучную тьму; теперь горела только голая лампочка, освещающая маленькую лестничную площадку. Когда они спускались по железной лестнице, снизу повеяло влажностью, и Галип остановился. Джеббар-бей тут же подошел к нему.

– Не бойся, – сказал он с видом всезнающего человека, – ты найдешь здесь то, что ищешь! Меня послал

Он, Он не хочет, чтобы ты шел по ложному пути, чтобы ты потерялся!

Говорил ли он другим эти непонятные слова? Оказавшись в первом помещении, они увидели освещенные тусклыми лампочками фигуры турецких моряков, пиратов, писцов, крестьян, сидящих по-турецки на полу за трапезой; гид что-то невнятно бормотал. В следующем помещении была фигура женщины-прачки, обезглавленного безбожника и палача с орудиями казни в руках. Гид говорил, и на сей раз Галип отчетливо слышал его слова:

—Сто лет назад, когда мой дед создавал первые фигуры, те, мимо которых вы прошли, у него в голове была единственная мысль: манекены, выставленные в витринах лавок, должны быть сделаны с наших людей. Но международный исторический заговор препятствовал воплощению этой идеи.

Они спускались все ниже, переходили по ступенькам из помещения в помещение и видели сотни фигур, на которые с потолков падали капли воды; под потолком были натянуты провода, и на них, как на бельевой веревке, висели лампочки.

Вот фигура маршала Февзи Чакмака: тридцать лет он был начальником Генерального штаба; ему все казалось, что его народ сотрудничает с врагами, а потому он собирался взорвать все мосты в стране и по-

рушить минареты, чтобы они не стали ориентирами для русских; ему хотелось опустошить Стамбул, объявить его городом-призраком, чтобы, в случае если он попадет в руки противника, он предстал лабиринтом, из которого нет выхода. Рядом фигуры крестьян из Коньи: мать, отец, дочь, дед, дядя, и все похожи друг на друга как две капли воды – результат множественных внутрисемейных браков. А вот старьевщики переходят от двери к двери и не подозревают, что собирают старые вещи, которые делают нас нами. Наши знаменитые артисты, которые, не будучи ни собой, ни другими, наилучшим образом играли в фильмах и себя, и героев, которыми они не могли быть; бедолаги, всю жизнь приспособливающие к Востоку науку и искусство Запада: отставные паши, долгие годы вечерами с лупой в руках прокладывающие на картах вместо кривых стамбульских улиц липовые аллеи, как в Берлине, или расходящиеся звездными лучами прямые улицы и бульвары с мостами, как в Париже; фантазеры, которые мечтали прогуливать собак по их собачьим делам на поводке – как на Западе – по современным улицам, но умирали, так и не осуществив своей мечты; сотрудники безопасности, до времени отправленные в отставку за то, что были приверженцами традиционных методов пыток и не использовали новых международных достижений в этой области;

бродячие торговцы с палками-коромыслами на плечах, которые ходили из квартала в квартал и торговали шербетом, рыбой пеламидой и йогуртом.

Незадолго до смерти, – пояснял гид, – мой дед понял, сколь силен стоящий перед ним международный противник. Определенные силы, не желающие, чтобы наша нация оставалась самой собой, в стремлении лишить нас самого ценного нашего достояния – наших будничных движений, наших жестов – прогнали моего деда из Бейоглу, выбросили его работы из лавок и витрин на проспекте Истикляль. Отец, когда дед был при смерти, понял, что ему в наследство остается подземелье, только подземелье, но тогда он еще не знал, что Стамбул на протяжении многих столетий всегда был подземным городом. Этому его научила жизнь: когда он расчищал подвал, чтобы разместить манекены, он наткнулся на подземные коридоры.

Они спускались по лестницам в эти подземные коридоры, шли по ним, попадали в глиняные пещеры, которые и помещениями-то назвать было нельзя, и видели все новые фигуры несчастных. При свете голых лампочек эти фигуры напоминали Галипу терпеливых людей с покрытыми пылью и грязью лицами, ожидающих на остановке автобуса, который никогда не придет; иногда его охватывало ощущение, которое он испытывал, когда бродил по улицам Стамбула:

ощущение того, что все несчастные – братья. Он увидел игроков в лото с торбами в руках, насмешливых и нервных студентов университета, подмастерьев из лавок, торгующих фисташками, любителей птиц и искателей кладов. В одной пещере стояли люди с буквами на лицах, а рядом ученые, разгадавшие тайны этих букв, и знаменитости наших дней – ученики тех ученых.

В углу пещеры, среди фигур знаменитых писателей и деятелей культуры нашего века, была и фигура Джеляля в плаще, который он носил двадцать лет назад. Показав на Джеляля, гид сказал, что на этого журналиста его отец одно время возлагал большие надежды, но тот использовал в недостойных целях тайну букв, открытую ему отцом, и продался ради дешевой популярности. Статья, написанная Джелялем об отце и деде гида, вставленная в рамку, была повешена на шею фигуры, как смертный приговор. Со стен в этих глиняных пещерах, выкопанных без разрешения муниципалитета и не оборудованных должным образом, – в Стамбуле было много подобных подпольных лавок, – сочилась вода, а щекочущий ноздри запах плесени проникал прямо в легкие. Гид рассказывал, как его отец, после того как неоднократно сталкивался с предательством, связал все надежды с волшебством букв, которое познал в путешествиях по Анато-

лии; он высекал волшебные буквы на лицах и открывал для себя один за другим подземные коридоры, делающие Стамбул Стамбулом. Галип некоторое время стоял неподвижно перед фигурой Джеляля: большое тело, мягкий взгляд и маленькие руки. Ему хотелось сказать: «Из-за тебя я не сумел стать самим собой! Я верил во все басни, которые делали меня тобой!» Он внимательно и долго рассматривал фигуру Джеляля: так сын изучает фотографию отца, сделанную много лет назад. Галип любил его и боялся, хотел быть на месте Джеляля и бежал от него, искал его и в то же время пытался забыть. Галип не выдержал и схватил его за ворот плаща, словно хотел узнать у него смысл жизни, которого не мог понять, тайну, что знал, но скрывал в себе Джеляль, тайну другого мира в этом мире, способ выхода из игры, что, начавшись шуткой, превратилась в кошмар. Неподалеку слышался ставший привычным голос гида:

– Мой отец с необыкновенной быстротой создавал фигуры и с помощью букв придавал их лицам выражение, какое сегодня вы не сможете увидеть на лицах людей на улицах, вообще нигде. В помещениях, которые мы открыли под землей, не хватало места. Конечно, не случайно, что именно в этот момент мы нашли коридоры, соединяющие нас с подземельем. Отец прекрасно видел, что отныне наша история бу-

дет вершиться под землей, что подземная жизнь — это свидетельство краха жизни на земле, а у коридоров, каждый из которых выходит к нашему дому, и подземных путей, усеянных скелетами, есть исторический шанс обрести смысл и жизнь только благодаря лицам настоящих турок, созданных нами.

Галип отошел, фигура Джеляля медленно качнулась вправо-влево, как оловянный солдатик на тонких ногах. Зрелище было странное, смешное и одновременно жуткое. Галип отступил на несколько шагов, закурил. Ему совсем не хотелось спускаться со всеми к началу подземного города, где «в один прекрасный день вместо скелетов все увидят манекены».

Гид показывал гостям начало коридора на другом берегу Золотого Рога; этот коридор, соединяющий берега залива, византийцы вырыли тысячу триста шесть лет назад из страха перед нападением Атиллы; дальше пошли рассказы о скелетах, которые можно увидеть, если войти в подземелье с фонарем, о сокровищах, спрятанных от завоевателей шестьсот семьдесят пять лет назад и охраняемых скелетами, о столах и стульях, покрытых густым слоем пыли. Отец гида считал уход под землю вынужденным, признаком упадка и гневно говорил, что каждый подземный коридор времен и Византии, и Нового Рима, и Царьграда, и Константинополя стал впоследствии причи-

ной ужасных беспорядков на поверхности: всякий раз подземная цивилизация мстила наземной, вытеснившей ее вглубь. Слушая все это, Галип вспомнил, что Джеляль в одной из статей писал об этажах домов как о продолжении подземной цивилизации. Гид рассказал, как его отцу захотелось заполнить фигурами все подземные дороги, все коридоры, забитые гниющими скелетами и затянутыми паутиной сокровищами: так он хотел стать участником неотвратимого светопреставления, страшного разрушения, предвестником которого было само существование подземной цивилизации; эта мысль наполнила жизнь отца новым смыслом, и он стал продвигаться по намеченному пути, изображая на лицах фигур тайные буквы. Галипу представилось, как этот гид каждое утро торопится купить газету «Миллиет», чтобы прочитать очередную статью Джеляля. Гид сказал, что те, кто способен вынести зрелище обнимающихся скелетов, которые некогда были византийцами, укрывшимися под землей из страха перед нашествием аббасидов, и евреями, бежавшими от крестоносцев, могут пройти в коридор, где с потолка свешиваются золотые ожерелья и браслеты. Галип понял, что гид внимательно прочел последнюю статью Джеляля. Гид живописал, как скелеты жителей Венеции, Амальфиля, Пизы, бежавших, когда византийцы семьсот лет назад вырезали в

городе более шести тысяч итальянцев, и скелеты людей, спасшихся шестьсот лет назад от чумы и прибывших в город на корабле «Азак», склонившись друг к другу, сидят под землей за столами и терпеливо ждут Страшного суда. Слушая все это, Галип думал о себе и Джеляле и решил, что терпения у него, пожалуй, не меньше, чем у Джеляля. Гид повествовал о том, как в подземные коридоры, тянущиеся от Айя-Софии (главный византийский храм (VI в.); после завоевания Константинополя турками был переделан в мечеть. В настоящее время – музей) до Айя-Ирины (Айя-Ирина – древний византийский храм; в настоящее время – концертный зал. Древний византийский храм) и оттуда – к Пантократору, устремились люди, спасаясь от османов, грабящих Византию, и не смогли поместиться там, и коридор был продлен до противоположного берега; а еще через двести лет туда устремились бежавшие после запрета на кофе, табак и опиум, наложенного Муратом IV; все они теперь, с кофейными мельницами, джезве, наргиле, курительными трубками, кисетами с табаком и опиумом, с чашечками, под густым слоем шелковистой пыли, опустившейся на них, как снег, ждут, чтобы фигуры наконец показали им дорогу к свободе. Галип подумал, что таким же слоем шелковистой пыли будет когда-нибудь покрыт и манекен Джеляля.

Показав гостям коридоры и манекены, гид сказал, что у них с отцом есть мечта: в жаркий летний день, когда Стамбул с его мухами, грязью и облаками пыли будет дремать в полуденный зной, устроить в холодных, влажных и темных коридорах под землей праздник для скелетов и фигур; это будет бурное веселье, прославляющее жизнь и смерть, вне времени и истории, вне законов и запретов. Гости представили себе жуткую картину счастливых фигур, танцующих со скелетами, разбивающих чашки и чаши с вином, вообразили себе музыку и тишину, ужас и экстаз, скрип, сопровождающий совокупление пар. Они двинулись в обратную сторону; на лицах фигур, мимо которых они проходили не останавливаясь, Галип видел горечь, которую гид уже не считал необходимым пояснять. Все увиденное и услышанное в подземелье обрушилось непомерной тяжестью. Слабость в ногах была не от высокого подъема или напряжения долгого дня. Усталость на лицах фигур, мимо которых они проходили не останавливаясь, отзывалась усталостью в его теле. Эти фигуры пострадавших людей со склоненными головами, согнутыми спинами, кривыми ногами были как бы продолжением его собственного тела. Эти лица были его лицом, их несчастья – его несчастьем, и ему не хотелось смотреть на эти фигуры, обступающие его, не хотелось встречать-

ся с ними взглядом, и в то же время он не мог оторваться от них. Галипу хотелось думать (как в юности, когда он читал статьи Дзеляля), что за видимым миром кроется простая тайна, разгадка которой делает человека свободным, но он тут же, совсем как при чтении статей Дзеляля, ощутил, что его окружает непонятный мир, и вспомнил: такое случалось всякий раз, когда он пытался разгадать тайну; он не понимал, зачем мир воплощен в этих фигурах, зачем он здесь с этими иностранцами, не понимал смысла букв и лиц, не понимал, наконец, тайны своей жизни. В одной из верхних комнат, проходя мимо фигур простых людей, он вдруг понял, что думает, как они, и у него с ними общая судьба; когда-то они жили осмысленной жизнью, но почему-то она лишилась смысла, а они – памяти. Когда они пытались найти этот смысл, их память плутала в коридорах, затянутых паутиной, а разум не находил дороги в кромешной тьме; они так и не сумели найти ключ к новой жизни, упавшей в бездонный колодец их памяти, и на лицах их светилась неизбывная печаль тех, кто потерял свой дом, свою родину, свое прошлое и свою историю. Горечь от того, что ты далеко от дома, сбился с пути, была так сильна и невыносима, что оставалось только терпеть и не стараться постичь утраченный смысл, разгадать загадку; следовало покорно ждать, когда пройдет медлительное

время. Галип поднимался по лестнице, и ему казалось, что он не выдержит ожидания и не сможет обрести покой, когда найдет то, что ищет. Чем быть человеком, утратившим прошлое, память и мечты, не лучше ли стать, пусть и плохим, подобием кого-то другого? По мере продвижения к железной лестнице Галип размышлял о том, что все эти фигуры не что иное, как идефикс, скверная карикатура, неостроумная шутка, пустой вздор! А гид, который был карикатурой на самого себя, словно в подтверждение его мысли говорил:

– Отец не верил, что ислам запрещает изображение лиц, для него мысль была не чем иным, как лицом, и все эти лица вы видели здесь.

Они вернулись в комнату, с которой начинали экскурсию; гид попросил внести посильный вклад в их великое дело: опустить в зеленый ящик добровольные пожертвования.

Бросая в ящик тысячу лир, Галип встретился взглядом с женщиной.

– Вы меня узнали? – спросила женщина. У нее было лицо только что проснувшегося ребенка, а глаза в полутьме светились, как у кошки.

– Вы что-то сказали? – смутился Галип.

– Ты не узнал меня. Мы учились в одном классе. Я – Белькыс.

– Белькыс, – повторил Галип, понимая, что не может вспомнить ни одной одноклассницы, кроме Рюйи.

– Я на машине, – сказала Белькыс, – и живу тоже в Нишанташи. Могу подбросить тебя.

Они сели в старенький «мурат» и направились в сторону площади Таксим; Белькыс спросила про Рюйю. Галип ответил, что Рюйя нигде не работает, читает детективные романы и иногда для своего удовольствия переводит их.

– Ты замужем? – поинтересовался Галип.

– Мой муж умер, я вдова.

– Совсем не помню тебя по школе, – признался Галип.

На улице, по которой Галип редко ходил, они вошли в угловой дом, недалеко от дома тети Хале, удивительно похожий на дом Шехрикальп, и подъезд был такой же.

До утра они вспоминали школьные годы, а когда в комнату через открытые занавески ударил солнечный свет, сели завтракать.

– Я знаю, как трудно человеку быть самим собой, – продолжала Белькыс начатую тему, и было видно, что она долго думала над этим вопросом, – но поняла я это после того, как мне исполнилось тридцать. До этого у меня была другая проблема – быть такой, как Рюйя. Ночью, лежа на спине, не в силах уснуть, раз-

глядывая тени на потолке, я хотела стать другой, желание было таким сильным, что мне казалось, я могу снять собственную кожу, как перчатку с руки, влезть в шкуру Рюи и начать новую жизнь. Иногда, думая о Рюе, о том, что я не могу жить, как она, я так страдала, что у меня из глаз лились слезы.

Белькыс рассеянно водила ножом по тонкому поджаренному ломтику хлеба, словно мазала его маслом, хотя масла не было.

– Почему люди хотят жить не своей, а чьей-нибудь жизнью, – продолжала она, – этого я не понимаю и сейчас, по прошествии стольких лет. Я даже не могу точно сказать, почему хотела быть именно на месте Рюи, а не какого-нибудь другого человека. Единственное, что я могу сказать уверенно: это болезнь, которую мне пришлось скрывать долгие годы. Она продолжалась до смерти моего мужа. Возможно, я и сейчас не вылечилась окончательно, но я уже не воспринимаю это состояние как болезнь.

Белькыс рассказывала о себе, а Галип чувствовал, как тепло комнаты обволакивает его тело и оно медленно погружается в непреодолимый сон, в невесомость, какая бывает только во сне. Когда Белькыс начала рассказывать историю Наследника, которую считала «связанной со всем этим», он попросил разрешения немного вздремнуть.

Да, был такой Наследник, который открыл, что самая важная проблема жизни каждого человека – возможность или невозможность быть самим собой. Галип погрузился мысленно в то время и сам стал превращаться в другого человека, потом в дремлющего человека и – заснул.

Знаки города

Скажите мне сначала, кто я? Если мне это понравится, я подпишусь, а если нет – останусь здесь, пока не превращусь в кого-нибудь другого!

Льюис Кэрролл

Утром Галип отправился прогуляться по Галатскому мосту; он шел в медлительной воскресной толпе, охваченный предчувствием, что вот сейчас он разгадает тайну, которую пытался постичь годами, ведь только сейчас он осознал, что именно ищет. Хотя он догадывался, что это обманчивое ощущение возникло как бы во сне, как плод долгого ожидания, но эти противоречивые чувства не мешали друг другу. Мужчины, вышедшие за покупками, рыбаки, семьи с детьми, спешащие на паром, – никто не замечал, что жизнь их окружена тайной, и разгадать ее предстояло Галипу. Когда он разгадает эту тайну, они – и этот отец с младенцем на руках и идущим рядом сыном в галошах, направляющиеся в гости, и эти мать с дочерью в платках на автобусной остановке – обретут истину, которая много лет подспудно определяла их жизнь.

Галип двигался по тротуару моста, со стороны, об-

ращенной к Мраморному морю; ему почему-то захотелось пойти против движения: на лицах идущих навстречу людей иногда мелькало выражение недоумения, растерянности. Люди удивлялись тому, что Галип идет наперерез, а он смотрел в их глаза и на их лица, стараясь прочесть тайну.

Большинство из них были одеты в старые потертые пальто и пиджаки. Они ступали по мостовой, и мир для них был столь же обыден, как эта мостовая; однако они не обрели своего места в этом мире. У них был отсутствующий вид, они даже не подозревали, что истинный смысл их жизни таится где-то в далеком прошлом.

Шагающие по мосту люди держали в руках пластиковые пакеты. Он впервые обратил внимание на эти прозрачные пакеты, сквозь которые можно было различить бумажные кульки, какие-то металлические и пластмассовые детали, картонки; Галип внимательно читал надписи на пакетах: ему вдруг показалось, что слова и буквы на них являются знаками, которые укажут на «ту, настоящую» правду; появилась надежда. Но знамение слов и слогов на пакетах, высветившись на мгновение, пропадало, так же как и мелькнувший смысл на проплывающих мимо лицах. Галип старательно читал: «Молочный кисель»... «Атакей»... «Тюрксан»... «Фрукты»... «Часы»... «Дворцы»...

Увидев на пакете у старого рыбака, удящего рыбу, не буквы, а изображение журавля, Галип подумал, что рисунки на пакетах можно читать так же, как и слова. На одном пакете он увидел довольных родителей, уверенно глядящих в мир, а рядом с ними двух детей: девочку и мальчика; на другом было две рыбы; потом он увидел на пакетах обувь, карту Турции, силуэты зданий, пачки сигарет, черных кошек, петухов, подковы, минареты, сладости, деревья. Очевидно, что все они были знаками какой-то тайны, но какой? Перед Ени Джамми он увидел женщину, продающую корм для голубей; на пакете, стоящем рядом с ней, была изображена сова. Галип сразу понял, что это та самая сова – эмблема полицейских романов, которые читала Рюйя, – и почувствовал некую направляющую силу. Стало быть, то, что он пытается обнаружить и расшифровать, составляло часть игры этой силы; это был тайный смысл, на который, кроме него, никто не обращал внимания. Никто, хотя все были окутаны этой забытой тайной!

Чтобы поближе рассмотреть сову, Галип купил у женщины, похожей на ведьму, тарелочку проса. В один миг над зернами образовался черный и некрасивый голубиный круг, словно с шумом раскрылся зонтик. Сова на пакете была та самая, что и на обложках романов, которые читала Рюйя! Неподалеку стояли

родители, счастливо и гордо наблюдавшие, как их маленькая дочка кормит птиц. Им дела не было до совы, воплощающей истину, или других знаков, им вообще ни до чего не было дела, и Галип рассердился на них. Они ни в чем не сомневались, ни о чем, не догадывались. Они забыли все. Галип вообразил себя детективом из романов, которые читала Рюйя, когда ждала его дома. Ясно, что узел была способна развязать лишь скрытая сила, умеющая мастерски выстроить цепочки знаков тайного смысла, и притом оставаться в тени.

Он определил, что клещи означают «внимание», маслины в банке – «терпение», счастливый шофер с рекламы шин – «приближение к цели», одним словом, он медленно и верно приближался к желаемому. Вокруг было еще множество сложных знаков, которые необходимо было разгадать: телефонные кабели, объявление об исполнении обряда обрезания, знаки дорожного движения, упаковки хозяйственного мыла, лопаты без ручек, неразборчиво написанные политические лозунги, номера с подсветкой, стрелки-указатели, чистые листы бумаги... Наверное, спустя какое-то время это все обретет смысл, но пока был только шум, хаос и усталость. Героям романов, которые читала Рюйя, было легче: они жили в спокойном мире, ограниченном набором улик, которые

предоставляли им авторы.

Подходя к рынку, Галип подумал: «Получается, что, когда я читал в первый раз статьи Джелеля, я видел один смысл, а когда читал во второй, возник совершенно иной». Галип не сомневался, что при каждом новом их прочтении будет появляться все новый и новый смысл: и пусть это было похоже на ребусы в детских журналах, но, проходя в открывающиеся одна за другой двери, он приближается к цели. Рассеянно шагая вдоль овощных и фруктовых рядов, Галип подумал, что хорошо бы оказаться там, где он мог бы прочитать все, написанное Джелелем.

... Как же войти в загадочный мир вторых смыслов? Как разгадать их? Ему чудилось, что он уже стоит на пороге открытия нового мира, но никак не может сделать первый шаг, чтобы войти внутрь. В конце романов, которые читала Рюйя, наступала развязка, открывался второй, скрытый до этого момента мир, и тогда первый, ставший неинтересным, отступал в тень. «Убийца – отставной полковник, мстящий за нанесенное ему оскорбление!» – говорила ночью Рюйя, кидая в рот каленый горох, купленный в лавке Алааддина, и Галип понимал, что жена забыла про английских слуг, зажигалки, обеденные столы, фарфоровые чашки и пистолеты, подробным описанием которых изобилывала книга, и вошла в мир нового и тайного смысла,

на который указывали предметы и персонажи. Галип же лишь надеялся в него попасть.

Размышляя об этом, Галип внимательно посмотрел в лицо пожилого старьевщика, расставившего на подстилке очаровательные предметы, словно мог прочесть на его лице тайный смысл.

– Сколько стоит телефон?

– А ты действительно покупатель? – спросил старик, оживляясь.

Неожиданный вопрос по выяснению его статуса поразил Галипа. Он подумал: «Ну вот, меня считают знаком чего-то другого!» Нет, это был не тот мир, куда он хотел войти, ему нужен был мир, созданный Джелялем. Джеляль возводил его годами, подробно перечисляя предметы и рассказывая истории в своей рубрике; Галип чувствовал, что сейчас Джеляль укрылся за стенами этого мира, а ключ спрятал. Лицо старьевщика, вспыхнувшее на миг волнением предстоящей возможности поторговаться, обрело прежнее спокойствие.

Выйдя на мост Ататюрка, Галип решил: «Буду смотреть только на лица». Каждое встреченное лицо порождало новый вопрос, как в переводных комиксах, но с исчезновением его исчезал и вопрос, оставляя лишь маленький след. Он попытался было связать выражение лиц с окружающей панорамой города, но

из этого ничего не вышло. Пожалуй, на лицах прохожих можно было прочесть историю города, его потрясения, бывшее величие, грусть и горечь, но это не указывало на сознательно хранимую тайну, а скорее свидетельствовало о соучастии в истории, поражении, преступлении. В пенистых валах, тянущихся за буксирами, холодная свинцовая голубизна Золотого Рога приобретала пугающий коричневый цвет.

До того как Галип зашел в кофейню в переулке за туннелем (фуникулер, соединяющий район Каракей с проспектом Истикляль.), ему встретилось семьдесят три лица. Довольный увиденным, он сел за столик, заказал мальчишке чай, привычным движением вытащил газету из кармана, снова стал перечитывать статью Джеляля. В статье уже не было ни одного незнакомого слова, фразы или буквы, но, читая, Галип находил подтверждение мыслям, которые прежде никогда не приходили ему в голову. Эти его новые мысли удивительным образом совпадали с мыслями Джеляля. Галип ощутил внутреннее спокойствие, совсем как в детстве, когда он думал, что у него хорошо получается подражать человеку, на месте которого он хотел бы быть.

На столе лежал бумажный кулек. По горьке подсолнечной шелухи нетрудно было догадаться, что лоточник продал семечки тем, кто сидел за этим столом до

Галипа. Кулек был свернут из листка школьной тетради. Он прочитал написанное старательным детским почерком: «6 ноября 1972. Задание: наш дом, наш двор. Во дворе нашего дома растет четыре дерева. Два тополя и две ивы: большая и маленькая. Папа сделал ограду из камней и проволоки. Дом – это убежище, которое зимой защищает людей от холода, а летом – от жары. Дом защищает нас от плохого. У нас в доме одна дверь, шесть окон и две трубы». Под сочинением Галип увидел рисунок дома и деревьев во дворе, раскрашенных цветными карандашами. Черепица была нетерпеливо закрашена красным. Галип увидел, что дверь, количество окон и деревьев соответствуют написанному в сочинении, и ему стало еще спокойнее.

Перевернув листок, он стал быстро писать на обороте. Он не сомневался, что слова, которые он писал на линейках, обозначают нечто реальное, как и слова, написанные ребенком. У него было ощущение, что благодаря этой страничке школьного сочинения он снова обретает слова, утраченные с детства. Мелкими буквами столбиком он набросал кое-какие соображения и, заполнив почти всю страницу, подумал: «Как, оказывается, все просто!» И еще: «Чтобы убедиться, что мы с Джелялем мыслим одинаково, мне надо видеть как можно больше лиц!»

Зайдя в еще одну кофейню, Галип вытащил из кармана домашнее сочинение и стал читать, как статью Джеляля. Теперь он отлично сознавал: если читать подряд написанное Джелялем, можно узнать, где тот находится. Надо только найти место, где хранится весь архив Джеляля. Читая и перечитывая домашнее сочинение, он уверился, что это может быть только дом: «место, которое защищает нас от плохого». Непосредственность ребенка, смело называющего окружающие предметы, обнадеживала, что он вот-вот определит место, в котором ждут его Рюйя и Джеляль. В каждой очередной кофейне он вписывал новые строчки на обратной стороне школьного домашнего сочинения.

К тому моменту, как он снова оказался на улице, некоторые предположения он отменил, другие выплыли на первый план: за городом они быть не могли, потому что Джеляль не любил жить нигде, кроме Стамбула. Вряд ли они были на азиатской стороне: она, по словам Джеляля, была недостаточно «исторической». Не могли прятаться Джеляль и Рюйя у кого-нибудь из друзей: общих друзей у них не было. Вряд ли Рюйя решила бы пойти с Джелялем к кому-нибудь из своих приятелей. Бесполезно искать их в гостиничных номерах, где их не мучили бы воспоминания: мужчина и женщина, даже брат с сестрой, вызва-

ли бы подозрение.

Посидев в очередной раз в кафе, он стал более оптимистично оценивать свое положение. Ключевые слова выглядели простыми и понятными, как домашнее сочинение, на обороте которого он их написал. В дальнем углу кафе по черно-белому телевизору показывали футбольный матч. Футбольное поле было покрыто снегом, пробегающие футболисты оставляли на нем черные дорожки, как линии, прочерченные углем, мяч, катающийся по грязи, был черным. Присутствующие, кроме нескольких человек, играющих в карты за пустым столом, наблюдали за этим черным мячом.

Выходя из кафе, Галип подумал, что тайна, которую он пытается разгадать, так же ясна, как этот черно-белый футбольный матч. Ему надо только идти туда, куда несут его ноги, а по дороге смотреть на изображения и лица. В Стамбуле полно кофеен; заходя через каждые двести метров в кофейню, человек может обойти весь город.

Недалеко от площади Таксим он вдруг оказался в толпе, вышедшей из кино. Лица людей, которые шли, засунув руки в карманы, глядя в землю, или спускались по лестнице, держась под руку, были настолько полны смысла, что собственный кошмар, в котором он жил эти несколько дней, показался ему не та-

ким уж страшным. На лицах у вышедших из кино было написано спокойствие: они забыли о собственных несчастьях, погружившись с головой в чужую жизнь. Они были одновременно и здесь, на этой убогой улице, и там, в той жизни, где им хотелось быть. Их память, набитая неудачами и горечью, сейчас наполнилась чувствами, заглушающими каждодневную тоску. Галип печально подумал: «Эти люди могут верить, что они – другие!» Чтобы стать другим, человек должен приложить все имеющиеся у него силы. Галип был полон решимости собрать всю свою волю для этой цели. «Я – другой!» – сказал он себе и с радостью почувствовал, что изменилась не только обледеневшая мостовая под ногами, не только площадь, увешанная рекламой кока-колы и консервов, но и сам он до кончиков ногтей. И внутри него зазвучала, как новая жизнь, музыка, наполненная воспоминаниями и печалью того, другого человека, которого он не хотел называть по имени.

Он больше не чувствовал необходимости заходить в кофейни, чтобы читать людские лица, и потому направился через Харбие прямо в Нишанташи.

Он решил, что Рюйя с Джелялем в воскресенье пойдут в «Конак» на вечерний сеанс в семь пятнадцать, и помчался к кинотеатру, но ни на улице, ни у входа в кинотеатр их не было.

Побродив еще немного по улицам, он пошел к дому Шехрикальп. Из всех окон домов на улице, кроме окон дома Шехрикальп, лился голубоватый свет телеэкранов: так было каждый вечер в восемь часов. Глядя внимательно на верхние этажи дома Шехрикальп, Галип увидел привязанный к решетке балкона верхнего этажа кусок темно-синей материи. Такого же синего цвета ткань висела на этом балконе и тридцать лет назад, когда в доме жила вся семья: тогда это был знак для водоноса. Человек, развозивший воду в цинковых бидонах на конной повозке, по этим синим тряпицам понимал, на каких этажах кончилась питьевая вода, и соответственно поднимал воду наверх.

Галип стоял, раздумывая о том, что это могло означать: это мог быть знак, что Рюйя и Джеляль здесь, а могло быть приметой того, что Джеляль возвращается к некоторым мелким деталям своего прошлого. Около половины девятого он наконец сдвинулся с места и пошел к себе домой.

Еще совсем недавно вечерами они сидели в этой гостиной с Рюйей, читали газеты и книги, курили; и сама комната и лампы в ней были полны невыносимых воспоминаний и невыносимой грусти, как фотографии потерянного рая, попавшие на страницы газет. Ничто не говорило о том, что Рюйя вернулась или приходила: знакомые запахи и тени приветствовали вер-

нувшегося домой усталого мужа. Оставив сиротливые вещи под печальным светом ламп, Галип темным коридором прошел в темную спальню. Снял пальто и улегся в темноте на кровать. Он лежал на спине; отсвет ламп из гостиной и пробивающийся через коридор свет уличных фонарей превращался на потолке спальни в изображение тонколицего дьявола.

Когда Галип поднялся с постели, он точно знал, что будет делать. Он просмотрел в газетах телепрограмму и программу ближайших кинотеатров; последний раз пробежал глазами статью Джеляля; открыл холодильник, достал давно лежавшие там маслины и брынзу, съел их с черствым хлебом. В большой конверт, найденный в шкафу у Рюйи, сунул несколько газет, написал на конверте имя Джеляля. В четверть одиннадцатого он вышел на улицу, добрался до дома Шехрикальп и стал ждать.

Зажегся свет на лестнице, и неизменный привратник дома Исмаил с сигаретой во рту вытащил бачки и стал высыпать мусор в большой контейнер, стоявший недалеко от каштана. Галип пересек улицу.

– Здравствуйте, Исмаил-эфенди, я принес пакет для Джеляля.

– А-а, Галип, – отозвался привратник с радостью и удивлением директора лица, через многие годы узнавшего старого ученика, – но Джеляля здесь нет.

– Я знаю, знаю, что он здесь, но я никому не говорил. – Галип решительно направился к парадному. – Он сказал мне: смотри никому не говори, что я здесь, а пакет оставь внизу, у Исмаила!

Спустившись по лестнице, пахнувшей, как и раньше, газом и пригорелым маслом, Галип вошел в квартиру привратника. Жена Исмаила, Камер, сидя в том же, что и всегда, кресле, смотрела телевизор, стоявший на подставке, на которой раньше стоял приемник.

– Камер, смотри, кто пришел, – окликнул ее Галип.

– Ах! – воскликнула женщина и встала. Они обнялись. – Совсем вы нас забыли!

– Как можно вас забыть?!

– Все мимо ходят, но никто не заглядывает.

– Я принес это Джелялю! – Галип показал пакет.

– Исмаил сказал?

– Нет, Джеляль сам сказал, – ответил Галип. – Я знаю, что он здесь, но вы никому не говорите об этом.

– Что нам остается, уж так он просил.

– Знаю. Он сейчас наверху?

– Понятия не имею. Приходит поздно, когда мы спим. Уходит рано, когда мы спим.

Мы его не видим, только слышим голос. Забираем мусор, оставляем газеты. Иногда газеты за много дней скапливаются под дверью.

– Я наверх не пойду, – сказал Галип. Он оглядел

квартиру, словно ища место, где бы оставить конверт: обеденный стол под той же голубой клеенкой в клеточку, те же выцветшие занавески, скрывающие ноги прохожих на улице и грязные колеса машин, коробка с шитьем, утюг, сахарница, газовая плитка, батарея с облупившейся краской. На гвозде, вбитом в край полки над батареей, на обычном месте Галип увидел ключ.

– Я заварю тебе чай, садись вот сюда, на кровать. – Одним глазом она посматривала на экран. – Что делает Рюйя-ханым? Почему у вас до сих пор нет детей?

На экране, который теперь поглощал все внимание Камер, появилась девушка, отдаленно напоминающая Рюйю: волосы непонятного цвета растрепаны, кожа белая, взгляд наигранно ребяческий. Со счастливым выражением она красила губы.

– Красивая женщина, – тихо сказал Галип.

– Рюйя-ханым красивее, – так же тихо возразила Камер.

Они вместе смотрели на женщину с восхищением и некоторой робостью. Галип ловким движением сдержнул ключ с гвоздя и опустил в карман, где лежал листок с домашним сочинением школьника и его пометками. Привратница ничего не заметила.

– Куда положить конверт?

– Давай мне.

Через маленькое окошко, выходящее на дверь в парадное, Галип увидел, что Исмаил вошел в дом и направился к лифту, чтобы поставить на место пустые мусорные бачки. Свет в лифте дрогнул, на миг ухудшилось изображение в телевизоре; Галип встал и попрощался с Камер. Топая, он поднялся по лестнице к входной двери. Открыл дверь и, не выходя, с шумом закрыл. Потом тихонечко вернулся к лестнице и на цыпочках, с волнением, с которым никак не мог совладать, поднялся на два этажа вверх. Сев на ступеньки между вторым и третьим этажом, он стал ждать, когда на лифте спустится Исмаил, расставлявший баки по верхним этажам. Одновременно на всех этажах погасли лампы. «Автоматика!» – пробормотал Галип, вспомнив это волшебное и зовущее в далекие страны слово из своего детства. Лампочки зажглись снова. Когда лифт – слышно было, как привратник вошел в него, – двинулся вниз, Галип стал медленно подниматься наверх. На двери этажа, где одно время он жил с родителями, поблескивала медная табличка адвоката. На двери этажа, где жили Дедушка с Бабушкой, он увидел табличку гинеколога, а перед дверью – пустой бак.

На двери Джеляля не было никакой таблички. Привычной рукой старательного инспектора, принесшего квитанцию за газ, Галип нажал кнопку звонка. Когда

он позвонил второй раз, лампочки на лестницах опять погасли. Из-под двери не было видно никакого света. Нажимая на звонок третий и четвертый раз, он пытался нащупать ключ в кармане; когда он нашел ключ, звонок еще продолжал звонить: «Прячутся в одной из комнат, – подумал Галип, – или сидят в гостиной друг против друга и молча ждут». Ключ никак не влезал в замок, Галип даже подумал, что это не тот ключ, но вдруг он с какой-то поразительной легкостью встал на место: так бывает с памятью, в которой все перепутано, а потом неожиданно наступает момент просветления. Галип понял, что дверь в темную квартиру открылась, а потом услышал, как в темной квартире зазвонил телефон.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Дом-призрак

И тут у него в душе стало пусто, как в доме, откуда вынесли все вещи.

Флобер

Телефон зазвонил через несколько секунд после того, как открылась дверь, но Галип вдруг забеспокоился, подумав, что между дверью и телефоном есть автоматическая связь, как в фильмах о гангстерах, и телефонный звонок показался ему сигналом тревоги. На третьем звонке Галипу почудилось, что сейчас на него наткнется Джеляль, спешащий к телефону; на четвертом он решил, что в квартире никого нет; на пятом – что кто-то здесь все же есть, потому что так долго могут звонить, только если знают, что хозяйева дома. На шестом звонке Галип бросился к телефону: он стал нащупывать выключатели, пытаясь вспомнить расположение мебели в этом полузабытом жилище, где был последний раз пятнадцать лет назад, в спешке спотыкался обо что-то, ударяясь о какие-то вещи. Наконец он добрался до телефонного аппарата

и снял трубку. Тело само нашло кресло и опустилось в него.

– Алло!

– Вы все-таки подошли, – сказал незнакомый голос.

– Да.

– Джеляль-бей, я давно вас ищу. Извините, что беспокою в столь поздний час. Мне надо увидеть вас как можно скорее.

– Простите, кто говорит?

– Много лет назад мы познакомились на балу в честь Дня Республики. Я сам представился вам, но скорее всего вы теперь не помните этого. Потом я написал вам два письма под вымышленными именами, которых сейчас не помню: одно касалось возможно сти раскрытия тайны смерти султана Абдулхамида, другое относилось к делу студентов, известному как «сундучное убийство» (Громкое убийство, совершенное в Стамбуле в 1970-х гг., которое было раскрыто после обнаружения трупа в сундуке). Я дал вам понять, что в этом деле присутствовал некий агент, который потом исчез, и вы, с вашим глубоким умом, поняли суть проблемы и посвятили ей статью.

– Чего вы хотите?

– Передо мной сейчас другое досье.

– Оставьте в редакции.

– Я знаю, что вы давно не ходите в редакцию. К то-

му же не уверен, что могу доверить работающим в газете материалы на такую острую тему.

– В таком случае оставьте привратнику.

– Я не знаю вашего адреса. Справочная дает номера телефонов, но не дает адресов. Этот телефон вы зарегистрировали на другое имя. В справочнике вообще нет телефона на имя Джеляля Салика. Есть телефон Джалалиддина Руми, наверняка псевдоним.

– А тот, кто дал вам телефон, не дал адреса?

– Нет.

– Кто вам дал телефон?

– Наш общий друг. Об этом я тоже хотел бы рассказать вам при встрече. Я давно вас ищу. Использовал самые невероятные возможности. Звонил вашим родственникам. Встретился с тетей, которая вас так любит. Я ходил в те места, которые – я знал это из ваших статей – вы любите, в надежде встретить вас: на улицу Куртулуш, в квартал Джихангир, в кинотеатр «Конак». Пока я искал вас, я узнал, что группа английских телевизионщиков, остановившаяся в отеле «Пера палас», тоже ищет вас, как и я. Вы знаете об этом?

– Что у вас за досье?

– Не хочу говорить по телефону. Дайте адрес, и я тотчас приеду. Вы ведь в Нишанташи, да?

– Да, – сказал холодно Галип, – но меня эти темы больше не интересуют.

– Как?

– Если бы ты внимательно читал мои статьи, ты бы понял, что подобными сюжетами я больше не занимаюсь.

– Нет-нет, эта тема как раз для вас. И с английскими телевизионщиками вы можете обсудить ее. Адрес.

– Извини, – сказал Галип с удивившей его самого веселостью, – я больше не встречаюсь с любителями литературы.

Он спокойно положил трубку. Протянул руку и включил лампу. Удивление и ужас, которые он испытал, когда комната осветилась бледным оранжевым светом, он потом определит как мираж.

Комната была абсолютно такой же, как двадцать пять лет назад, когда Джеляль жил здесь холостым журналистом. Ничего не изменилось: вещи, занавески, цвета, тени, запахи, даже лампа на том же месте. Некоторые новые вещи будто играли с Галипом в игру, имитируя старые, стараясь убедить его, что этих двадцати пяти лет как бы и не было. Но, приглядевшись повнимательнее, он поверил, что вещи не играют, а время, прошедшее с его детства до сегодняшнего дня, вдруг – словно по мановению волшебной палочки – куда-то исчезло. Вещи, на которые он наткнулся в тревожной темноте, не были новыми. Они предстали перед ним такими, какими он видел их в

последний раз, они постарели вместе с его воспоминаниями, некоторые из них должны бы были развалиться, и вдруг – вот они, у него перед глазами. Старые столы, выцветшие занавески, грязные пепельницы, усталые кресла не покорились времени и судьбе, которую predeterminedил для них Галип после того дня (дня, когда дядя Мелих с семьей приехал из Измира и поселился в доме); они словно восстали против уготованной им доли и пытались жить собственной жизнью. Галип ужаснулся, убедившись в том, что все вещи стоят именно так, как стояли, когда Джеляль был начинающим журналистом и жил здесь с матерью.

В одной из последних статей Джеляль написал: «Некоторые вещи мы просто не помним, а про некоторые вещи мы даже не помним, что не помним их. Их надо найти!» Галип все еще сидел в пальто в старом кресле и, когда снова раздался звонок, машинально протянул руку к знакомому телефонному аппарату: он был уверен, что сможет говорить голосом Джеляля.

Голос в трубке был тот же. На этот раз по просьбе Галипа он представился: Махир Икинджи. Имя ни о чем не говорило Галипу.

– Они готовят военный переворот. Маленькая религиозная организация внутри армии. Новая секта. Они верят в Махди. Верят, что время пришло. К тому же руководствуются твоими статьями.

– Я никогда не занимался такими вздорными делами.

– Занимался, Джеляль-бей, занимался. Сейчас ты пишешь, что ничего не помнишь: то ли потерял память, то ли хочешь все забыть. Просмотри свои старые статьи, почитай их – вспомнишь.

– Не вспомню.

– Вспомнишь. Насколько я тебя знаю, ты не из тех, кто может спокойно сидеть в кресле, получив известие о готовящемся военном перевороте.

– Был не из тех. Сейчас я совсем другой.

– Я приеду к тебе сейчас, напомню прошлое, воскрешу забытые тобой воспоминания. Ты поймешь в конце концов, что я прав, и возьмешься за это дело.

– Я бы хотел, но не могу с тобой увидеться.

– Я с тобой увижусь.

– Если сможешь найти мой адрес. Я никуда не выхожу.

– Послушай, в стамбульском телефонном справочнике триста десять тысяч абонентов. Поскольку я знаю три первые цифры, я могу быстро – пять тысяч номеров в час просмотреть справочник. Это значит, что самое большее через пять дней я найду и твой адрес, и твое вымышленное имя, которое меня так интересует.

– Зря стараешься! – сказал Галип, пытаясь придать

уверенность голосу. – Этого номера в справочнике нет. – И отключил телефон.

Галип долго сидел в кресле. Потом стал обследовать другие комнаты квартиры-призрака, в которой Джеляль воссоздал обстановку своего детства и юности: вдруг что-то укажет ему на место, где скрываются Джеляль с Рюей. В течение двух часов он был скорее увлеченным почитателем, осматривающим с любовью и восхищением музейные экспонаты, чем детективом поневоле, ищущим следы пропавшей жены; осмотрев комнаты и коридоры дома-призрака, исследовав шкафы, он получил следующие результаты предварительного расследования.

Судя по двум чашкам, стоящим на подставке, которую он опрокинул, когда пробирался в темноте по коридору, Джеляль приводил кого-то в дом. Хрупкие чашки разбились, и нельзя было попробовать тонкий слой осадка и сделать из этого какой-либо вывод (Рюя всегда пила очень сладкий кофе). Судя по последнему номеру из скопившихся под дверью газет «Миллиет», Джеляль заходил в эту квартиру в день, когда исчезла Рюя. Около старой пишущей машинки «ремингтон» лежала газета за тот день со статьей «Когда отступили воды Босфора», где его решительным почерком зеленой ручкой были исправлены опечатки. В шкафах у входной двери и в спальне не было

ничего указывающего на то, что Джеляль отправился в путешествие или надолго ушел из дома. Армейская пижама в голубую полоску, обувь со свежими следами грязи, темно-синее пальто, которое он часто надевал в такую погоду, зимний жилет, несчетное количество белья (в одной из статей Джеляль писал, что разбогатевшие после проведенных в нищете детства и юности мужчины в зрелом возрасте покупают трусы и майки в таких количествах, что большинство из купленного они не успевают надеть), грязные носки в пакете для стирки— обычный дом человека, который в любую минуту может вернуться с работы.

Галипа ошеломило навалившееся на него прошлое, он почувствовал горечь, когда вспомнил о вещах, которые не помещались в доме, были проданы старьевщику и, качаясь в его конной повозке, отправились в забвение, аллах знает в какие дальние края; немного придя в себя, он пошел в коридор, туда, где увидел единственное «новое» в доме — длинный застекленный шкаф, занимающий стену между кухней и уборной. После не слишком долгих изысканий он нашел на полках, где царил исключительный порядок, следующее: вырезки газетных новостей и репортажей Джеляля — начинающего корреспондента; вырезки всех статей, написанных «за» и «против» Джеляля, все статьи и фельетоны, написанные Дже-

лялем под псевдонимами; все статьи рубрики, которую Джеляль вел под своим именем; вырезки подготовленных Джелялем для публикации материалов в разделах: «Хочешь – верь, хочешь – не верь», «Разгадываем ваши сны», «Сегодня в истории», «Невероятные происшествия», «Читаем ваш почерк», «Ваше лицо, ваша личность», "Кроссворды и ребусы"; вырезки интервью с Джелялем; материалы, не пошедшие в печать; какие-то наброски; десятки тысяч газетных вырезок и фотографий, которые он собирал годами и хранил; тетради с записями снов и всяких фантазий; тысячи читательских писем, уложенных в коробки из-под орешков, засахаренных каштанов и обуви; романы с продолжением, полностью или частично написанные Джелялем под псевдонимами; копии сотен писем, написанных Джелялем; сотни журналов, брошюр, книг, школьных и военных ежегодников; коробки, набитые фотографиями людей, вырезанными из газет и журналов; порнографические фотографии; рисунки странных животных и насекомых; две большие коробки со статьями и публикациями о хуруфизме и науке о буквах; корешки старых автобусных билетов, билетов в кино и на футбольные матчи, испещренные знаками, буквами, какими-то символами; альбомы с фотографиями и пачки фотокарточек, не вклеенных в альбом; грамоты, полученные от журналистских об-

ществ; вышедшие из употребления деньги, турецкие и царской России; телефонные и адресные книжки.

Взяв три адресные книжки, Галип вернулся в гостиную, снова сел в кресло и стал внимательно просматривать их, страницу за страницей. Минут через сорок он понял, что с людьми, адреса и телефоны которых здесь указаны, Джеляль общался в пятидесятые – шестидесятые годы, и через них Рюю и Джеляля он найти не сможет: номера телефонов давно изменились вместе с адресами хозяев, старые дома которых, скорее всего, пошли на снос. Он снова отправился к застекленным полкам шкафа, нашел письмо Махира Икинджи по поводу «сундучного убийства», о котором когда-то говорил Джеляль, и другие письма, полученные Джелялем в семидесятые годы, прихватил и статьи на эту тему и начал все это читать.

Галип с лицейских лет знал некоторых людей, причастных к событиям, к политическому убийству, которое прошло в газетах как «сундучное убийство». У Джеляля были другие мотивы интересоваться этим сюжетом: он говорил, что все на свете является подражанием чему-то, что уже было, и в нашей стране одаренные молодые люди, сами того не сознавая, повторили с точностью до мелочей действия такой же группы заговорщиков из романа Достоевского «Бесы». Перелистывая письма того времени, получен-

ные Джелялем, Галип вспомнил, как несколько вечеров Джеляль рассуждал на эту тему. Те неприятные, холодные, без солнца дни хотелось забыть, и он забыл их: Рюйя тогда была замужем затем «очень хорошим» парнем, к которому Галип испытывал нечто среднее между уважением и презрением; Галип тогда не сумел подавить любопытства, о чем впоследствии весьма сожалел; он слушал сплетни, пытался понять, что к чему, но получал сведения не столько о счастливой жизни молодоженов, сколько о последних политических событиях. Зимним вечером, когда Васыф привычно кормил японских рыбок (красные wakin и watonai с облезлыми по причине брачного периода хвостами), а тетя Хале разгадывала кроссворд, изредка поглядывая в телевизор и устремив взор в холодный потолок холодной комнаты, умерла Бабушка. Рюйя тогда пришла на похороны в выцветшем пальто и блеклом платке, одна (дядя Мелих, открыто ненавидящий зятя-провинциала, сказал, что так оно и лучше, выразив тем самым мысли Галипа), и быстро ушла. После похорон Галип как-то встретился с Джелялем, и тот стал интересоваться, не знает ли Галип чего-нибудь о «сундучном убийстве»; однако он не узнал того, что хотел: читал ли кто-нибудь из знакомых Галипу политизированных молодых людей книгу русского писателя? «Все убийства, – сказал в тот вечер Дже-

ляль, – как и все книги, повторяют друг друга».

Далеко за полночь, когда Галип просматривал вынутые из шкафа статьи Джеляля, свет ламп начал тускнеть, как в театре перед открытием занавеса, мотор холодильника простонал печально и устало, как старый, набитый до отказа грузовик, переключающий скорость на крутом подъеме, и стало темно. «Сейчас включат», – понадеялся Галип, привыкший, как все Стамбульцы, к отключению электричества, и довольно долго неподвижно сидел в кресле, держа папки, набитые газетными вырезками. Он слушал давно забытые звуки дома: бульканье в батарее, поскрипывание паркета, стон в кранах и трубах, глухое тиканье часов, пугающий гул, доносящийся с улицы. Прошло много времени, пока он в темноте на ощупь добрался до комнаты Джеляля, улегся, но заснуть сразу не смог.

Кто убил Шемса Тебризи?

Сколько буду я искать тебя от дома к дому, от двери к двери? Сколько буду искать от угла к углу, от улицы к улице?

Мевляна

Галип проснулся поздно утром; свет старой лампы, свисающей с потолка, напоминал цвет пожелтевшей бумаги. Не снимая пижаму Джеляля, в которой он спал, Галип обошел квартиру, погасил все включенные лампы, взял просунутый под дверь номер «Миллиет», сел за рабочий стол Джеляля и стал читать: увидев в статье опечатку, которую он заметил еще в субботу, когда был в редакции (вместо «вы были самими собой», было написано «мы были самими собой»), он потянулся к ящику стола, нашел зеленую ручку и исправил опечатку. Откладывая статью, он подумал, что Джеляль каждое утро в этой пижаме в голубую полоску садился за этот стол и закуривал, внося правку в статью этой самой ручкой.

Он был убежден, что все идет как надо. С аппетитом завтракая, как человек, который хорошо выспался и уверенно начинает новый день, он был самим собой и не ощущал потребности быть кем-то другим.

Приготовил кофе, достал из шкафа несколько коробок со статьями, газетными вырезками, письмами и водрузил их на стол. У него не было сомнения, что, внимательно прочитав лежащие перед ним бумаги, он найдет то, что ищет.

С одинаковым интересом он читал воспоминания помощника механика, водившего первый появившийся в Стамбуле «форд» модели "Т", и рассуждения о необходимости поставить в каждом районе Стамбула башню с музыкальными часами; в одной статье объяснялось, почему в Египте были запрещены те места сказок из «Тысячи и одной ночи», где изображались свидания гаремных женщин с черными рабами; далее шли разглагольствования о том, как удобно спрыгивать на ходу из старого трамвая на конной тяге, рассказ о том, почему из Стамбула улетели попугаи, а вместо них прилетели вороны, отчего в городе начались снегопады.

Он вспоминал, как читал эти статьи в первый раз, а сейчас делал заметки на клочке бумаги, иногда перечитывал какие-то абзацы, предложения; прочитанные складывал в коробки и с волнением доставал новые.

Солнце двигалось в сторону дома напротив; постепенно оптимизм Галипа стал улетучиваться. Вещи, слова, понятия как будто оставались на своих местах, но чем больше он читал, тем больше чувствовал, как ускользает прочная нить, связывающая их с Джелялем. Читая письма, вынутые из другой коробки, он, почти как в детстве, восхищался и радовался, что такие разные люди проявляют интерес к Джелялю: в письмах просили денег, обвиняли друг друга, сообщали,

что жены других журналистов, с которыми авторы писем полемизировали, – проститутки, доносили о заговорах тайных сект, о взятках, получаемых монополистами, выражали свою любовь и ненависть; чтение писем не принесло Галипу успокоения, напротив, усилило нарастающую в нем неуверенность.

Наверно, это было связано с тем, что по мере чтения менялся образ Джеляля, существовавший в его представлении. Утром все вещи и предметы были продолжением понятного мира, Джеляль же в своих статьях неизменно подчеркивал «неизвестные» стороны жизни. После обеда Галип понял, что Джеляль в его представлении перестал быть такой совершенной личностью, как прежде. Стол, за которым он сидел, мебель вокруг и вся комната изменились. Вещи стали опасными, совсем не дружественными знаками мира, который не откроет так просто своих тайн.

Эта перемена была как-то связана с тем, что Джеляль написал о Мевляне, и Галип решил заняться этой темой. Он вытащил все статьи Джеляля о Мевляне и стал читать их.

К самому значительному в истории поэту-мистику Джеляля привлекали не стихи, написанные в Конье (Конья – город в Турции, где долгие годы жил и умер Д. Руми и где сейчас находится его музей.) в тринадцатом веке по-персидски, и не знаменитые строки,

отобранные как примеры для преподавания на уроках в средней школе. Мевлевийские радения (Исполнение традиционного обряда дервишей ордена мевлеви – танца «вертящихся дервишей»), на которых зарабатывали туристические фирмы и изготовители рекламных открыток, интересовали его не больше, чем отделанные перламутром старые книги посредственных писателей. В течение семисот лет после смерти Мевляны о его ордене и творчестве, получивших широкое распространение, были написаны десятки тысяч томов толкований; Джеляль-журналист испытывал неизменный интерес к его личности. Больше всего в Мевляне Джеляля интересовала мистическая и сексуальная связь с некоторыми мужчинами в разные периоды жизни и то, какое отражение нашло это в его поэтических произведениях.

В Конье, где Мевляна получил по наследству от отца звание шейха, его любили не только его мюриды, но обожал весь город; уже немолодой Мевляна попал под влияние бродячего дервиша' Шемса Тебризи, чьи взгляды на жизнь были совершенно не похожи на его собственные. Джеляль считал, что это обстоятельство невозможно понять без нового подхода. И свидетельством тому были усилия толкователей, на протяжении семисот лет пытавшихся объяснить эти отношения. После того как Шемс пропал

или был убит, Мевляна, вопреки недовольству других юридов, приблизил к себе обыкновенного, ничем не примечательного ювелира. Джеляль полагал, что такой выбор – знак, указывающий на нравственное состояние самого Мевляны, а не показатель чрезвычайно сильного влияния Шемса из Тебриза, как это пытались доказать все толкователи. После того как умер второй «близкий друг», его место занял третий, такой же заурядный.

Джеляль считал, что выдумывать невесть что, пытаясь сделать непонятное понятным, наделять каждого из приближенных Мевляной к себе трех халифов² несуществующими добродетелями, а тем более выстраивать фальшивое генеалогическое древо, приобщая халифов к роду Мухаммеда и Али – а это продолжалось на протяжении веков, – значило упускать что-то очень важное в Мевляне, нашедшее отражение в произведениях поэта. Джеляль посвятил Мевляне воскресную статью в день ежегодных памятных церемоний, устраиваемых в Конье. Когда Галип читал статью в детстве, она показалась ему скучной, как и все статьи на религиозные темы, он запомнил ее лишь потому, что в том же номере газеты были изображены только что выпущенные марки с портретом Мевляны (розовая – за пятнадцать курушей³, голубая – за тридцать и самая редкая, зеленая – за шестьде-

сят); сейчас, спустя двадцать два года, когда он перечитал статью, он почувствовал, что все окружающее предстало в новом свете.

Джеляль верил, что Мевляна, как об этом тысячи раз писали толкователи, поддался влиянию бродячего дервиша Шемса Тебризи сразу, как только увидел его в Конье. Но не потому, что из диалога, начавшегося вопросом, заданным Шемсом Тебризи, Мевляна понял, что дервиш-ученый человек. Даже в наиболее ортодоксальных книгах разговор между ними представляется как самый рядовой, один из тысяч образцов «смирения и скромности». Если Мевляна действительно такой ученый человек, как утверждают, на него не могла оказать воздействие такая обычная беседа, однако он мог сделать вид, что оказала.

Именно так он и поступил. Он сделал вид, будто открыл в Шемсе глубокую, сильную духом личность. По мнению Джеляля, в тот дождливый день Мевляна, которому было сорок пять лет, испытывал потребность встречи с кем-то, в ком увидел бы отражение самого себя. Поэтому, встретившись с Шемсом, Мевляна вообразил, что это именно тот человек, которого он ищет, а уж убедить Шемса, что он высокодуховная личность, было совсем не трудно. Сразу после встречи 23 октября 1244 года они закрылись в келье медресе и ни разу не вышли оттуда в течение шести

месяцев. Чтобы не сильно гневить верующих читателей, Джеляль осторожно касается «светского» вопроса, которого редко касаются толкователи и исследователи: что делали они в этой келье шесть месяцев, в чем разговаривали, – а потом переходит к основной теме.

Мевляна всю жизнь искал «другого», кто вдохновит его, заставит действовать, искал зеркало, которое отразит его лицо и душу. Поэтому то, что они говорили и делали в келье, было словами, делами, голосами или одного человека, который воплотился в образы сразу нескольких людей, или нескольких людей, которые слились в образ одного человека. Чтобы противостоять восхищению окружающих его глупых (и вездесущих) мюридов и удушающей атмосфере анатолийского города тринадцатого века, поэту нужны были люди, за которыми он мог бы при необходимости укрыться, спрятаться, как в хранившихся в шкафу одеяниях. В другой статье Джеляль повторил это соображение, написав, что Мевляна вел себя как падишах, не выдерживавший груза власти в дикой стране среди подхалимов и хранивший крестьянскую одежду в шкафу, чтобы, надев ее, найти успокоение в ночных прогулках.

Через месяц после публикации этой статьи, на которую, как и ожидал Галип, фанатичные читатели от-

кликнулись письмами, где угрожали автору смертью, а светские читатели поздравлениями, Джеляль снова затронул эту тему, хотя владелец газеты просил к ней не возвращаться.

Новую статью Джеляль начал с обстоятельств, которые знали все мевлевиты: других мюридов мучила зависть из-за того, что Мевляна так приблизил к себе этого дервиша, какую-то темную личность, и они пригрозили Шемсу смертью. После этого утром 15 февраля 1246 года (Галип очень любил пристрастие Джеляля к точным датам, как в лицейских учебниках по истории) Шемс исчез из Коньи. Мевляна не мог пережить отсутствия своего любимого второго "я". Получив письмо от Шемса из Дамаска, он предпринял все возможное, чтобы вернуть свою «любовь» (Джеляль сознательно писал это слово всегда в кавычках, чтобы еще больше заинтриговать читателей) и тут же женил «любимого» на одной из своих приемных дочерей. Но это не убавило зависти мюридов, и вскоре, в последний четверг декабря месяца 1247 года, группа заговорщиков – среди них был и сын Мевляны Алааддин – устроила Шемсу засаду и заколола его ножами; труп в ту же холодную и дождливую ночь был брошен в колодец неподалеку от дома Мевляны.

Джеляль рассказывал о Мевляне так, будто рассказывал о себе; пользуясь незаметной читателю вол-

шебной игрой слов, он превращался в Мевляну. Галип убедился в этом, видя, как повторяются в неизменном виде предложения и даже целые абзацы в «исторических» статьях о Мевляне и тех, где Джеляль писал о себе. Подтверждение этой пугающей игры Галип нашел в личных его тетрадах, неопубликованных черновиках, беседах на исторические темы, эссе о Шейхе Галипе, толкованиях снов, воспоминаниях о Стамбуле и многих других статьях. В рубрике «Хочешь – верь, хочешь – не верь» Джеляль написал сотни историй о королях, которые представляли себя кем-то другим, о китайских императорах, которые, чтобы стать другими, сжигали свои дворцы, о падишахах¹, для которых переодевание и хождение в народ стало чем-то вроде болезненной страсти, и они проводили много времени вне дворцов, забросив государственные дела. В одной тетради Галип прочитал недописанные рассказы, похожие на воспоминания, где Джеляль в обычный летний день видел себя поочередно Лейбницем, знаменитым богачом Джевет-беем, Мухаммедом, владельцем газеты, Анатолем Франсом, хорошим поваром, знаменитым имамом-проповедником, Робинзоном Крузо, Бальзаком и еще шестью людьми, о чем писал с некоторым смущением. Галип увидел карикатуры на Мевляну, изображаемого на марках и плакатах; попался ему также

не очень удачно выполненный рисунок гробницы, на которой было написано: Мевляна Джеляль. А одна из ненапечатанных статей начиналась словами: «Месневи», книга, которую называют самым великим произведением Мевляны, от начала и до конца – плагиат!"

Перелистывая «Месневи», Галип увидел, что Джеляль отчеркнул непристойные места, некоторые страницы были испещрены вопросительными знаками, междометиями, исправлениями, а отдельные абзацы даже гневно вычеркнуты зеленой ручкой. Прочитав эти страницы с густыми пометками Джеляля, Галип понял, что многие статьи, которые он в детстве и юности читал как оригинальные сочинения Джеляля, на самом деле взяты из «Месневи» и приспособлены к Стамбулу двадцатого века.

Галип вспомнил, что Джеляль мог часами говорить о подражании в искусстве, утверждая, что только в этом – настоящее мастерство; пока Рюйя поглощала купленные по дороге пирожные, Джеляль рассказывал, что многие, а может быть, и все публицистические статьи он пишет с помощью других, и добавлял, что важно не создать нечто совсем новое, а вытащить из забвения то гениальное, что создавали тысячи умов на протяжении тысячелетий и на основании этого сказать что-то свое.

Галип вернулся к колодцу с пауками, куда был брошен труп Шемса. Мевляна, потеряв «друга и любимого», обезумел от горя. Он не верил, что Шемс убит и брошен в колодец, мало того, он гневно обрушивался на тех, кто хотел показать ему этот колодец, находящийся у него под носом, он придумывал всякие предлоги, чтобы искать «любимого» в других местах: разве не мог Шемс отправиться в Дамаск, как это было, когда он исчез в первый раз?

Мевляна отправился в Дамаск и начал искать «любимого» на улицах города. Он обошел все улицы, проверил каждый дом, каждое питейное заведение, каждый угол, заглянул под каждый камень, навестил старых друзей «любимого», общих знакомых, мечети, обители, места, которые тот любил, в общем, проверил все, что было можно; через какое-то время искать стало чем-то вроде самоцели, более важным, чем найти. В этом месте статьи читатель попадал в пронизанный мистикой и пантеизмом мир, где были летучие мыши, розовая вода и наркотики, где главным был не исчезнувший любимый, а любовь как повод, где тот, кого ищут, и ищущий менялись местами и главным было не найти любимого, а поиск, движение к цели. Далее проводилась параллель между приключениями поэта на улицах города и ступенями, которые следовало преодолеть вступающему в орден на пути

к совершенству: изумление, когда он узнал, что любимый сбежал, и начало поисков соответствуют ступени отрицания утверждения; хождение по местам, где бывал Шемс и жгли душу горькие воспоминания, где можно было встретить его друзей и врагов, соответствует ступени испытаний. И если сцена в публичном доме – это растворение в любви, то исчезновение в долине тайн, о чем писал Аттар (Фарид ад-дин Аттар (ок. 1142-1220) – знаменитый персидский поэт-мистик) , означало – потеряться в раю и аду строк, содержащих игру слов, литературные ловушки и псевдонимы, вроде зашифрованных в письмах, которые были обнаружены в доме Хал-ладж-и-Мансура (Халладж-и-Мансур (857-922) – персидский мистик.) после его смерти. «Любовные истории», которые рассказывают посетители питейного заведения, взяты у Аттара из поэмы «Беседа птиц»; из той же книги и образ поэта, бродящего среди лавок и домов по улицам города, полным тайн; поэта вдруг осеняет: то, что он ищет на горе Каф, – это он сам, это пример, абсолютного отождествления (абсолютного растворения).

В длинной статье Джеляля приводились эффектные строки аруза (Аруз – система стихосложения в арабской, персоязычной и тюркоязычной поэзии.), написанные другими суфиями по поводу единства того, кого ищут, и того, кто ищет. Джеляль ненавидел сти-

хотворные переводы, поэтому вставил прозаический перевод знаменитой строки Мевляны, уставшего от многомесячных поисков в Дамаске. «Оказывается, я – это он! – сказал поэт в один из дней, когда заблудился в лабиринтах города. – Зачем тогда я ищу?» В этом месте статьи Джеляль изложил известный всем мевлевитам факт: после явившегося ему откровения Мевляна собрал все свои стихи, написанные в тот период, в книгу, которую озаглавил «Диван Шемса Тебризи».

В этой истории Галипа, как в детстве, больше всего заинтересовала детективная часть сюжета. Джеляль приходил к выводу, вызвавшему гнев религиозных читателей и радость светских читателей-республиканцев: «Мевляна сам повелел убить Шемса и бросить его в колодец!» Свое мнение Джеляль обосновал с помощью доводов, к которым часто прибегали прокурор и полицейские в те времена, когда он в пятидесятые годы работал корреспондентом в Бейоглу и министерстве юстиции. С уверенностью прокурора Джеляль заявлял, что из убийства любимого самую большую пользу извлекал Мевляна: из рядовых хаджи⁴ он попал в ряд крупнейших мистических поэтов, а потому больше всех этого убийства желал именно он. Шаткий юридический мостик между «хотеть» и «осуществить» Джеляль преодолевает, показывая, что неже-

лание Мевляны верить в смерть, потеря им рассудка, отказ взглянуть на труп в колодце, являются выражением чувства вины, которое, как известно, часто испытывают убийцы, совершившие преступление впервые; далее Джеляль переходит к новой теме: что же означают поиски, которые после убийства месяцами ведет преступник в Дамаске, подолгу бродя по одним и тем же улицам из конца в конец города?

По карте Дамаска, которую Галип нашел в коробке, где хранились билеты на давние футбольные матчи (Турция – Венгрия, 3 : 1) и в кино («Женщина в окне», «Возвращение домой»), и по некоторым заметкам в тетрадах Галип понял, что этой темой Джеляль занимался гораздо больше, чем могло показаться при чтении статьи. Маршруты Мевляны в Дамаске были отмечены зеленой авторучкой. Поскольку Мевляна не мог искать Шем-са, зная, что тот убит, он должен был заниматься в городе чем-то другим; чем же? Был отмечен каждый уголок города, куда заглядывал поэт; названия кварталов, домов, караван-сараев, мейхане, куда он заходил, были написаны на обороте карты. В буквах и словах, составляющих эти названия, выписанные одно под другим, Джеляль пытался выискать какой-то смысл, искал в них тайную симметрию.

Уже вечером Галип нашел карту Каира и выпущенный в 1934 году стамбульским муниципалитетом «Гид

по Стамбулу»; они лежали в коробке, где хранились всякие мелочи, попавшие в руки Джеляля в те дни, когда он опубликовал статью о детективных историях в сказках «Тысячи и одной ночи» («Али Зайбак», «Ловкий вор»). Места действия сказок были отмечены на карте Каира зеленой авторучкой. На картах городского путеводителя он тоже увидел зеленые стрелки, правда нанесенные другой ручкой. Следя за продвижением зеленых стрелок по разложенным перед ним картам, Галип обнаружил, что видит географию своих прогулок по городу. Он пытался убедить себя, что заблуждается, что зеленые стрелки указывают на дома, в которых он не был, мечети, куда не заходил, подъезды, по которым не поднимался, но понимал, что он был в соседних домах, заглядывал в мечети, находящиеся рядом с указанными на карте, взбирался на отмеченные холмы, хотя и по другим улицам: словом, карта ясно показывала, что немало людей бродили по Стамбулу одними и теми же маршрутами.

Он решил сравнить карты Дамаска, Каира и Стамбула, как об этом писал когда-то Джеляль, вдохновленный Эдгаром По. Для этого пришлось из книги-путеводителя вырезать карты; на лезвии, взятом из ванной, сохранилось несколько волосков – доказательство того, что оно скользило по подбородку Джеляля. Когда карты легли рядом, он сначала не мог сообра-

зять, как сопоставить нанесенные на них черточки и значки. Потом он поступил так, как они поступали с Рюйей в детстве, когда перерисовывали картинки из журналов: он наложил карты одну на другую на стекло двери гостиной, направил с противоположной стороны свет от лампы и стал рассматривать. Потом разложил карты на столе, том самом, где мать Джелиля когда-то раскладывала выкройки, и стал смотреть, пытаясь вычислить недостающие части ребуса. Единственное, что ему удалось разглядеть в наложенных одна на другую картах, было едва различимое лицо очень старого человека, морщинистое и незнакомое.

За завтраком он осознал, почему испарился оптимизм, с которым он садился за письменный стол: после восьми часов чтения его представление о Джелиле в корне переменялось; таким образом, он и сам словно бы стал другим. Еще совсем недавно он верил в мир, простодушно думал, что, усердно работая, он разгадает главную тайну, которую этот мир прячет от него, и ему совершенно не хотелось быть кем-то другим. Но внезапно статьи и все предметы в этой комнате, которую он, казалось, так хорошо знал, превратились в непонятные объекты неведомого непостижимого мира, и Галипу захотелось лишь одного: избавиться от человека внутри себя, так безнадежно смотрящего на мир, он жаждал стать другим. Когда он на-

чал читать некоторые воспоминания Джеляля, чтобы ухватить нити, которые помогут ему лучше раскрыть отношение Джеляля к Мев-ляне и ордену мевлеви, в городе наступило время ужина, из окон домов с телевизионных экранов на улицу Тешвикие полился голубой свет.

Джеляль интересовался орденом мевлеви не только потому, что эту тему страстно любили читатели, но и потому, что к этому ордену принадлежал его отчим. Мать Джеляля была вынуждена развестись с дядей Мелихом, долго не возвращавшимся из Европы и Северной Африки, и, не в состоянии прокормить себя и сына шитьем, вышла замуж за человека, посещавшего мевлевийскую обитель на окраине района Явуз Султан, недалеко от оставшегося с византийских времен водохранилища; Галип узнал об этом из статьи Джеляля, в которой тот с возмущением светского человека и вольтерьянской насмешкой описывал «гнусавого сутулого адвоката», посещающего тайные сборища.

Читая статью Джеляля, в которой тот вспоминал о днях, что он провел в пахнущей клеем и бумагой мастерской переплетчика, где работал после ухода из кинотеатра «Шех-задебаша», Галип наткнулся на слова, казалось относящиеся к нему. Это была расхожая фраза, которую произносили все журналисты, вспо-

миная о своем горьком или счастливом детстве: «Я читал все, что попадало мне в руки». Это относилось не к Джелялю тех лет, когда он работал у переплетчика, а к Галипу, который читал все написанное Джелялем и о Джеляле, что попадало ему в руки.

До самой полуночи, до выхода из квартиры, Галип все время думал об этой фразе, он воспринял ее как подтверждение того, что Джеляль знал, чем он тогда занимался. И с этой точки зрения неделя его поисков показалась ему уже не попыткой найти Рюю, а частью игры, которую затеял с ним Джеляль (а возможно, и Рюя).

В полночь ему захотелось поскорее выбраться отсюда не только потому-что от напряженного чтения невыносимо болели глаза, но и потому, что на кухне он не нашел никакой еды. Он вынул из шкафа у двери и надел темно-синее пальто Джеляля: если привратник Исмаил и его жена Камер еще не спят, увидев сонными глазами ноги и это пальто, они решат, что вышел Джеляль. Не зажигая света, он спустился по лестнице: в низком окошке привратника, выходящем на входную дверь, света не было. Так как у него был ключ только от квартиры, парадное он не закрыл, а только прикрыл дверь. Ступив на тротуар, он вдруг почувствовал страх: сейчас из темноты выйдет человек, звонивший по телефону, о котором он старался не думать все

это время. Он представил, 4fo в руках этого человека, который, как он догадывался, не будет незнакомым, окажется не папка с документами, подтверждающими подготовку нового военного переворота, а что-то гораздо более ужасное, например орудие убийства, но на улице никого не было. Он не мог избавиться от чувства, что человек, звонивший по телефону, будет следить за его передвижениями по улицам. Нет, он не ставил себя ни на чье место. «Я все вижу так, как есть», – подумал он, проходя мимо полицейского участка.

Он долго шел по улицам; по мостовым текли, смешиваясь с тающим снегом и издавая печальные звуки, потоки воды, вырывавшиеся из водосточных труб; он шел под каштанами, тополями и чинарами, прислушиваясь к своим шагам и шуму, доносящемуся из кофеен; добравшись до Каракея, он насытился, съев курицу, суп и кадаиф¹, купил фрукты, хлеб и сыр и вернулся в дом Шехрикальп.

Загадки на лицах

*Обычно людей различают по лицам.
Льюис Кэрролл*

Когда Галип сажился за стол, заваленный газетными вырезками, настроение у него не было столь оптимистичным, как вчера утром. Он включил телефон, вспомнил телефонный разговор с человеком, который называл себя Махиром Икинджи. Слова человека о «сундучном убийстве» и военном перевороте заставили Галипа вспомнить о некоторых статьях Джеляля. Он вытащил их из коробки, прочитал внимательно и вспомнил некоторые статьи и отдельные места в статьях Джеляля, где говорилось о разных Махди. Отыскивать эти места, разбросанные по разным статьям, пришлось долго. Галип устал, будто провел за столом целый рабочий день.

Когда в начале шестидесятых годов Джеляль в своих статьях приветствовал военный переворот, он, видимо, помнил слова Мевляны: писатель, желающий внушить читательской массе какую-то идею, должен поднять ее из глубин читательской памяти, как обломки потерпевшего крушение галеона, веками лежащие на дне Черного моря! Читая то, что написал Джеляль

на основе исторических источников, Галип, как хороший читатель, ждал, что придут в движение глубинные пласты его памяти, но оживилось только воображение.

Он читал о том, как двенадцатый имам запугал на Капалычарши ювелиров, пользующихся неверными весами; о том, как сын шейха, вошедший в «Историю» Силяхтара (Силяхтар Мехмет Ага (1658-1724) – турецкий историк и писатель), объявленный своим отцом Махди, с помощью курдских пастухов и кузнецов захватывал крепости; о том, как помощник посудомойки увидел во сне Мухаммеда, сидящего на заднем сиденье белого открытого «кадиллака», едущего по грязным мостовым Бейоглу, и после этого объявил себя Махди, чтобы поднять проституток, цыган, карманников, несчастных, бездомных, детей, торгующих сигаретами, и чистильщиков обуви против бандитов и негодяев; Галип отчетливо видел цвет прочитанного: это был цвет красной черепицы и померанцевого рассвета его собственной жизни и мечтаний. Некоторые тексты оживляли в его памяти картинки прошлого: читая, например, о Лжемехмете Авджи, который объявил себя наследником, потом падишахом, а потом и пророком, он вспомнил, как однажды вечером Рюйя сонно улыбалась, а Джеляль рассуждал о том, что нужно, чтобы написать статью «под Джеля-

ля» (это может сделать тот, кто сумеет пользоваться моей памятью, сказал он тогда). Вспомнив это, Галип вдруг испугался, почувствовал, что его вовлекают в игру, грозящую смертью.

Тут зазвонил телефон, и, конеч но, звонил тот же человек.

— Я рад, что вы включили телефон, Джеляль-бей! — сказал знакомый голос человека средних лет. — Я даже думать не хочу, что ты можешь быть не в городе, не в стране в такие дни, когда в любой миг может произойти непоправимое.

— До какой страницы справочника ты дошел?

— Я усиленно занимаюсь этим, но дело идет медленнее, чем я предполагал. Часами глядя на цифры, человек начинает задумываться о вещах, о которых раньше не думал. Я начал замечать в цифрах волшебные формулы, определенный порядок, повторение комбинаций. И моя работа идет не так быстро.

— А лица видишь?

— Да, но лица появляются в результате сочетаний некоторых цифр. Цифры не всегда разговаривают, иногда они молчат. Иногда я слышу, как мне что-то шепчут четверки, шагая одна задругой. Выстраиваются по две, удваиваются, распределяются симметрично по клеткам, и смотришь-вышло шестнадцать. А на освобожденные ими места вступают семерки, и они

тоже нашептывают что-то свое. Наверно, это случайные глупые совпадения, но разве Тимур, сын Йылдырыма, имеющий телефонный номер 140-22-40, не заставит тебя вспомнить анкарскую битву 1402 года (Битва турецкого султана Баязида I с монгольским правителем Тимуром (Тамерланом), состоявшаяся 28 июля 1402 г), а заодно и то, что Йылдырым, победив варвара Тимура, взял к себе в гарем его жену? Справочник сросся со всей нашей историей, со Стамбулом! Мне это интересно, я медленно переворачиваю страницы, но в конце концов доберусь до тебя, так как знаю, что только ты можешь остановить самый опасный заговор. Только ты, Джеллль-бей, можешь остановить этот военный переворот, потому что ты натянул тетиву лука, стрела которого привела его в движение!

– Почему?

– Когда мы разговаривали в прошлый раз, я не сказал, что они напрасно верили в Махди, ждали Его. Их всего горстка, этих военных, но они прочитали некоторые старые рукописи. Причем прочитали с верой, как я. Вспомни свои статьи начала) 961 года, посмотри статью-подражание «Великому инквизитору», посмотри конец статьи, где ты насмехаешься, глядя на идиллическое изображение семейного счастья на лотерейных билетах (мать вяжет, отец читает газету –

возможно, твою статью, сын делает уроки, бабушка и кошка дремлют у печки. Если все счастливы, если все семьи такие же, как моя, почему тогда продается так много лотерейных билетов?). Перечитай свои тогдашние статьи о кино. Почему ты так издевался над отечественными фильмами? Почему, когда ты смотрел эти фильмы, рассказывающие нам о нас, на которые ходило так много людей, ты видел только флаконы одеколona, стоящие на комодe рядом с кроватью, фотографии, выставленные на подернутом паутиной пианино, на котором никто не играет, открытки, воткнутые по краям зеркала, фигурки спящих собак на радиоприемнике?

– Не знаю.

– Прекрасно знаешь! Ты показывал все это как знаки нашей нищеты и падения. Ты одинаково писал о старых вещах, выбрасываемых в пространство между домами, о семьях, которые жили в одном доме, о поженившихся двоюродных брате и сестре, о креслах, покрытых чехлами, чтобы не изнашивались: все это ты представлял как постыдные знаки падения, пошлость, в которой мы погрязли. Но потом в так называемых «исторических» статьях ты давал понять, что всегда есть надежда на спасение; даже в самый тяжелый день может появиться некто, кто сумеет вытащить нас из нищеты. Спаситель, который жил много

веков назад, воскреснет и вернется в Стамбул в образе Мевляны Джа-лалиддина, Шейха Галипа или журналиста!

– Сейчас-то ты чего от меня хочешь?

– Я хочу просто увидеть тебя.

– Зачем? Ведь на самом деле у тебя нет никаких документов?

– Я хочу увидеть тебя, я все объясню.

– Я кладу трубку...

– Умоляю, – сказал голос озабоченно и уныло, – если я встречу с тобой, я все расскажу.

Галип выключил телефон. Он достал из шкафа в коридоре ежегодник, на который обратил внимание еще вчера, и сел в кресло, куда садился вечерами, вернувшись с работы, усталый Джеляль. Он держал в руках добротный переплетенный ежегодник военного училища за 1947 год: помимо фотографий и высказываний Ататюрка, Президента, начальника Генерального штаба, командующих армиями и начальника училища, здесь были фотографии слушателей. Переворачивая переложенные папиросной бумагой страницы, он не знал точно, почему после телефонного разговора ему захотелось посмотреть этот ежегодник, но, разглядывая его, он думал о том, что все эти люди и их глаза были поразительно похожи друг на друга, совсем как фуражки на головах и знаки различия в пет-

лицах.

Большинство из тех, кто готовил в шестидесятых годах окончившийся неудачей военный переворот – кроме пашей, которые, не подвергая свою жизнь опасности, издалека поощряли бунтарей, – должны были быть среди молодых офицеров, чьи фотографии были напечатаны в этом ежегоднике.

Когда стемнело, Галип принес в кабинет все ежегодники, альбомы и фотографии из газет и журналов, что сумел найти в шкафу; поставив перед собой коробки, забитые фотографиями, он рассматривал их и словно пьянел от представшей перед ним картины. «Что может быть значительнее, красноречивее и интереснее, чем фотография, документ, запечатлевший выражение человеческого лица?» – подумал Галип. Он думал с непонятной грустью, что даже в самых «пустых» лицах, глубина выражения и смысл которых были вытравлены искусной ретушью, все равно остаются следы чего-то, что невозможно объяснить словами: старательно спрятанной тайны, истории, полной воспоминаний и страха, потому что это отразилось в глазах, бровях, во взгляде. Галип готов был расплакаться, глядя на изумленное и счастливое лицо обойщика, выигравшего главный приз Национальной лотереи, страхового агента, ударившего жену ножом, или турецкой королевы красоты, получившей третье ме-

сто в Европе.

Галип встал из-за стола и пересел в кресло, чтобы было легче рассматривать лица на фотографиях, собранных Джелялем за тридцать лет, которые стали для него отражением того нового мира, где он хотел жить. Он стал без разбора доставать из коробки фотографии и рассматривать лица, стараясь не видеть в них тайн и знаков. И каждое лицо стало казаться просто лицом: с носом, глазами, ртом, как на фотографиях для документов. Иногда он засматривался, например, на печальное красивое лицо женщины со страховым свидетельством в руке, и его охватывала тоска, но он тут же переводил взгляд на другую фотографию, которая не выражала никакой горечи и за которой не проглядывала история, а была просто фотографией. Чтобы не оказаться под влиянием историй, отраженных на лицах, он не читал тюдпиеи под фотографиями и пометки Джеляля, сделанные на них и рядом. Он заставлял себя видеть на фотографиях только карты человеческих лиц, и это длилось довольно долго; на Нишанташи начался час пик, а он все смотрел и смотрел, и из глаз его лились слезы; когда он оторвался от своего занятия, оказалось, что он просмотрел лишь незначительную часть фотоархива Джеляля.

Палач и плачущее лицо

Не плачь, не плачь, ну пожалуйста, не плачь.

Холит Зия

Почему мы не выносим вида плачущего мужчины? Мы видим плачущую женщину, это нам понятно, мы знаем, что женщина-создание чувствительное, она имеет право на слезы. Плачущий же мужчина ужасает нас, наводит на мысль о безысходности. Как будто человек исчерпал себя, все свои возможности, рушится его мир – как это бывает, например, со смертью любимой женщины, – или он живет в каком-то особенном мире, никак не совпадающем с нашим; есть в мужском плаче что-то тревожное, даже пугающее. Всем известно, какой ужас и удивление мы испытываем, когда хорошо знакомая нам карта, которую мы называем лицом, вдруг оказывается совершенно неведомой страной. Подобный сюжет мне попался в шестом томе истории Наймы (Найма (1655-1716) – османский историк).

Не так давно, лет триста назад, весенней ночью к крепости Эрзурум приближался на коне Кара Омер, самый знаменитый палач того времени. Двенадцать дней назад ему сообщили решение падишаха и вру-

чили фирман: на него возлагали обязанность осуществить смертную казнь Абди Паши, управляющего крепостью Эрзурум.

Он был доволен: расстояние Стамбул – Эрзурум, на которое в эту пору мог уйти и месяц, он преодолел за двенадцать дней. Весенняя ночная прохлада приятно освежала, однако его охватило внутреннее оцепенение, не свойственное ему перед исполнением службы; он чувствовал, что непривычная робость, нерешительность, смутное предчувствие проклятия могут помешать ему достойно сделать свое дело.

Работа его была не из легких: надо войти в помещение, полное людей незнакомого ему паши, передать фирман, причем сделать это уверенно, так чтобы паша и его окружение поняли тщетность сопротивления решению падишаха; если паша почувствует хоть на миг неуверенность палача, его тут же убьют. Палач был человек исключительно опытный: за тридцать лет работы он казнил около двадцати наследников престола, двух садра-замов³, шестерых визирей, двадцать три паши и прочего люда-виновного и невиновного, честных и воров, женщин, мужчин, детей, стариков, христиан, мусульман-более шестисот человек; тысячи людей он подверг пыткам.

Утром перед въездом в город он сошел с коня на берегу реки и под веселый птичий гомон совершил омо-

вание и намаз. Он редко молился и просил у Аллаха помощи в делах. Всемогущий, как всегда, принял молитву своегоусердного раба.

Все шло своим чередом. Паша сразу узнал палача по петле у пояса и красному войлочному колпаку, понял, что его ждет, и покорился судьбе. Возможно, он знал свою вину и давно был готов к такому повороту событий.

Паша прочитал приговор не менее десяти раз и всякий раз со все большим вниманием (так поступали все, кто действовал по правилам). Прикоснулся губами к фирману и приложил его ко лбу (это был жест, рассчитанный на окружающих, палач счел его неуместным). Сказал, что хочет почитать Коран и совершить намаз (так обычно поступали искренне верующие или те, кто хотел потянуть время). После намаза, со словами «Помните обо мне», паша снял с себя драгоценные кольца, камни, булавки и раздал окружающим —чтобы все это не досталось палачу (поступок тех, кто очень цеплялся за жизнь и был настолько глуп, что с ненавистью относился к палачу). Как и большинство приговоренных, он пытался сопротивляться, когда ему на шею набросили петлю, но получил удар в челюсть, осел и уже покорно ждал смерти. Он плакал.

В этом не было ничего необычного, плакали почти

все жертвы, но в плачущем лице паши было нечто такое, что палач смутился – впервые за тридцать лет. И впервые за тридцать лет он сделал то, чего не делал никогда: перед тем как удавить жертву, накинул ей на лицо кусок ткани. Так поступали другие палачи, но он всегда осуждал их: он считал, что палач должен до конца смотреть в глаза жертвы, только тогда работа будет сделана быстро и качественно.

Удостоверившись в смерти, палач, не теряя времени, отделил специальной бритвой, называемой «шифре», голову покойника от тела и положил ее в привезенную с собой волосяную торбу с медом: он должен будет предъявить голову в целости и сохранности в качестве доказательства выполненного поручения. Аккуратно погружая голову в торбу, он еще раз увидел плачущие глаза паши; выражение этого лица внушало ему необъяснимый ужас: оно стояло перед глазами палача до самого конца жизни, который, кстати сказать, был не так уж далек.

Вскочив на коня, палач выехал из города: у него всегда было желание поскорее удалиться от места казни на расстояние хотя бы двух дней пути, чтобы не слышать горестных воплей, сопровождающих церемонию предания земле тела жертвы. Через полтора дня непрерывного пути он добрался до крепости Кемах (Крепость в Восточной Анатолии). Поел в кара-

ван-сарае, заперся в комнате со своей торбой и лег спать.

Палач проспал глубоким сном полдня; во сне он видел себя в городе своего детства Эдирне: он подошел к огромной банке сваренного матерью варенья из инжира, аромат которого во время варки заполнял не только дом и двор, но и весь квартал, и тут увидел, что зеленые кружочки – не плоды инжира, а глаза плачущего лица; он чувствовал себя виноватым оттого, что видит выражение ужаса на плачущем лице, словно свершилось что-то несправедливое; он открыл крышку банки и застыл в страхе, услышав мужские рыдания.

На следующий день, когда он ночевал в другом караван-сарае, ему приснился один из вечеров в юности: он шел по улице Эдирне перед закатом солнца. Друг, имени которого он никак не мог вспомнить, привел его сюда посмотреть, как на одном конце неба садилось солнце, а на другом поднималась бледная полная луна. Когда солнце зашло, круг луны стал делаться ярче, ярче, а потом на нем проступило отчетливо видимое лицо плачущего человека. Улицы Эдирне сразу превратились в беспокойные улицы другого города, и все непонятней становилось, как луна могла превратиться в плачущее лицо.

Утром ему показалось, что увиденное во сне свя-

зано каким-то образом с его жизнью. Зато время, что он работал палачом, он видел лица тысяч плачущих мужчин, но ни одно из них не пробудило в нем жестокости, страха или чувства вины. В противоположность тому, что о нем думали, вид жертв огорчал и печалил его, но он тут же подавлял эти чувства доводами разума: он совершает вынужденный и справедливый акт, и иначе нельзя. Он был уверен, что жертвы, которым он отрезал головы, ломал шеи, душил, лучше палачей знали цепочку причин, приведших их к смерти. Нет ничего более невыносимого, чем вид мужчин, с рыданиями и мольбами, в слезах идущих к смерти. Он не уподоблялся глупцам, которые презирали плачущих мужчин, считая, что приговоренные к смерти должны вести себя гордо и говорить смелые слова, которые войдут в историю и легенды, но и не поддавался парализующей жалости, как другие, не способные понять случайной и неотвратимой жестокости жизни.

Что же мучило его во сне? Солнечным сияющим утром, проезжая по скалам над пропастями с привязанной к седлу волосяной торбой, палач вспомнил нерешительность, охватившую его перед въездом в Эрзурум, и смутное предчувствие проклятья; вспомнил, как на лице, которое надлежало забыть, он увидел тайну, заставившую его перед удушением прикрыть лицо жертвы куском грубой ткани. Потом, на

протяжении долгого дня, пока он гнал коня среди скал поразительных очертаний (парус, кастрюля, лев с деревом инжира вместо головы), среди незнакомых сосен и берез, по странного вида гальке по краям холодных, как лед, рек в ущельях, он ни разу больше не подумал о выражении лица в торбе, притороченной к седлу. Мир вокруг был какой-то удивительный, совсем новый, неведомый прежде.

Деревья были похожи на темные тени, бессонными ночами шевелящиеся в его воспоминаниях; он впервые обратил внимание на то, что невинные пастухи, пасущие стада овец на зеленых холмах, держат головы на плечах так, будто это вещь, принадлежащая другому. Вдруг увидел, что маленькие, в десять домов, деревеньки, раскинувшиеся у подножья гор, напоминают обувь, выстроившуюся у дверей мечети. Облака, словно сошедшие с миниатюр, поднимались прямо над вершинами фиолетовых гор на западе, куда он доберется только через полдня, как бы показывая ему, что мир – это пустыня. Теперь он понимал, что все вокруг – растения, предметы, испуганные зверьки – это знаки мира, старого, как воспоминания, пустынного, как безнадежность, и пугающего, как кошмар. Когда по мере его продвижения на запад длинные тени приобрели другой смысл, он почувствовал, что в воздух просачиваются знаки, признаки непонят-

ной тайны.

В следующем караван-сарае, куда он добрался, когда стемнело, он поел, но почувствовал, что не сможет лечь спать, закрывшись в комнате, наедине с торбой. Он знал, что ему не дает покоя это полное отчаяния лицо, которое снова будет плакать, напоминая ему о происшедшем, как это случилось каждую ночь; он боялся, что пугающий сонбудет опять наступать на него медленно, постепенно, как зреет нарыв, а потом растекаться, как гной из раны. Он немного отдохнул среди людей в караван-сарае, с удивлением разглядывая их лица, и продолжил путь.

Ночь была холодная, безмолвная и безветренная; деревья и кусты стояли не шелохнувшись; усталый конь не торопясь шел по знакомой дороге. Долгое время он ехал бездумно, как в старые счастливые времена, ничто не тревожило его: возможно, это было из-за крошечной тьмы (так он подумает потом). Но когда из-за облаков выглянула луна, деревья, скалы, тени снова стали превращаться в знаки неразрешимой загадки. Палача не пугали печальные камни на кладбищах, одинокие сиротливые тополя, волчий вой в ночной глуши. Пугало другое: мир будто хотел что-то поведать ему, открыть какой-то смысл, но все терялось, как в туманном сне. Под утро палач услышал звуки, похожие на рыдания.

Когда по-настоящему рассвело, он подумал, что шумит поднявшийся вдруг ветер, играя в ветвях деревьев, но потом решил, что это ему чудится из-за усталости и бессонницы. К полудню стало очевидно, что рыдания доносятся из притороченной к седлу торбы, тогда он слез с коня, как поднимаются с теплой постели, чтобы прикрыть скрипящие в ночи, действующие на нервы окна, и покрепче затянул веревки, которыми была привязана к седлу торба. Не помогло. А потом, когда полил страшный ливень, он не только слышал рыдания, но и словно ощутил на своих щеках слезы, капающие с плачущего лица.

Снова выглянуло солнце, и он понял, что тайна мира связана с тайной плачущего лица. Казалось, прежний мир, понятный и знакомый, держался на понятном и простом выражении лиц, а после появления того странного выражения на плачущем лице смысл мира исчез, оставив палача в пугающем одиночестве: такое недоумение испытывает человек, когда на его глазах неожиданно с треском разбивается заветная чаша или хрустальный кувшин. Пока одежды его обсыхали на солнце, палач решил, что для того, чтобы все вернулось к старому порядку, необходимо изменить выражение лица паши. Хотя он знал, что закон его профессии предписывал привезти отрубленную и сразу помещенную в торбу с медом голову в Стамбул

без промедления и изменений, как она есть.

После еще одной проведенной в седле без сна безумной ночи, наполненной звуками непрекращающихся рыданий, доносившихся из торбы, палач обнаружил, что все вокруг сильно изменилось, чинары и сосны, размытые дороги, деревенские колодцы будто в ужасе шарахались от него, они были из другого, совершенно незнакомого ему мира. В полдень, очутившись в заброшенной деревне, он на ходу машинально проглотил предложенную ему еду, а когда отъехал от деревни и прилег под деревом, чтобы дать отдохнуть коню, то понял: то, что он всегда считал небом, на самом деле странный голубой купол, которого он раньше никогда не видел. После захода солнца он отправился дальше, ему предстояло еще шесть дней пути. Однако палач чувствовал, что, если ему не удастся прекратить рыдания в торбе, изменить выражение плачущего лица, совершить некое волшебное действие, которое вернет миру старые, знакомые очертания, он никогда не доберется до Стамбула.

Увидев в темноте колодец на краю деревни, из которой доносился лай собак, он спрыгнул с коня, отвязал торбу и, осторожно держа за волосы, вытащил из меда голову. Старательно, как обмывают новорожденного младенца, обмыл ее колодезной водой, куском материи аккуратно вытер волосы, лицо и взглянул

на него при свете полной луны: на нем было все то же выражение безысходной тоски; плач продолжался.

Он положил голову на край колодца, пошел к коню, достал из дорожной сумы свои профессиональные орудия: два ножа и палки для пыток с железными крючьями. Вернулся. Орудуюя ножами, постарался исправить уголки рта. После долгих стараний ему удалось изобразить чуть заметную улыбку. Тогда он взялся за более тонкую работу: принялся раскрывать горестно прикрытые глаза. Мучительными усилиями он добился того, что улыбка расползлась по всему лицу. Он мог наконец отдохнуть. Почему-то он обрадовался, увидев синяк на челюсти паши в том месте, куда он ткнул его кулаком перед тем, как удушить. С торжеством ребенка, сумевшего добиться своего, он побежал к коню и положил в суму инструменты.

Когда он вернулся к колодцу, головы на месте не было. Сначала он принял это за шутку улыбающегося лица. Потом, сообразив, что голова упала в колодец, не раздумывая, побежал к ближайшему дому и стуком в дверь разбудил хозяев. Старик отец с молодым сыном, увидев перед собой человека в одеянии палача, в страхе повиновались его приказам. До утра они возились втроем, пытаясь достать голову из не слишком глубокого колодца. На рассвете сын, спущенный в колодец на обвязанной вокруг пояса «душе-губной»

веревке, с ужасом поднял наконец голову, держа ее за волосы. Голова была мокрая, но не плачущая. Палач спокойно обтер ее, опустил в торбу с медом и, довольный, уехал на запад, сунув отцу с сыном несколько курушей.

Взошло солнце, в распускающихся по весне деревьях щебетали птицы, мир стал прежним знакомым миром, и палач испытал огромную, как небо, радость жизни; он преисполнился ликования. Рыданий из торбы не слышалось. Перед полуднем палач спешился на берегу озера среди поросших соснами холмов, лег и впервые за много дней погрузился в настоящий глубокий сон. Перед тем как уснуть, он подошел к озеру, посмотрел на свое лицо в зеркале воды и еще раз убедился, что мир вернул себе прежние очертания.

Через пять дней в Стамбуле, когда свидетели, лично знакомые с казненным, скажут, что вынутая из волосяной торбы голова не принадлежит Абди Паше и улыбочное выражение совершенно ему не присуще, палач вспомнит отражение своего счастливого лица в зеркале озера. Его обвинят в том, что он получил от Абди Паши взятку и умертвил вместо него кого-то другого, возможно невинного пастуха, а чтобы подделка не открылась, пытался перекрыть лицо; он не отрицал ни одного из обвинений, понимая, что это совершенно бесполезно: он увидел, как вошел палач, кото-

рый сейчас отделит от туловища его голову.

Весть о том, что вместо Абди Паши казнили невинного пастуха, разнеслась быстро, настолько быстро, что второго палача, посланного в Эрзурум, встретил лично Абди Паша и тут же приказал убить его. Так началось восстание Абди Паши, про которого иногда, читая буквы на его лице, говорили, что он лжепаша. Восстание длилось двадцать лет, и за это время лишились головы шесть с половиной тысяч человек.

Тайна буке и забытая тайна

*Тысячи, тысячи тайн будут открыты,
Когда тайное лицо покажет себя.*

Аттар

К тому времени, как наступил вечер и перестал звучать сердитый свисток полицейского, регулирующего движение на площади Нишак, Галип уже так долго рассматривал фотографии, что чувство тоски и горечи, вызываемое в нем лицами соотечественников, притупилось; слезы больше не лились из его глаз. Не возникало и волненья, радости и веселости, пробуждаемых некоторыми лицами; будто он ничего больше не ждал от жизни. Он глядел на фотографии с безразличием человека, утратившего память и надежды, не имеющего будущего. В доме царила абсолютная тишина: казалось, она зародилась где-то в глубине сознания, а потом, постепенно разрастаясь, охватила тело и все вокруг. Он принес с кухни хлеб с сыром и холодный чай и стал есть, продолжая рассматривать фотографии, роняя на них крошки. На смену дневным шумам города пришли голоса ночи: теперь он мог слышать мотор холодильника, звук опускаемого на другом конце улицы ставня, смех, долетавший из лавки Алааддина. Он прислушивался к торопливо-

му стуку каблучков по мостовой, продолжал смотреть на фотографии, уже ничего не переживая, безразличный и к звукам, и к тишине.

«Чтобы быть похожим на героев детективных романов, постоянно находящих следы убийцы среди вещей,-устало рассуждал Галип, – достаточно верить, что предметы вокруг человека хранят его тайны». Из шкафа в коридоре он достал коробку, где Джеляль собрал книги, брошюры, вырезки из газет и журналов и фотографии, относящиеся к секте хуруфитов, и сел изучать их.

Он увидел лица, нарисованные арабскими буквами: глаза из «ба», и «айн», брови из "з" и "р", носы из «алиф»; Джеляль выписывал буквы тщательно, как ученик, недавно освоивший старую графику. На страницах книги, отпечатанной литографским способом, плачущие глаза были выполнены буквами «ба» и «джим», точка буквы «джим» стала слезой, падающей на край страницы. Те же буквы легко прочитывались на бровях, глазах, носу и губах лица, изображенного на старой черно-белой неотретушированной фотографии, под которой Джеляль разборчиво написал имя одного из шейхов Бекташи. Галип разглядывал выведенные буквами таблички «О, вечная любовь!» и нарисованные – так же, буквами – галеры, качающиеся в бурном море, молнии, устремленные с

неба вниз, как взгляд, пронзительные пугающие лица, вплетенные в ветви деревьев бороды. Он не спеша перебирал фотографии: бледные лица с выколотыми глазами, невинные младенцы, на краешках губ которых буквами отмечены следы греха, грешники с на чертанным на лбу страшным будущим. Он увидел задумчивое выражение на лицах повешенных бандитов и премьер-министров в белых рубашках смертников с табличками на шее, глядящих вниз на землю, до которой не доставали их ноги; выцветшие фотографии читателей, усмотревших разврат в подведенных глазах известной кинозвезды; читатели, считающие себя похожими на падишахов, пашей, Рудольфе Валентине и Муссолини, присылали свои фотографии, отметив на них соответствующие буквы. В одной из статей Джеляль зашифровал читателям послание, раскрывающее особый смысл и особое место буквы "х" в слове «Аллах»; читатели, разгадавшие это послание, прислали длинные письма, где пытались доказать, что заниматься недели, месяцы и годы словами «утро», «лицо», «солнце», чтобы разъяснить симметричное их начертание, – все равно что поклоняться идолам. В коробке он обнаружил фотографии основателя секты хуруфи Фазлаллаха Астарабади, снятые с миниатюр и дополненные буквами, арабскими и латинскими; расписанные также словами и буквами

фотографии футболистов и киноактеров хранились в пакетах из-под вафель и разноцветной, жесткой, как резиновая подметка, жвачки, продававшихся в лавке Алааддина; тут же были присланные Джелялю читателями фотографии убийц, грешников и шейхов.

По надписям на обратной стороне фотографий легко было определить, что они присланы для рубрики «Ваше лицо – ваша личность», которую Джеляль вел в начале шестидесятых годов одновременно с рубрикой «Хочешь – верь, хочешь – не верь»; часть фотографий была прислана в ответ на призыв Джеляля: мы хотим видеть фотографии наших читателей и напечатать некоторые из них в нашей рубрике! Люди на фотографиях смотрели в камеру так, будто вспоминали далекое прошлое или увидели на миг сверкающие зеленоватой молнии на далеком черном фоне едва видимого горизонта; так, будто привычно наблюдали свое будущее, медленно тонущее в черном болоте; так, будто знали, что утраченная память никогда больше к ним не вернется. Галип догадывался, почему Джеляль обозначал буквы на всех этих фотографиях, но когда он хотел эту догадку использовать как ключ, чтобы понять, что связывает его с Джелялем и Рюйей, с этой нереальной квартирой, определить собственное будущее, его сознание тут же застывало, как лица, запечатленные на фотографиях, а фак-

ты, которые необходимо было связать между собой, терялись в тумане смысла, отмеченного на лицах.

Из литографированных книг и брошюр с большим количеством опечаток он узнал о жизни Фазлаллаха, основателя секты хуруфи и пророка хуруфитов: родился в 1339 году в Хорасане, в Астарбаде, недалеко от Каспийского моря. В восемнадцать лет был суфием, совершил хадж, стал мюридом некоего шейха по имени Хасан. Галип читал, как Фазлаллах набирался опыта, путешествуя по городам Азербайджана и Ирана, вникал в содержание его разговоров с шейхами Тебриза, Ширвана и Баку и чувствовал, что у него в душе растет неодолимое желание «начать сначала» собственную жизнь по примеру, описанному в этих книгах. Сбывшиеся впоследствии предвидения Фазлаллаха относительно собственной жизни и смерти и новая жизнь, которую хотел начать он сам, казались Галипу чем-то вполне обычным. Фазлаллах сначала прославился толкованием снов. Однажды во сне он увидел, как два удода смотрят с дерева на него и пророка Сулеймана; сны Фазлаллаха и Сулеймана перемешались, а две птицы на дереве соединились в одну. В другой раз он увидел во сне, что в пещеру, где он укрылся, к нему придет дервиш, и в самом деле к нему пришел дервиш и сказал, что видел его во сне: они вдвоем читали книгу и, когда переворачивали

страницы, видели в буквах свои лица, а когда смотрели друг на друга, то на лицах видели буквы из книги.

Согласно Фазлаллаху, звук – это разделительная черта между бытием и небытием, потому что все, до чего можно дотронуться рукой, перейдя из мира невидимого в мир материальный, имеет свой звук: чтобы понять это, достаточно ударить друг о друга самые «беззвучные» предметы. Наиболее развитая форма звука есть слово; высокое понятие, волшебство, называемое «словом», состоит из букв. Буквы, означающие как смысл и суть бытия, так и образ Аллаха на земле, можно отчетливо рассмотреть на человеческом лице. От рождения на нашем лице есть две брови, два века, обрамленных ресницами; вместе с линией в верхней части лба, откуда начинают расти волосы, получается семь линий. По мере взросления к этим знакам добавляются новые линии, и их становится четырнадцать; если удвоить это число, станет ясно, что отнюдь не случайны двадцать восемь букв, которыми передано в Коране то, что говорил Мухаммед. А чтобы получить тридцать две буквы языка фарси, на котором Фазлаллах говорил и написал свою известную «Книгу о Вечном», оказывается, следует более внимательно изучить линию волос и линию под подбородком и, разделив их надвое, воспринимать как две отдельные буквы; прочитав об этом,

Галип понял, почему на некоторых фотографиях лица и волосы разделены посередине надвое, как пробор на бриллиантовых волос у актеров из американских фильмов тридцатых годов. Все выглядело очень простым, и Галипу понравилась эта детская игра в наивность, он подумал, что понимает, почему Джелеля влекло к играм в буквы.

Совсем как «Он» из статьи Джелеля, Фазлаллах объявил себя спасителем, пророком, Мессией, которого ожидали иудеи и к сошествию с неба которого готовились христиане, и одновременно Махди, появление которого возвестил Мухаммед; он собрал в Исфгане семь человек, поверивших в него, и начал проповедовать свое учение. Галип ощущал внутреннее успокоение, когда читал, как Фазлаллах ходил от города к городу и разъяснял, что нет на земле места, где можно сразу понять смысл наполненного тайнами мира, и, чтобы добраться до них, необходимо разгадать тайну букв. Галипу показалось, что он нашел наконец подтверждение – которого он так хотел и так ждал-тому, что и его собственный мир полон тайн. Галип понимал, что его внутреннее спокойствие связано с простотой этого доказательства: если правда, что мир – место, полное тайн, то правда и существование тайного мира, на который указывают и частью которого являются кофейная чашка, стоящая на столе,

пепельница, нож для разрезания книг и даже его собственная рука, что лежит рядом с ножом, как застывший краб. Рюя – внутри этого мира. А Галип – на его пороге. Через некоторое время он войдет туда, разгадав тайну букв.

Надо только еще немножко внимательно почитать. Он перечитал страницы, посвященные смерти Фазлаллаха. Понял, что тот видел свою смерть во сне и ушел в смерть, как в сон. Его обвинили в ереси на том основании, что он поклонялся не Аллаху, а буквам, людям и идолам, что он объявил себя Махди и верил не в истинный и видимый смысл Корана, а в свои мечтания, которые называл тайным невидимым смыслом; Фазлаллах был схвачен, осужден и повешен.

После убийства Фазлаллаха и его близких хуруфиты, преследуемые в Иране, переселились в Анатолию; произошло это благодаря поэту Несими¹, халифу Фазлаллаха. Нагрузив ставший впоследствии легендарным у хуруфитов зеленый сундук книгами Фазлаллаха и рукописями об учении хуруфи, поэт пошел по Анатолии, от города к городу, заходил в отдаленные медресе, где стены были затянуты паутиной, в жалкие обители, где сновали проворные ящерицы; он приобрел новых сторонников, и для того, чтобы показать халифам, которых он воспитывал, что не только

Коран, но весь мир полон тайн, он обратился к играм из слов и букв, которые изобрел, опираясь на свою любимую игру – шахматы. Несими уподоблял линию и родинку на лице любимой букве и точке, букву и точку – губке и жемчужине на дне моря, себя – ныряльщику, погибшему в поисках жемчужины, а ныряльщика, охотно погрузившегося в смерть, – влюбленному, стремящемуся к Всевышнему; завершая этот круг, Несими сравнил Всевышнего со своей возлюбленной, за что был схвачен в Алеппо, осужден и казнен – с него живьем содрали кожу, труп вывесили в городе на всеобщее обозрение, а потом расчленили на семь частей и – в назидание – захоронили в семи разных городах, где он нашел сторонников и где знали наизусть его стихи.

Учение хуруфи, под влиянием Несими сильно распространившееся в стране османов среди дервишей Бекташи, через пятнадцать лет после завоевания Стамбула привлекло и султана Мехмеда Фатиха: он читал книги Фазлаллаха, говорил о тайнах мира, о вопросах, скрытых в буквах, о тайнах Византии, которые он наблюдал из дворца, где поселился; султан пытался понять, каким образом любая труба, любой купол, любое дерево, на которые он смотрит, могут стать ключом к разгадке тайны другого, подземного мира; когда об этом узнали окружающие султана уле-

мы, они подстерегли хуруфитов, направляющихся к нему, схватили и заживо сожгли их.

В маленькой книжечке, напечатанной в начале второй мировой войны в Хорасане, неподалеку от Эрзурума, Галип увидел на последней странице приписку, из которой следовало (или приписавший хотел, чтобы так думали), что после неудачного покушения на Баязида II, сына Фатиха, многие хуруфиты были убиты и сожжены; тут же был наивный рисунок, изображающий мучения хуруфитов. На другой странице в такой же примитивной манере были нарисованы горящие на костре с тем же выражением ужаса на лице хуруфиты, которые не подчинились приказу Сулеймана Кануни¹ отправиться в ссылку. В языках пламени, охватившего качавшиеся тела, проглядывало слово «Аллах» с привычными буквами «алиф» и «лим», но странным было то, что из глаз людей, горевших на огне из арабских букв, струились слезы в виде латинских букв "O", "U" и "C". На этом рисунке Галип впервые встретил комментарий хуруфитов по поводу «Алфавитной революции» 1928 года², но он не придал этому значения, потому что мысли его были заняты поиском ключа для разгадки тайны, и продолжил изучение материалов из этой коробки.

Галип прочел длинную статью о том, что главное качество Аллаха-это тайна, связанная с «сокрытым

сокровищем». Проблема состоит в том, чтобы найти путь и добраться до этой тайны; ведь эта тайна растворена в мире; важно понять, что она содержится везде: в каждой вещи, в каждом предмете, в каждом человеке. Мир – это море взаимосвязей; вкус каждой капли его соли ведет к тайне. Читая статью усталыми покрасневшими глазами, Галип знал, что он проникнет в тайну этого моря.

Поскольку признаки ее есть везде и во всем, тайна – это нечто, присущее любому месту, любому предмету. Читая, Галип очень хорошо видел, как окружающие его предметы становились знаками и его самого, и тайны, к которой он потихоньку приближался; это было как стихи о лике возлюбленной, жемчугах, розах, бокалах с вином, соловьях, русых волосах, огнях в ночи. Занавески, освещенные тусклым светом лампы, старые кресла, полные воспоминаний о Рюйе, тени на стенах, старый телефонный аппарат таили в себе столько историй и значения, что Галип почувствовал, что незаметно для себя, как в детстве, вступил в какую-то игру, он продолжил свои изыскания, испытывая некоторую нерешительность, поскольку совсем как в детстве верил, что сможет выйти из этой пугающей игры, где каждый человек и каждый предмет является копией другого человека и другого предмета, только в том случае, если сможет стать другим.

В начале XVII века некоторые хуруфиты поселились в отдаленных деревнях, покинутых крестьянами, бежавшими от пашей, кадиев, бандитов и имамов во время восстания ДжеляляЗ, который перевернул вверх дном всю Анатолию. Пытаясь разобрать строки длинной поэмы, рассказывающей о счастливой, наполненной смыслом жизни в этих хуруфитских деревнях, Галип снова вспомнил детство, чудесные дни, проведенные с Рюей.

В те старые, далекие и счастливые времена помыслы и действия были единым понятием. Неразделимыми были вещи, заполнявшие дома в те райские времена, и мечты об этих вещах. В те годы счастья мечи и перья были продолжением не только наших рук, но и душ. В те времена, когда поэт говорил: «дерево», любой мог оживить настоящее дерево в своем воображении, и не надо было долго трудиться и описывать ветки и листья, чтобы указать на дерево в саду. В те времена каждый хорошо знал, что вещи и слова, обозначающие их, очень близки друг к другу, и когда по утрам на эту призрачную деревню спускался туман, вещи и слова, их определяющие, сливались воедино. Проснувшиеся в те туманные утра не могли отделить сон от яви, поэзию от жизни, людей от их имен. В те времена жизнь и истории были настолько подлинными, что никому не приходило в голову спрашивать, что

есть жизнь, а что истории. Сны переживались, жизнь толковалась. В те времена лица людей, как и все вокруг, были настолько наполнены смыслом, что даже те, кто не знал грамоты и уподоблял начертание букв знакомым предметам, незаметно для себя начинали читать написанное на лицах.

Поэт рассказывал о стоящем под вечер на горизонте солнце апельсинового цвета и галеонах посреди недвижимого пепельно-серого моря; у галеонов, несмотря на отсутствие ветра, надувались паруса, и они двигались, оставаясь на том же месте (поэт хотел показать, что в те далекие счастливые времена люди еще не знали времени); далее следовало описание возвышающихся белых мечетей, каждая из которых была как мираж, что никогда не исчезнет с морского берега, и белоснежных минаретов: Галип догадался, что набрел на Стамбул мечты и жизни хуруфитов, который с XVII века и по сей день остается тайной. Он понял, что истинные хуруфиты прожили свой золотой век в Стамбуле. И еще он понял, что годы его счастья с Рюей остались позади. Золотой и счастливый век хуруфитов, видимо, был недолог. Потому что, как прочитал Галип, сразу после золотого века, когда тайну было легко разгадать, наступили времена всеобщей смуты, тайна стала исчезать, и все люди, так же как хуруфиты из пустых деревень, чтобы поглубже

запрятать смысл некоторых понятий, стали готовить эликсиры из крови, яиц, экскрементов и волосков, с которыми связывали надежды, а кое-кто, чтобы упря- тать тайны, стал из своих домов в укромных уголках Стамбула рыть подземные коридоры. Эти оказались самыми удачливыми и уцелели; другие участвовали в янычарских бунтах и потому были схвачены и пове- шены на деревьях, и когда намыленные петли сжима- лись на их шеях, буквы на их искаженных лицах трже искажались; ашуги с сазами ходили по ночам в обите- ли на окраинах города, чтобы шепотом поведать тай- ны хуруфитов, но наталкивались на стену непонима- ния. Все это подтверждало, что золотой век тайных уголков Стамбула и далеких заброшенных деревень, к несчастью, закончился.

Дойдя до последней страницы старинной книги сти- хов, края которой были изгрызены мышами, а в неко- торых углах приятной на ощупь бумаги разрастался влажный зеленоватый грибок плесени, Галип увидел приписку, указывающую, что более подробные сведе- ния на эту тему можно найти в другом издании. На по- следней странице между аккуратными строками сти- хов и датами набора и сдачи в печать, а также адре- сами типографии и издательства наборщик мелкими буквами вписал длинное корявое предложение, из ко- торого следовало, что выпущенная в Хорасане, неда-

леко от Эрзурума, «Тайна хуруфитов и ее забвение» – седьмая книга серии и написана она Ф. М. Учунджу, о котором с похвалой отозвался стамбульский журналист Селим Качмаз.

Галип лихорадочно стал рыться в ворохах бумаг, журналов и газет в поисках указанной книги. В конце концов он нашел ее среди газетных вырезок начала шестидесятих годов, неопубликованных полемических статей и странных фотографий. Была глубокая ночь, и стояли пугающая безнадежная тишина, какая бывает, когда объявляется чрезвычайное положение и на улицах города вводится комендантский час.

Внешне книга напоминала часто издаваемые в те годы патриотами-военными книжки типа «Почему мы два века не можем догнать Запад?» или «Как нам выбраться из нищеты?». И посвящение в ней было типичное для книг, издаваемых в провинциальных городах Анатолии на деньги авторов: «Слушатель военного училища! Только ты можешь спасти Родину!» Однако, начав листать ее, Галип понял, что перед ним совершенно иное сочинение. Он поднялся с кресла, перешел к столу Джеляля и, поставив локти с двух сторон книги, начал внимательно читать.

«Тайна хуруфитов и ее забвение» состояла из трех глав. Первая называлась «Тайна хуруфитов» и открывалась описанием жизни Фазлаллаха, основате-

ля учения хуруфи. М. Ф. Учунджу внес в рассказ светскость, описал личность Фазлаллаха не только как суфия и мистика, но и как мыслителя, философа, математика, лингвиста. Насколько он был пророком, спасителем, праведником, мучеником, настолько же, а может, и больше, он был гением, тонко думающим философом; и весьма своеобразным человеком. Поэтому толкование идей Фазлаллаха, как это делают западные ориенталисты, с помощью пантеизма, пифагоризма или кабалистики, означает не что иное, как убийство Фазлаллаха западной философией, против которой он выступал на протяжении всей своей жизни. Фазлаллах был абсолютно восточным человеком. По мнению М. Ф. Учунджу, Восток и Запад разделили мир пополам, и половины эти кардинально расходились в оценке таких понятий, как добро и зло, белое и черное, ангел и дьявол, отрицали взгляды друг друга, находились в неизменном противостоянии. Вопреки желанием фантазеров, не было никакой возможности сблизить эти два мира, сделать так, чтобы они жили в согласии. Один из двух миров всегда господствовал; один всегда был господином, а это значит, что другой вынужден был быть рабом. В подтверждение этой нескончаемой войны близнецов был приведен ряд исторических событий, полных особого смысла: от гордиева узла (автор писал: «то есть шифра»),

разрубленного ударом меча Александра Македонского, до крестовых походов, от двусмысленных букв и цифр на волшебных часах, посланных Гаруном ар-Рашидом Карлу Великому, до перехода Ганнибала через Альпы, от победы ислама в Андалусии (целая страница была посвящена количеству колонн в мечети Кордовы) до завоевания султаном Мехмедом Фатихом Византии и Стамбула, от падения Хазарского каганата до поражения османов сначала у Доппио (Белая Церковь), а потом в Венеции.

Ф. М. Учунджу считал, что все эти исторические события указывали на важный момент, о котором в завуалированном виде давно писал в своих произведениях Фазлал-лах: периоды столкновения Запада и Востока не случайны, они закономерны. В этих столкновениях побеждал тот из двух миров, который в данный исторический момент видел мир полным тайн и двусмысленных загадок. А те, кто видел мир простым, однозначным, не имеющим тайн, были обречены на поражение и, как неизбежный результат поражения, – рабство. Вторую главу под названием «Забвение тайны» Ф. М. Учунджу посвятил подробному описанию того, как была забыта тайна. Тайна воплощала сущность самого бытия: это могла быть «идея» античной философии, «бог» христиан и неоплатоников, индийская «нирвана», «птица Симуург» Аттара,

«любовь» Мевляны, «скрытое сокровище» хуруфитов, «ноумен» Канта или то, что раскрывало преступника в детективном романе. А значит, считал Ф. М. Учунджу, забвение цивилизацией тайны следует понимать как лишение основы мышления.

Далее Ф. М. Учунджу приступал к самой главной для хуруфитов теме: буквы и лица. Он, как и Фазлаллах в своем «Джавидан-наме»¹, считал, что скрывающийся Всевышний проявляется на человеческом лице, долго исследовал линии на человеческом лице и связал эти линии с арабскими буквами. После несколько наивных рассуждений о длинных стихах поэтов-хуруфитов Несими, Рафии, Мисали, Рухи Багдатлы и Гуль Баба автор приходил к логичному выводу, в дни счастья и побед лица у всех нас осмысленны, как мир, в котором мы живем. Этот смысл нам раскрыли хуруфиты, видящие тайну в мире и буквы на наших лицах. Забвение учения хуруфи означает, что пропадают буквы на наших лицах и тайна в мире. Теперь наши лица пусты, нет возможности читать их, как раньше, наши брови, носы, глаза, взгляды, выражения лиц бессмысленны. Галипу хотелось встать и рассмотреть в зеркале свое лицо, но он продолжал внимательно читать.

Когда искусство фотографии попыталось запечатлеть лица артистов, то результат получился пугаю-

щий: лица арабских, турецких, индийских кинозвезд выглядели странной топографической картой, заставляющей думать о невидимой поверхности луны; на них была пустота. Именно она делает несчастных, одиноких людей, заполняющих улицы Стамбула, Дамаска или Каира, похожими друг на друга, как призраки; мужчины с одинаково сдвинутыми бровями отпускают одинаковые усы, а женщины, одинаково покрывающие головы, одинаково смотрят перед собой, шагая по грязным мостовым. Видимо, надо создать новую систему, чтобы придать смысл нашим лицам, изобрести новый метод, который позволит читать на лицах латинские буквы. Вторая глава кончалась сообщением, что попытка создания такой системы будет сделана в третьей главе под названием «Разгадка тайны».

Галипу понравился этот Ф. М. Учунджу, который употреблял двусмысленные слова и играл ими с детской непосредственностью. Было в нем что-то напоминающее Джезяля.

Долгая партия в шахматы

Гарун ар-Рашид время от времени, переодевшись, бродил по Багдаду: он хотел знать, что думает народ о нем и его правлении. И вот сегодня вечером...
Из «Сказок тысячи и одной ночи»

Недавно в руки моего читателя, который не пожелал назвать своего имени, неведомыми путями, благодаря случайному стечению обстоятельств, попало письмо, проливающее свет на темные моменты одного из периодов нашей истории, называемого переходом к демократий. Из письма видно, что оно было написано диктатором того времени одному из своих отпрысков, находящемуся за рубежом; привожу это письмо полностью, не меняя стиля паши.

Шесть недель назад в ту августовскую ночь была такая жара и духота даже в комнате, где умер основатель нашей Республики, что остановились не только золотые часы на подставке, показывая время смерти Ататюрка – четверть десятого (забавно, как это обстоятельство поражало мою покойную маму), но казалось, от ужасающей жары остановились все часы в Долмабахче (Дворцовый комплекс на берегу Босфора, построенный в XIX в., последняя резиденция

турецких султанов), все часы в Стамбуле, прервался ход времени, ход мысли. Обычно колышущиеся занавески на окнах, выходящих на Босфор, висели совершенно неподвижно; часовые на набережной в полутьме стояли как манекены, и не потому, что я приказал, а потому, что жизнь остановилась. Почувствовав, что пришло время сделать наконец то, что мне так давно хотелось, я достал из шкафа крестьянские одежды. Выскальзывая из дворца через дверь гарема, которой давно никто не пользовался, я, чтобы приободриться, напомнил себе, что в течение пяти веков многие падишахи выбирались через эту дверь и через задние двери других стамбульских дворцов – Топкапы, Бейлер-бейи, Йылдыз, растворялись во тьме жизни, по которой они тосковали, а потом возвращались обратно живыми и невредимыми.

До чего же красив Стамбул! Оказывается, окна моего бронированного «шевроле» не пропускали не только пули, но и настоящую жизнь города, нашего замечательного города. Выйдя за стену дворца, по дороге в Каракей я купил халву, которая оказалась чересчур сладкой. В кофейнях мужчины играли в нарды, карты, слушали радио, и я разговаривал с ними. Я видел проституток, поджидающих клиентов у кондитерских лавок, и детишек-попрошаек, показывающих на еду в витринах закусовых. Во дворе мечети я сме-

шался с толпой, вышедшей после вечернего намаза, грыз семечки и пил чай со всеми, усевшись в саду семейной чайханы. В переулке, мощенном крупным булыжником, я встретил молодых родителей, возвращающихся из гостей; надо было видеть, как крепко прижалась женщина с покрытой головой к мужу, несущему на руках спящего ребенка. У меня даже слезы навернулись на глаза.

Нет, я не думал о том, насколько счастливы или несчастны эти люди; в ту ночь свободы и мечты я стал свидетелем бедной, но настоящей жизни моих подданных, и во мне росло ощущение, будто я долго жил вне реальности, а теперь вдруг очнулся ото сна. Глядя на Стамбул, я старался избавиться от печали и страха, которые переполняли меня. Глаза мои увлажнялись, когда я смотрел на витрины кондитерских лавок или наблюдал за толпой людей, вернувшихся последними рейсами красивых пароходов.

Приближался установленный мною комендантский час. На обратном пути мне захотелось почувствовать прохладу воды, и в Эминеню я подошел к лодочнику, дал ему пятьдесят курушей и попросил довести меня не торопясь до Каракея или Кабаташа (Район на берегу Босфора). «Ты что, совсем одурел? – воскликнул лодочник. – Ты разве не знаешь, что каждую ночь в этот час наш Великий Паша совершает прогулку на

моторке и всех, кого застанет на воде, бросает в тюрьму?» Я протянул ему пачку розовых банкнот, про которые, как я хорошо знал, мои недруги распускали всякие сплетни из-за того, что на них был мой портрет: «Если поплывем, покажешь мне моторку Великого Паши?» Он схватил деньги и указал место в носовой части лодки: «Прикройся этими тряпками и не шевелись! Да спасет нас Аллах!» Он начал грести.

Не знаю, куда мы направились в темноте: к Золотому Рогу или к Мраморному морю? Море, как и темный город, было спокойно и безмолвно. На том месте, где я лежал, я чувствовал едва различимый, слабый запах тумана. Услышав вдалеке шум мотора, лодочник сказал тихо: «Ну вот, плывет! Каждую ночь плавает!» Мы причалили к мосткам, заросшим мидиями, и в нашу сторону устремился яркий луч света, совершенно ослепивший меня; луч гулял по городу, берегу моря, мечетям, прыгал в разные стороны. Потом я увидел медленно приближающееся белое судно; на палубе выстроились часовые в спасательных жилетах и с оружием; наверху, на капитанском мостике толпа, и среди нее на возвышении – одинокий «Великий Паша». Он был в тени, и я едва различал его фигуру на движущемся судне, но все же сумел рассмотреть, что одет он так, как одевался я. Я попросил лодочника следовать за судном, но тщетно: он сказал, что вот-

вот начнется комендантский час, что он не враг себе, и высадил меня в Кабаташе. По опустевшим улицам я дошел до дворца и тихонько пробрался в свои покои.

Ночью я думал о нем, о похожем на меня лжепаше, но меня не интересовало, кто он или что делает на море, просто это был повод подумать о самом себе. Утром я приказал сократить на 60 минут комендантский час: мне казалось, так я смогу лучше проследить за ним. Я выступил по радио и сообщил народу о сокращении комендантского часа. Кроме того, чтобы создать видимость смягчения обстановки, я приказал выпустить из тюрем часть заключенных.

Было ли в Стамбуле больше веселья на следующий день? Нет! Это доказывает, что глубокая печаль моего народа не следствие политического давления, как это утверждают мои оппоненты, а имеет иные, более глубокие корни. На следующий вечер народ, как и накануне, курил сигареты, грыз семечки, ел мороженое, а в кофейнях рассеянно слушал мое выступление по радио; но как они, эти люди, были естественны! Находясь среди них, я страдал, как лунатик, который не может вернуться в реальность, оттого что не в состоянии проснуться. В Эминеню я увидел лодочника, который, казалось, ждал меня. Мы сразу вышли в море.

На этот раз ночь была ветреная, море волновалось.

«Великий Паша» заставил себя ждать, он опаздывал, словно получил какое-то предупреждение. Мы причалили опять возле Кабаташа, и я стал наблюдать: сначала за судном, потом за самим «Великим Пашой». Я подумал, что он красив: можно ли поставить рядом два слова – красивый и настоящий? Он снова возвышался над всеми на капитанском мостике, и глаза его были устремлены на Стамбул, на людей, словно он вглядывался в историю. Что он видел?

Я сунул лодочнику пачку розовых купюр, он налег на весла. Качаясь на волнах, мы догнали их в районе Касымпаша, неподалеку от судоверфи, где они высадились на берег: рассевшись по черным и синим автомобилям, среди которых был и мой «шевроле», они вмиг растаяли во тьме Галаты (район в центре Стамбула). Лодочник стал волноваться, что мы опоздаем, нарушим комендантский час.

Ступив на землю после довольно долгой качки, я решил, что чувство нереальности возникло у меня из-за того, что я нетвердо стою на ногах, но оказалось: нет. В этот поздний час, когда я шел по пустынным – в соответствии с моим приказом-улицам, все вокруг выглядело настолько нереально, что мне почудилось то, что, я считал, можно увидеть лишь во сне. На дороге от Фындыклы (Район в европейской части Стамбула) до Долмабахче бегали только своры собак. Но вдруг

откуда-то появился продавец кукурузы; он со страхом посматривал в мою сторону и торопливо толкал тележку шагах в двадцати от меня. Я понимал, что он боится и убегает, мне хотелось сказать: меня не надо бояться, опасность-за аллеей каштанов, на большой дороге; но я был словно во сне и не мог ничего сказать, а оттого, что не мог ничего сказать, мне самому было страшно, и оттого, что мне было страшно, я не мог ничего сказать. Я знал, что страшное – за деревьями, которые медленно проплывали мимо нас; я ускорил шаг, продавец кукурузы, глядя на меня, тоже заторопился; это было какое-то наваждение, что именно это было, я не знаю, знаю только, что это не было сном.

Утром я потребовал, чтобы комендантский час отодвинули на более позднее время: мне не хотелось еще раз пережить ночные/страхи. И снова выпустили часть заключенных. На сей раз я даже ничего не объяснял; по радио передали одно из моих старых обращений.

Я уже знал, что в городе от моих новых распоряжений ничего не изменится, и оказался прав: некоторые кинотеатры ввели более поздние сеансы, вот и все. Остальное было как прежде: розоватые от краски руки продавцов сахарной ваты, белые лица западных туристов, которые, правда с сопровождающими,

осмелились выйти на улицы города в вечерний час.

Своего лодочника я нашел на том же месте. Вскоре после выхода в море мы увидели лжепашу. Погода была спокойная, как в первый вечер, только тумана не было совсем. В темном зеркале воды я видел минареты, огни города; было довольно светло, и я отчетливо различал пашу на мостике; он был настоящий. И, как всякий реально существующий человек, в эту светлую ночь паша увидел нас.

Наша лодка приткнулась к пристани Касымпаша следом за его судном. Я тихонько выбрался на берег, но меня тут же схватили люди, больше похожие на бандитов, чем на военных: «Ты что здесь делаешь в такое время?» Я отвечал им, что комендантский час еще не наступил; я бедный крестьянин, остановился в гостинице в Сиркеджи и, прежде чем вернуться в деревню, решил покататься на лодке. Я не знал о запрете паши. Но трусливый лодочник все рассказал людям «Великого Паши», а те передали ему. Он был в «гражданской» одежде, но все равно очень походил на меня, а я в своей одежде – на крестьянина. Паша лично выслушал нас, лодочника отпустил, а мне приказал ехать с ним.

Мы сели на заднее сиденье «шевроле» и выехали из порта, мы были с «Великим Пашой» один на один. Шофер был отделен от нас звуконепроницае-

мым стеклом – в моем «шевроле» этого не было, – так что мы были совсем одни.

– Мы оба долго ждали сегодняшнего дня, – сказал «паша» голосом, который показался мне совершенно не похожим на мой, – только я ждал, зная, что жду, а ты – не зная. Но оба мы не думали, что встретимся вот так.

Он говорил немного взволнованно, немного устало, радуясь не столько тому, что может наконец поведать свою историю, сколько тому, что ее можно завершить. Оказывается, мы учились на одном курсе в военном училище. Ходили на одни и те же занятия к одним и тем же преподавателям. Зимними холодными ночами поднимались вместе по тревоге, в жаркие летние дни вместе караулили, когда из кранов в нашей каменной казарме потечет вода. В дни увольнений гуляли по Стамбулу, который очень любили. Он еще тогда понял, что все будет происходить так, как происходит сегодня.

Оказывается, в те времена мы с ним вели тайную борьбу за лучшую отметку по математике, за меткое попадание на учебных стрельбах, за любовь наших товарищей, за первенство в классе, за лучший аттестат; еще тогда он понял, что я буду удачливее его и что его мать, теперь уже покойная, глядя на остановившиеся часы, будет поражена тем, что я буду пра-

вить во дворце. Я сказал ему, что наша борьба и в самом деле была тайной, поскольку в годы учебы в училище я не соревновался ни с кем из одноклассников и всех призывал не соревноваться, а его я вообще не помню как своего товарища. Он не удивился. Сказал, что я был слишком уверен в себе и не замечал этой борьбы, страдал от нее он, поскольку понимал, что я очень, очень сильно опередил одноклассников, учащихся брлее старших курсов, лейтенантов и даже майоров; он же не хотел быть моим подражателем, не хотел быть бледной тенью: он хотел быть «настоящим». Пока он все это рассказывал, я смотрел из окна «шевроле» – его машина не была точно такой же, как моя, – на пустынные улицы Стамбула. Иногда я переводил взгляд на наши колени и вытянутые в одинаковой позе неподвижные ноги.

Он сказал, что в его расчетах не было места случайности. Не нужно было быть ясновидцем, чтобы в те времена предположить, что бедный наш народ через сорок лет склонит голову перед диктатором, сдаст ему Стамбул и что этим диктатором станет военный нашего возраста, и, скорее всего, это буду я. Он четко представил свое будущее: или в призрачном Стамбуле будущего, где я буду Великим Пашой, он, как все, станет призрачной тенью, мечущейся в неумолимом настоящем между мечтами прошлого и будущего,

между действительностью и неопределенностью, или он посвятит свою жизнь поиску нового пути, чтоб хотя бы попытаться стать кем-то. Он стал рассказывать, что в поисках этого пути совершил проступок достаточно серьезный, чтобы его уволили из армии, и в то же время не такой тяжкий, чтобы быть отданным под суд: он подстроил так, что его застали, когда он, переодетый в форму начальника училища, проверял ночные караулы; только теперь я вспомнил этого неприметного слушателя. Когда его выгнали из училища, он занялся торговлей. «В нашей стране каждый знает, что это самый легкий путь стать богатым!» – сказал он с гордостью. По его словам, люди у нас бедны оттого, что всю жизнь их учат быть бедными, а не богатыми. Немного помолчав, он добавил: «Я показал людям, как надо жить! А ты?!-Он сделал ударение на последнем слове.-После стольких лет ожидания я с удивлением вижу, что ты такой же ненастоящий, как и я! Бедный крестьянин!»

Наступила долгая пауза. В подлинном костюме крестьян Кайсери', который отыскал мой адъютант, я чувствовал себя не столько смешным, сколько ненастоящим, словно я жил во сне, чего мне совершенно не хотелось. Но в то же время я понял, что сон этот рожден видом Стамбула, проплывавшего за окнами, как в замедленной съемке: пустые мостовые и тротуары,

безлюдные площади – город будто вымер с началом назначенного мной комендантского часа.

Я уже знал, что мой заносчивый однокурсник показал мне всего-навсего созданный мною город-сон. Среди маленьких деревянных домов, теряющихся под громадными кипарисами, мы проехали через окраинный квартал с кладбищем. Мы ехали по улицам с сухими фонтанами, разрушенными стенами, разбитыми трубами – я думал, что такое могу увидеть только во сне; с непонятным страхом я смотрел на мечети, дремлющие во тьме, как сказочные великаны, площади с бассейнами без воды, заброшенными памятниками и остановившимися часами, и это убеждало меня, что время остановилось не только в моем дворце, но и во всем Стамбуле. Я не слушал рассказа о том, как он подражал мне, каких успехов в торговле добился, вспомнил он и подходящие к нашей ситуации истории (рассказ о старом пастухе, заставшем жену с любовником, и рассказ о Гаруне ар-Рашиде, потерявшемся в одну из ночей «Тысячи и одной ночи»). Еще он рассказал сон Мевляны под названием «конкурс рисунка».

Утром передали по радио написанное мной сообщение об аресте и освобождении этого тщеславного человека; именно об этом сообщении у тебя, как ты пишешь, спрашивали наши западные друзья: что

за этим кроется? Лежа в постели и стараясь уснуть после бессонной ночи, я мечтал, что пустые площади вновь наполнятся народом, остановившиеся часы снова пойдут, а в кофейнях, где грызут семечки, на мостах, в кинотеатрах начнется жизнь, не мечта, не сон, а реальная жизнь. Не знаю, насколько мне удастся осуществлять мои мечты, но хорошо понимаю, что свобода, как это всегда бывает, дала толчок не столько претворению в жизнь моих идей, сколько вдохновению моих врагов. И снова в чайханах, в гостиничных номерах, под мостами собираются люди и что-то замышляют против нас; на стенах дворца по ночам появляются надписи, смысл которых трудно понять; но это все не важно: времена, когда падишахи, переодевшись, ходили «в народ», давно прошли.

На днях я прочитал, что Явуз Султан Селим, когда был наследником, переоделся, отправляясь в Иран, в одежды дервиша. Он прославился в Иране игрой в шахматы, и Шах Исмаил, интересовавшийся шахматами, пригласил молодого дервиша во дворец. После продолжительной партии Явуз победил Шаха. Я подумал: когда годы спустя Шах Исмаил понял, что победивший его человек был не дервиш, а османский император, отобравший у него Тебриз во время похода на Чалдыран, вспомнил ли он ходы той партии? Я помню все ходы моего надменного подражателя.

Кстати, мне больше не присылают шахматный журнал «King and Pawn», видимо, кончилась подписка; посылаю деньги на твой счет в посольстве, возобнови подписку.

Разгадка тайны

Глава, в которой читается и толкуется содержание лица.

Ниязи Мысри

Перед тем как приступить к чтению третьей главы книги «Тайна хуруфитов и ее забвение», Галип заварил крепкий кофе. Чтобы прогнать сон, он пошел в ванную, вымыл лицо холодной водой, однако удержался и не взглянул в зеркало. Садясь с чашкой кофе за рабочий стол Джелеля, он был исполнен энтузиазма, как лицеист, намеренный справиться с задачей, долго ждавшей решения.

По мнению Ф. М. Учунджу, в те дни, когда в Анатолии, в турецких землях, ожидалось пришествие Махди, который спасет весь Восток, главным было соотнести линии на человеческих лицах с двадцатью девятью буквами латинского алфавита, введенного в Турции в 1928 году: только так можно было открыть забытую тайну. На основании преданных забвению книг хуруфитов, песнопений бекташи, рисунков жителей Анатолии, легенд о призрачных хуруфитских деревнях, тысяч фигурок и линий, начертанных на стенах обитателей и дворцов пашей, он привел примеры того, как изменились некоторые звуки при переходе

от арабского и персидского к турецкому языку, а потом совершенно определенно показал новые буквы на фотографиях некоторых людей. Глядя на фотографии, о которых автор написал, что для понимания ясного смысла на этих лицах нет даже надобности видеть на них латинские буквы, Галип испытал некоторый ужас, как при разглядывании фотографий, собранных Джелялем. На фотографии самого Джеляля, когда ему было тридцать пять лет, Ф. М. Учунджу увидел на носу букву "U", в уголках глаз буквы "Z", а на всем лице лежащую на боку букву "H". Быстро перелистав несколько страниц, Галип увидел портреты и фотографии хуруфитских шейхов, знаменитых имамов, людей, посетивших другой мир и вернувшихся в этот, американских кинозвезд, чьи лица были полны глубокого смысла, таких, как Грета Гарбо, Хамфри Богарт, Эдуард Робинсон (американский киноактер) и Бетт Дейвис, знаменитых палачей и бандитов Бейюглу, о похождениях которых в молодости писал Джеляль. Далее автор объяснял, что каждая указанная буква имеет два смысла: собственный смысл буквы и скрытый смысл буквы на лице.

Так как мы соглашаемся, что у каждой буквы есть скрытый смысл, указывающий на какое-то понятие, рассуждал далее Ф. М. Учунджу, то у каждого слова, созданного из этих букв, должен быть второй, скры-

тый смысл. Точно так же второй, скрытый смысл есть у каждого предложения, абзаца, короче, у всего написанного. В результате получается бесконечная цепочка скрытых смыслов, и путем толкования можно во втором смысле открыть третий, а потом каждый последующий – в предыдущем. Это можно уподобить сети городских улиц, когда одна выходит на другую, а та – на следующую. Таким образом, читатель, который в меру своих знаний решался разгадать тайну, путешествуя с карандашом в руке по улицам на карте, ничем не отличался от того, кто совершал реальное путешествие по городу. Так вот, ожидаемый Спаситель, «Он», Махди, появится в том месте, где потеряются в глубинах тайны читатели, любители историй. Путник, получивший знак от Махди – в тексте или в реальной жизни, – с помощью ключа и шифра начнет искать свой путь в точке, где пересекаются и сливаются карты и лица. Это как искать нужный адрес по табличкам и указателям на улицах и проспектах, добавлял Ф. М. Учунджу с наивной радостью. Стало быть, проблема состояла в том, чтобы увидеть в жизни и написанных телах знаки, которые подаст Махди.

Читателя, готового вместе с ним строить предположения о грядущем, автор просил представить себе человека, который в любой момент может обратиться к широким читательским массам. «Например, журна-

лист», – писал он. Журналист, ведущий постоянную рубрику в крупной доеде, статьи которого каждый день читают сотни тысяч людей во всех уголках страны, на паромходах, в автобусах, маршрутных такси, кофейнях и парикмахерских, имеет возможность оповестить о тайных знаках Махди, указывающих путь. Для тех, кто не знает тайны, в его статье будет только один, ясный смысл, лежащий на поверхности. Но те, кто ждет Махди, кто знает шифры и знаки, увидят второй смысл букв, сумеют прочитать тайное послание и отправятся в путь. Кстати сказать, если в статье появятся слова Махди: «Я думаю об этом, когда смотрю на себя со стороны...», то обыкновенный читатель задумается лишь о странности этой фразы, но те, кто знает о тайне букв, сразу поймут, что эти слова-известие, которого они ждали, и, расшифровав его, отправятся в путь к новой, совершенно новой жизни.

Название третьей главы «Разгадка тайны» подсказывало не только, что найдена разгадка тайны того, что толкало Восток в рабство к Западу, но и указывало на то, что она содержится в посланиях Махди.

Далее Ф. М. Учунджу критиковал толкование шифров, предложенное Эдгаром По в его сочинении о тайных письменах, и сообщал, что метод измененного порядка алфавита ближе всего к методу, которым пользовались Халладж-и-Мансур в шифрован-

ных письмах и Махди в своих посланиях; в заключение автор подводил неожиданный итог: отправная точка всех шифров, всех разгадок есть буквы, которые путник прочтет на своем лице. Тот, кто хочет отправиться строить новый мир, должен сначала увидеть буквы на своем лице. Скромная книжица, которую Галип держал в руках, была руководством для читателя, помогающим найти буквы на лице каждого человека. Это был первый шаг к постижению знаков и шифров, позволяющих добраться до тайны. Махди сумеет разместить их в текстах, доступных понимающим, и он, конечно же, явится скоро. Это будет подобно восходу солнца.

Галип вспомнил, что «солнцем» Мевляна называл своего убитого возлюбленного Шемса, отложил прочитанную книгу и пошел в ванную, чтобы посмотреть в зеркало. Неясное смятение, бродившее в нем, теперь превратилось в откровенный страх: «Дже-ляль давным-давно прочитал смысл моего лица! Я стал совсем другим!» — подумал Галип; в этот миг, с одной стороны, он был играющим ребенком, а с другой — путешником, отправившимся в путешествие, из которого нет возврата.

Было двенадцать минут четвертого, в городе царило сказочное безмолвие, которбе могло быть только в этот час. Скорее это было ощущение безмолвия, по-

тому что полной тишины не было: в ушах стоял неясный звук, издаваемый то ли близкой котельной, то ли машинами плывущего вдали парохода.

Уже три дня ему не давала покоя одна мысль: если Джеляль не послал в газету новую статью, то с завтрашнего дня его рубрики не станет. Ему даже думать не хотелось, что существовавшая много лет рубрика вдруг исчезнет: ему казалось, что, если новая статья не появится, это будет означать, что Рюйя и Джеляль, которые разговаривают и смеются сейчас неизвестно где, перестанут ждать Галипа. Он достал наугад из шкафа одну из старых статей и, читая ее, подумал: «Я тоже могу так написать!» У него ведь теперь был рецепт, нет, не тот, что дал ему три дня назад в редакции пожилой журналист, совсем другой. «Я знаю все, все его статьи, я их прочитал». Последнее слово он произнес вслух, принимаясь читать еще одну статью. Впрочем, это даже нельзя было назвать чтением; он пробежал по написанному глазами, произносил про себя слова, пытаясь проникнуть во второй смысл слов и букв, и по мере чтения чувствовал, как все больше и больше приближается к Джелялю. Что есть чтение, если не постепенное постижение сознания другого человека?

Он снова отправился в ванную и стал читать в зеркале буквы на своем лице.

Спустя месяцы, каждый раз, когда Галип усаживался за стол в этом доме, чтобы писать очередную статью среди вещей, упорно хранивших Прошлое, он вспоминал тот миг, и в голову приходило единственное слово: ужас. В первый момент, когда он, взволнованный игрой, посмотрел в зеркало, у него не возникло страха перед ассоциациями, которые могло вызвать это слово. Он ощутил только внутреннюю пустоту: никаких воспоминаний, никаких эмоций. Глядя на себя, как на фотографии премьер-министров и кинозвезд в газетах, он не думал, что разгадывает тайну, распутывает тайную игру, заняться которой хотел много дней; он просто смотрел на свое лицо, как на старое пальто, к которому привык, надевая его каждый день, как на привычное зимнее утро или старый зонтик, на который смотрят, не замечая его. Спустя какое-то время Галип подумает: «Я тогда настолько привык жить с самим собой, что не замечал своего лица». Однако спокойствие его было недолгим: едва он сумел посмотреть на свое отражение в зеркале с тем же вниманием, с каким много дней смотрел на сотни фотографий, на лице тут же обозначились тени букв.

Станным было прежде всего то, что можно смотреть на собственное лицо словно на лист исписанной бумаги или таблицу со значками, на которой можно было различить буквы, проступившие между гла-

зами и бровями. Через некоторое время буквы приобрели настолько определенные очертания, что Галип задумался: почему он не видел их прежде? Может, это видение от усталости, от многочасового разглядывания букв на фотографиях; он отходил от зеркала, а когда возвращался к нему, видел буквы на прежних местах: эти буквы, проступив, не исчезали, как фигурки в рисунках-загадках на страницах детских журналов, когда при одном взгляде ты видел ветви дерева, а при другом притаившегося в ветвях вора; эти буквы оставались на своих местах, там, внутри топографии лица, которое Галип рассеянно брил каждое утро, в области носа, где хуруфиты настойчиво размещали «алиф», внутри глаз и бровей, внутри скругленной поверхности, называемой «овал лица». Теперь прочитать их было несложно, сложно было не прочитать. Галип попытался избавиться от нервировавшего его видения на своем лице и пустил в ход придерживаемую на всякий случай в уголке сознания мысль (она пришла к нему, пока он внимательно читал и просматривал фотографии и книги хуруфитов) о том, что все это смешно, это лишь детские игры, все эти буквы и лица и их взаимосвязи надуманны, но изгибы и линии на его лице так четко указывали на некоторые буквы, что он не в силах был оторваться от зеркала.

Все случилось так быстро, он так быстро увидел

буквы и слово, на которое они указывали, что впоследствии не мог вспомнить, родилось ощущение ужаса оттого, что лицо его обратилось в маску с обозначенными знаками, или оттого, что он понял смысл, начертанный буквами.

Всякий раз, думая о своем лице, он понимал, что Джеляль не только видел буквы под его глазами, но и знал, что настанет день, когда Галип и сам их увидит; Галип осознавал, что они вместе начали эту игру, но не мог с уверенностью вспомнить, подумал ли он об этом, когда в первый раз разглядывал себя в ванной. У него было странное состояние: он хотел плакать, но не мог, ему было трудно дышать, из горла вырвался стон, который он не в силах был сдержать; рука потянулась к окну.

Открыв окно, он уперся локтями в раму и наклонился вниз, в бездонный колодец простенка: оттуда шел отвратительный запах, запах скопившегося за полвека голубинового помета, выброшенных вещей, домашнего мусора, городского дыма, грязи-запах безнадежности. Сюда бросали то, о чем хотели забыть. Взять да и броситься в невозвратную темень пустоты, нырнуть в воспоминания, от которых у нынешних жителей не осталось и следа, в паутину тьмы, которую терпеливо, годами плел Джеляль, украшая ее мотивами колодца, тайны, загадок старой поэзии; но Галип лишь

стоял и смотрел вниз, как пьяный, силящийся что-то вспомнить.

Все было ясно, понятно и определено. Оценивая свои последующие действия, он нашел их логичными, разумными и необходимыми. Он пошел в гостиную и немного посидел в кресле. Отдыхая, навел порядок на столе Джеляля, аккуратно сложил бумаги, газетные вырезки и фотографии в коробки и убрал их в шкаф. Привел в порядок не только то, что разбросал за два дня пребывания в квартире, но прибрал и за Джелялем: вытряхнул пепельницы, вымыл чашки и стаканы, приоткрыл окна и проветрил квартиру. Умыл лицо, снова заварил крепкий кофе, на чистый стол поставил старую и тяжелую пишущую машинку Джеляля-"ремингтон" и сел. Бумага, которой всегда пользовался Джеляль, лежала в ящике стола; он вынул лист, вставил в машинку и тут же начал печатать.

Первую статью он начал словами: «Я подошел к зеркалу и прочитал свое лицо». Вторую: «Наконец во мне я стал человеком, быть которым мечтал столько лет». В третьей он повел речь о старых историях, связанных с Бейоглу. Вторую и третью статьи он написал легче, чем первую, но с большей горечью и надеждой. Он был уверен, что статьи получились именно такие, какие нужны для рубрики Джеляля, и не сомневался, что их напечатают. Под каждой статьей он

поставил подпись Джеляля, которую тысячи раз изображал на последних страницах своих школьных и лицейских тетрадей.

Когда рассвело и проехал мусорный грузовик, в котором гремели, ударяясь друг о друга, контейнеры, Галип изучил фотографию Джеляля в книге Ф. М. Учунджу. На одной из страниц увидел также выцветшую фотографию без подписи и решил, что это и есть автор. Он внимательно прочитал биографию Ф. М. Учунджу в начале книги; подсчитал, сколько лет ему было, когда он впутался в неудавшийся военный переворот 1962 года. Если, направившись в чине лейтенанта к первому месту службы в Анатолии, он мог видеть выступления молодого тогда борца Халита Каплана, значит, он был примерно в возрасте Джеляля. Галип просмотрел фотографии выпускников в ежегодниках военного училища за 1944-1946 годы. Он встретил несколько лиц, которые могли бы быть изображением в молодости того человека, чья неподписанная фотография была помещена в книге. Но приметной там была лысая голова, а в военном ежегоднике все были в офицерских фуражках.

В половине девятого, засунув во внутренний карман пиджака три сложенных статьи, он надел пальто и стремительно, как торопящийся на работу отец семейства, вышел из дома Шехрикальп.

Редактор газеты был на совещании с руководителями отделов. Галип постучал в дверь и, немного пождав, вошел в кабинет Джеляля. Со дня его первого прихода здесь ничего не изменилось, все вещи были на своих местах. Он сел за стол Джеляля и начал быстро перебирать ящики: старые приглашения на коктейли, вырезки из газет, которые он видел в прошлый раз, пуговицы, галстук, наручные часы, пустые пузырьки из-под чернил, лекарства и темные очки, на которые в прошлый раз он не обратил внимания. Надев темные очки, он вышел в коридор. Войдя в просторный кабинет редакторов, он увидел что-то писавшего за столом Нешати. Стоящий около него стул, на котором в прошлый раз сидел журналист из иллюстрированного журнала, был пуст. Галип подошел к столу, сел и спросил:

– Вы меня помните?

– Помню! Вы цветок в саду моей памяти, – ответил Нешати, не поднимая головы. – Память – это сад, чьи слова?

– Джеляля Салика.

– Нет, это слова Ботфолио, – сказал старый журналист и посмотрел на Галипа, – из классического перевода Ибн Зерхани. Джеляль Салик, как всегда, своровал. Как вы его темные очки.

– Очки мои, – сказал Галип.

– Стало быть, очки тоже создаются парами, как люди. Дайте-ка посмотреть. Галип снял и отдал очки. Старик осмотрел очки, надел их и стал похож на одного из знаменитых бандитов 1950-х, о которых писал Джеляль, на хозяина казино, публичного дома или владельца заведения, того, что пропал вместе с «кадиллаком». Старик взглянул на Галипа, загадочно улыбаясь:

– Напрасно говорили, что надо уметь иногда смотреть на мир глазами другого человека. Якобы именно тогда человек начинает постигать тайну мира и людей. Вам понятно? Чьи это слова?

–Ф. М. Учунджу,-ответил Галип.

– Ничего подобного. Он просто глупец из числа обездоленных. От кого ты слышал его имя?

– Джеляль сказал, что это один из псевдонимов, которым он много лет пользовался.

– Стало быть, человек, выживая из ума, не только отрицает свое прошлое, но и вспоминает о других, как о себе. Не думаю, что наш ловкач Джеляль настолько впал в маразм. Нет, у него точно здесь какой-то расчет, он сознательно солгал. Ф. М. Учунджу – это реально существовавший человек. Это был офицер, который двадцать пять лет назад буквально завалил нас своими письмами. Одно-два письма мы для приличия опубликовали среди читательских откликов, после че-

го он стал каждый день приходить в редакцию, как на работу. И вдруг пропал. Двадцать лет его не видели. А неделю назад пришел, сверкая своей лысиной, явился, чтобы увидеться со мной, оказывается, он восхищен моими статьями. Он был грустен и сообщил, что проявились «знаки».

– Какие знаки?

– Ладно, ладно, уж ты-то знаешь. Или Джеляль ничего не говорил? Время настало, знаки появились, начинаются уличные волнения, грядет светопреставление, революция, спасение Востока, а?

– Позавчера мы с Джелялем вспоминали вас в связи со всем этим.

– Где он прячется?

– Я не помню.

– Сейчас идет заседание редколлегии, – сказал Нешати, – твоему дяде Джелялю дадут от ворот поворот, потому что он не приносит новых статей. Скажи ему, что они собираются предложить мне его рубрику на второй странице, но я откажусь.

– Позавчера, когда Джеляль рассказывал о военном перевороте начала 60-х годов, к которому вы оба имели отношение, он говорил о вас с большой теплотой. .

– Ложь, – не поверил журналист, – он ненавидит и меня, и всех нас. Джеляль продал переворот. Ра-

зумеется, тебе он этого не рассказывал, небось говорил, что это он все организовал, но твой дядя Джеляль принял участие в событиях, как всегда, только после того, как в успехе уже никто не сомневался. А до этого, когда газету только начали рассылать по всей Анатолии, когда, передавая ее из рук в руки, читатели рассматривали рисунки пирамид, минаретов, масонских символов, ящериц, сельджукских куполов, царских русских банкнот и многого другого, Джеляль просто собирал фотографии своих читателей, как дети собирают фотографии артистов. Однажды он написал историю о мастерской манекенов, в другой раз стал говорить о «глазе», который следит за ним на улицах по ночам. Мы поняли, что он хочет присоединиться к нам, и согласились. Мы думали, он будет писать на наши темы в своей рубрике и вовлечет некоторых военных. Где там вовлекать! Вокруг было полно энергичных спекулянтов, любителей наживы, типа твоего Ф. М. Учунджу. Первым делом Джеляль ухватился за них, потом связался с другой сомнительной компанией, которая играла в шифры, знаки и буквы. После каждой встречи, которую он считал новой победой, он приходил к нам и торговался за кресло, которое займет после революции. Чтобы набить себе цену, он говорил, что встречался с представителями некоторых тайных религиозных сект, с ожидающими

Махди или с теми, кто получал известия от османских наследников, прозябающих во Франции и Португалии, говорил, что у него есть письма от удивительных людей, но покажет он их нам потом, что посетившие его дома внуки паши или шейха оставили ему рукописи и завещания, полные тайн, что по ночам в газету повидаться с ним приходят странные люди. Все это, всех этих людей он выдумал. В те же дни Джеляль, не знавший толком даже французского языка, вздумал распространить слух, что после революции он станет министром иностранных дел. Он писал тогда в своей рубрике всякие истории, которые называл завещанием мистического черного человека, он публиковал-всякий вздор, где в большом количестве были пророки, Махди, светопреставления, жонглировал словами, сообщая о заговоре, который откроет некую истину, связанную с нашей историей. Я решил, что пора его немного прижать, сел и в своей рубрике написал статью, где раскрыл правду с помощью Ибн Зерхани и Ботфолио. Джеляль оказался трусом! Он тут же ушел от нас и примкнул к другим группам. Говорят, для того, чтобы доказать новым друзьям, более тесно связанным с молодыми офицерами, что люди, которых я называл выдуманными, существуют на самом деле, он по ночам надевал их одежду. В один из вечеров он появился в кинотеатре в районе Бейоглу в образе

то ли Махди, то ли султана Мехмеда Фатиха; он убеждал изумленную толпу в необходимости всему народу сменить одежду и войти в новую жизнь: американские фильмы бездарны так же, как и наши, подражать им не имеет смысла. Он натравливал толпу зрителей на создателей фильмов; он хотел быть лидером. А «Спасителя» ждала тогда, как и сейчас, вся турецкая нация, а не только «бедные мещане», живущие в окраинных кварталах, в домах-развалюхах на грязных улицах, о которых он так часто писал. Все верили, что если произойдет военный переворот, то подешевеет хлеб, а если грешники пройдут через пытки, то откроются двери в рай, верили со всей искренностью и надеждой. Но Джеляль был ненасытен, его одолевала одна забота-привязать всех к себе; из-за этого группы, готовящие переворот, перессорились друг с другом, и вышедшие на улицу танки не отправились ночью к Дому радио, а вернулись к себе в казармы. Результат: мы все еще пожинаем плоды этого, но поскольку нам стыдно перед Западом, мы время от времени устраиваем выборы и ходим голосовать, чтобы иметь право сказать иностранным журналистам, что мы похожи на европейцев. Это вовсе не означает, что у нас нет надежд и никакого пути спасения. Путь спасения есть. Если бы английские телевизионщики захотели поговорить не с Джелялем, а со мной, я бы раскрыл

им тайну, как мог бы Восток еще десять тысяч лет оставаться счастливым. Галип, сынок, твой дядя Дже-ляль – неполноценный человек. Для того чтобы нам быть самими собой, совершенно не обязательно хранить парики, съемные бороды, исторические костюмы. Махмуд I переодевался каждый вечер, но знаешь, что он надевал? Феску вместо падишахского тюрбана и брал в руки трость; вот и все! Нет никакой необходимости, как Джеляль, каждый вечер часами накладывать грим, надевать роскошное или рваное нищенское одеяние. Наш мир-единый мир, он не разорван на части. Внутри этой вселенной есть еще другая вселенная, но это не мир, скрытый за декорациями, как на Западе: приподними занавес, и увидишь истину. Наш скромный мир-повсюду, центра у него нет, на картах он не обозначен. Вот это и есть наша тайна; потому что понять это трудно, очень трудно. Это требует усилий. Много ли найдется у нас умных, которые знают, что вся вселенная ищет их тайну, а они ищут тайну всей вселенной? Только те, кто понимает это, заслуживают права занимать место другого человека и переодеваться в чужие одежды. Единственное, что объединяет нас с твоим дядей Джелялем: я так же, как и он, жалею наших бедных кинозвезд, которые не в состоянии быть ни самими собой, ни кем-то другим. А еще больше я жалею наш народ, который видит се-

бя в этих кинозвездах.

Наш народ мог спастись, даже весь Восток мог спастись, но твой дядя Джеляль продал его из-за своего честолюбия. И вот теперь, испугавшись собственных сочинений, он бежит от этого народа, прихватив с собой странные одеяния. Почему он скрывается?

– Разве вы не знаете, что каждый день на улицах по политическим мотивам убивают чуть ли не пятнадцать человек?

– Это не политические убийства. К тому же если дерутся лжесектанты с лжемарксистами и лжефашистами, что до этого Джелялю? Про него давно все забыли. Скрываясь, он призывает смерть на свою голову, он хочет заставить нас поверить, что он очень важная птица и его могут убить. Во времена правления Демократической партии был у нас один журналист, ныне покойный, он был хорошим, законопослушным и трусливым человеком; чтобы привлечь к себе внимание, он каждый день писал прокурору доносы на себя; он думал, что против него возбудят дело и он прославится. Но ему было мало, что он сам на себя пишет доносы, так он еще нас обвинял, что их пишем мы. Понимаешь? Джеляль вместе с памятью потерял и прошлое, единственное, что связывало его со страной. Не случайно он не пишет новых статей.

– Он послал меня к вам, – Галип вынул листы из

кармана пиджака, – он попросил, чтобы я передал новые статьи для его рубрики.

– Давай.

Пока старый журналист, не снимая темных очков, читал три статьи, Галип увидел в раскрытом томе, лежащем на столе, старый перевод «Замогильных записок» Шатобри-ана. В дверях показался высокий человек, журналист подозвал его:

– Новые статьи Джеляля-эфенди, – сказал он, – опять то же самое, опять искусство словесности.

– Отправим вниз, пусть немедленно набирают, – отозвался высокий, – а мы уж собирались дать что-то из старых материалов.

– Некоторое время я буду приносить статьи, – сказал Галип.

– А где он? – поинтересовался высокий. – Все его ищут.

– Они оба по ночам занимаются переодеванием, – съязвил старый журналист, кивая в сторону Галипа. Высокий удалился с улыбкой, а старик повернулся к Галипу: – В странных одеждах, масках, в этих очках вы идете на призрачные окраинные улицы по следам привидений и тайн, забытых сто двадцать лет назад, в мечети с рухнувшими минаретами, пустые дома, покинутые обитатели, в гущу фальшивомонетчиков и наркоманов, не так ли? Ты сильно изменился с тех пор, как

мы не виделись, Галип-бей, сынок. Лицо твое побледнело, глаза ввалились, ты стал другим. Стамбульские ночи не кончаются. Призрак, который не может спать, потому что его терзают муки совести за содеянные им грехи. Вы что-то сказали?

– Пойду я, эфенди, дайте очки.

Брат мой

Из всех монархов, о которых я слышала, Га-рун ар-Рашид, калиф Багдадский, по-моему, больше всего приближается к Господу в своем понимании истины. Уж он-то, как вам известно, знал толк в маскараде.

Исак Динесен

Не снимая темных очков, Галип вышел из здания газеты «Миллиет» и направился не к своей конторе, а к Капалычарши (Самый старый и самый большой крытый рынок в Стамбуле). Проходя мимо лавок, торгующих товарами для туристов, и дальше, через двор мечети Нуруосмание, он вдруг ощутил груз бессонных ночей, и Стамбул показался ему совсем другим городом. Кожаные сумки, пенковые трубки и кофейные мельницы, которые он увидел на Капалычарши, показались ему не обыденными предметами привычного города, которыми люди пользовались тысячелетиями, а пугающими знаками непонятной страны, куда временно сосланы миллионы людей. «Странное дело, – подумал Галип, продвигаясь по беспорядочным улицам Капалычарши, – после того как я прочитал буквы на своем лице, я не могу верить, что стану самим собой».

На душе у Галипа было покойно, он шел по улицам словно во сне. Всякая чепуха, которую он видел в витринах, лица, попадавшие на улицах, впервые показались ему и удивительными, как в его снах, и знакомыми и успокаивающими, как на шумном семейном обеде. Но как только он вступил на узкие улочки Бедестана, крытого рынка, где витрины зеленогастекла отражали друг друга, чувство покоя пропало. «Кто-то преследует меня», – встревожился он.

Он не увидел вокруг никого подозрительного, но его охватило чувство медленно и неумолимо приближающейся катастрофы. Он ускорил шаг. Дойдя до улицы, где торговали шапками, он повернул направо, хотел было пройти не останавливаясь мимо букинистических рядов, но вдруг название лавки издательства «Алиф», которое он хорошо знал, показалось ему знаковым. Удивительным было не то, что первая буква имени Всевышнего и арабского алфавита, из которой, согласно хуруфитам, вышли все буквы, а стало быть, и весь мир, была названием лавки, а то, что слово «алиф», как предвидел Ф. М. Учунджу, было написано латинскими буквами.

Ощущение слезки не покидало Галипа, шаги его невольно убыстрялись, а город из спокойного места, со знакомыми знаками и предметами, превращался в пугающий мир, полный опасностей и тайн. Галип по-

нял, что только если он пойдет быстрее, еще быстрее, он сможет оторваться от тени позади себя и избавиться от охватившего его чувства беспокойства.

Стремительно перейдя площадь Беязыт, он пошел по проспекту Чадырджилар, затем свернул на улицу Семавер, только потому, что ему нравилось это название, а потом по параллельной улице Наргиледжи спустился вниз, к Золотому Рогу, и по улице Хаван-джи снова взобрался наверх.

Пройдя мимо многолюдного рынка, где продавали ставриду, скумбрию, камбалу, он вышел во двор мечети Фатиха, у которой сходились все улицы. В просторном дворе никого не было, кроме одного человека в черном пальто с черной бородой – как ворона на снегу. На маленьком кладбище тоже было пусто. Дверь мавзолея Фатиха была заперта; Галип через запыленное окно смотрел внутрь, слушая гул города: крики продавцов с рынка, сигналы машин, далекие детские голоса из двора начальной школы, удары молота, звуки моторов, щебет воробьев и карканье ворон на деревьях во дворе, звук проносящихся микроавтобусов, стрекот мотоциклов, стук открывающихся и закрывающихся где-то поблизости окон. Ему вдруг захотелось быть на месте Фатиха Мехмеда, который, благодаря попавшей ему в руки книге хуруфитов, понял, что в этом городе есть тайна, и начал понемно-

гу разгадывать мир, где каждая дверь, каждая труба, каждая улица, каждая арка, каждая чинара означала нечто иное, чем она есть.

«Интересно, если бы хуруфитские книги и хуруфиты не были сожжены в результате заговора,-размышлял Галип, идя по улице Хаттат Иззет в сторону улицы Зейрек, – и падишах постиг тайну города, что он понял бы, бродя по улицам среди византийских построек и глядя, как я сейчас, на разрушенные стены, древние чинары, пыльные улицы, пустыри?» Дойдя до старых жутких зданий табачных складов Джибали, Галип нашел ответ на свой вопрос, собственно, он знал его с того момента, как прочел буквы на своем лице; «Подумал ли бы падишах, впервые увидевший город, что он когда-то уже был здесь?» Сейчас Галип воспринимал Стамбул как только что завоеванный город. Словно он никогда прежде не видел этих грязных улиц, разбитых мостовых, разрушенных стен, серых печальных деревьев, устаревших автомобилей, совсем разбитых автобусов, одинаковых тоскливых морд похожих друг на друга, тощих-кожа да кости-уличных собак.

В автобусе, идущем на Таксим, в который он сел в Ункапаны (Район в европейской части Стамбула), Галип почувствовал взгляд своего преследователя совсем близко, на затылке, и был поражен, что тот че-

ловек успел так быстро сориентироваться и поспеть за ним. Пересев на Таксима в другой автобус, Галип подумал, что, если ему удастся разговориться со стариком, сидящим рядом, он станет другим человеком и, возможно, избавится от преследующей его тени.

– Интересно, пойдет ли снова снег? – начал Галип, глядя в окно.

– Кто ж знает? – отозвался старик и вдруг вскрикнул: – Смотри!

Галип посмотрел из-под темных очков на то место, куда указывал старик, и ничего не сказал. На мостовой перед самым Домом радио лежал человек, кричали люди, вокруг собиралась толпа любопытных. Образовалась пробка, и пассажиры автобуса, стоящие и сидящие, вытянувшись к окнам, со страхом и ужасом смотрели на лежащее в луже крови тело.

Пробка рассосалась, автобус двинулся дальше, но в нем царило молчание. Галип вышел напротив кинотеатра «Конак». На Анкарском базаре, раскинутом на углу Нишан-таши, купил соленого тунца, закуску из баклажанов, язык, бананы, яблоки и быстрыми шагами направился к дому Шехрикальп. Сначала он спустился в квартиру привратника: Камер и Исмаил сидели с маленьким внуком за обеденным столом, покрытым голубой клеенкой, и ели картошку с котлетами; в доме царило такое семейное счастье, какое, по пред-

ставлению Галипа, бывало лишь в старые времена.

– Приятного аппетита, – пожелал Галип и после некоторого молчания спросил, передали ли они пакет Джелялю.

– Мы звонили, звонили, его дома не было, – объяснила жена привратника.

– Сейчас он наверху. Где пакет?

– Джеляль наверху? Если ты к нему идешь, прихвати квитанции за электричество. – Исмаил встал из-за стола, взял квитанции и стал перебирать их, поднося по одной к близоруким глазам.

Галип вынул из кармана ключ, с которого успел сделать копию, и быстро повесил на пустой гвоздь над батареей. Они не заметили. Взяв пакет и квитанцию, он вышел.

– Пусть Джеляль не беспокоится, я никому про него не говорю, – весело сказала вслед Камер.

Галип впервые с удовольствием вошел в старый лифт дома Шехрикальп: в нем по-прежнему пахло машинным маслом и политурой, и он так же стонал, начиная движение, словно старик с больной поясницей. Зеркало, глядя в которое они с Рюйей мерились ростом, было на месте; Галип не стал смотреть в него, боясь снова испытать ужас, вселяемый в него буквами.

Войдя в квартиру, он едва успел снять и повесить

пальто и пиджак, как зазвонил телефон. Перед тем как поднять трубку, он, чтобы быть готовым ко всему, помчался в ванную и несколько секунд смотрел в зеркало, смотрел смело, решительно: все было на своем месте – все, весь мир с его тайнами. «Знаю,-сказал себе Галип, – знаю». Он знал, что услышит голос, предупреждающий о военном перевороте.

– Алло,-сказал он в трубку, – как сегодня тебя зовут? Столько людей скрывается под чужими именами, что я уже боюсь.

– Умное начало, – услышал он в ответ. В голосе была неожиданная для Галипа уверенность. – Дай ты мне имя, Джеляль-бей.

– Мехмед.

–Фатах Мехмед?

–Да-

– Хорошо, я – Мехмед. Я не нашел твоего имени в справочнике. Дай адрес, я приеду.

– Почему я должен дать тебе адрес, который скрываю от всех?

– Потому что я – простой добронамеренный гражданин и хочу успеть предоставить знаменитому журналисту доказательства приближающегося кровавого военного переворота.

– Для простого гражданина ты знаешь обо мне слишком много.

– Я много лет внимательно читал то, что писал ты и что писали о тебе. Так что я знаю даже, что после одной статьи владелец газеты отругал тебя и посоветовал более внимательно относиться к стилю.

– К стилю? Что ты можешь сказать о моем стиле?

– Стиль был для тебя жизнью. Стиль был твоим голосом. Он был твоими мыслями. Свою истинную сущность ты выражал с помощью стиля, причем сущностей было три.

– Какие же?

– Первая – та, что ты называл «моя простая человеческая личность»; ее ты показывал всем, когда садился за семейные обеды и вместе со всеми после них сплетничал, пуская кольца сигаретного дыма. Этот человек жил твоей повседневной жизнью. Вторая личность-это тот, кем ты хотел быть: эту маску ты увидел на людях, не нашедших себя в этом мире и пытавшихся жить в другом или восторгавшихся теми, кто сумел прикоснуться к волшебству другого мира. Ты писал о своей привычке выдумывать «героя», которым сам хотел бы быть, а потом шепотом разговаривать с ним, ты писал о том, как повторял нашептываемые тебе этим «героем» загадки, словесные игры, насмешки; а иначе ты не выдержал бы тяжести жизни и, как большинство неудачников, забился бы в угол и ждал смерти; ты написал, а я со слезами про-

читал это. А твоё третье "я" – «объективный стиль, субъективный стиль» – уводило тебя и, конечно же, меня в миры, которые были недоступны двум первым! Я хорошо знаю, что ты писал бессонными ночами, когда не желал никому подражать, но что ты переживал этими ночами, знаешь только ты, брат мой. Мы поймем друг друга, мы должны найти друг друга, мы вместе сменим одежды, дай мне для этого адрес. Дай, умоляю: я тебе сразу принесу мою коллекцию потрясающих лиц, которую я собирал двадцать лет: там есть фотографии ревнивых влюбленных, снятые в момент, когда они уличали друг друга во лжи; бородатых и безбородых сектантов, которых запечатлели в момент, когда они, нарисовав на лицах арабские буквы, совершали тайное богослужение; фотографии курдских повстанцев, на лицах которых не осталось букв после ожога напалмом, и фотографии повешенных в провинции насильников; я добыл их из судебных дел за огромные взятки. Это совсем не похоже на карикатуры: мыльная веревка на шее и вывалившийся язык. Просто буквы на лицах видны более отчетливо. Я знаю теперь, что двигало тобой, когда ты написал в одной из старых статей, что предпочитаешь старых исполнителей казни и палачей. Я знаю, как тебя интересуют шифры, словесные игры и тайнопись; знаю, в какие одежды ты рядился по ночам,

смешиваясь с толпой, чтобы отыскать забытую тайну. Знаю, какие игры вы устраивали с твоей сестрой для ее мужа-адвоката, чтобы потом до утра издеваться над всем и всеми и рассказывать правдивые бесхитростные истории, которые сделают нас нами.

Галип положил трубку и отключил телефон. Словно лунатик, бродящий в поисках своих воспоминаний, он снова листал тетради Джеляля, перебирал одеяния; потом надел пижаму Джеляля и, уже когда лежал в его постели, погружаясь в долгий и глубокий сон под вечерний шум, доносившийся с площади Нишанташи, понял еще яснее, чем хорош сон для человека-это возможность забыть, как далек он от идеала, к которому стремится; и еще: во сне легко переплетается то, что мы слышали и чего не слышали, что видели и чего не видели, что знали и чего не знали.

Я просто – преданный читатель

В себе я отразил тебя.
Сулейман Челеби

Заснув в квартире Джеляля днем в среду после двух бессонных ночей, Галип проснулся на рассвете в четверг, хотя это нельзя было назвать полным пробуждением. В промежутке между четырьмя часами утра, когда он встал под звуки утреннего азана, и семью, когда он снова лег, он пребывал в состоянии «между сном и явью», о котором часто писал в статьях Джеляль. Галип попытался вспомнить, что произошло в последнее время.

Как большинство людей, крепко заснувших после долгой бессонницы и чрезмерной усталости и внезапно проснувшихся, он с трудом вспомнил, на чьей постели спит, в чьей комнате, в чьем доме находится и как он сюда попал. Впрочем, нельзя сказать, что ему понадобились слишком большие усилия, чтобы вырваться из приятного забытья.

Когда совсем рассвело, Галип машинально включил в розетку телефон, умылся, позавтракал тем, что оставил в холодильнике, и потом снова лег на кровать Джеляля. Перед тем как снова отправиться в страну,

больше похожую на сон, чем на явь, они с Рюйей, дети, оказались в лодке на Босфоре. В лодке не было ни мам, ни тетей, ни лодочника; оставшись наедине с Рюйей, Галип чувствовал себя неуверенно. >

Его разбудил телефонный звонок. Подходя к телефону, Галип думал, что это, конечно, не Рюйя, а опять тот же мужской голос. Услышав в трубке женский голос, он удивился.

– Джеляль, Джеляль, это ты?

Голос был немолодой и совершенно незнакомый. —

– Да, я.

– Дорогой, где ты? Как ты? Я столько времени тебя ищу! Последние слова она произнесла всхлипывая.

– Простите, я не узнал вашего голоса.

– Вашего голоса, – передразнила женщина Галипа, – вашего голоса, он мне говорит «вашего голоса», подумать только: я для него стала «вашим голосом». – Она помолчала немного, а потом с уверенностью игрока, полагающегося на свои карты, полу-заговорщицки-полувысокомерно произнесла: —. – Я – Эмине.

Никаких ассоциаций с этим именем у Галипа не возникло.

– Да, и что?

– Что «да»? Больше тебе нечего сказать?

– Через столько лет... – пробормотал Галип.

– Дорогой, знаешь, что со мной стало, когда через столько лет я увидела наконец в газете, что ты обращаешься ко мне? Двадцать лет я ждала этого дня. И вот наконец прочитала эти слова. Мне хотелось кричать, кричать на весь мир. Я словно обезумела, из глаз моих полились слезы. Ты знаешь, Мехмеда отправили в отставку за то, что он участвовал в перевороте. Но каждое утро он уходит из дома, у него все время дела. Как только он вышел, я побежала в наш переулок в Куртулуше (Район в европейской части Стамбула.), но там ничего не осталось, ничего. Все изменилось, все разрушено. И нашего дома на месте нет. Я плакала, стоя на улице. Люди стали мне сочувствовать, дали воды. Я тут же вернулась домой, уложила чемодан и сбежала, пока Мехмед не вернулся. Джеляль, дорогой, скажи, где найти тебя? Семь дней я брожу по городу, ночью в гостиницах или у дальних родственников и пытаюсь найти тебя. Сколько раз я звонила в редакцию, там отвечают: «Не знаем». Звонила твоим родственникам – то же самое. По этому телефону звонила-никто не отвечал. Из вещей я взяла только кое-какие мелочи, да и не хотела ничего брать. Мехмед упорно разыскивает меня. Я оставила ему коротенькое письмо без всяких объяснений. Он не знает, почему я ушла; ни единому человеку не рас-

сказала я о нашей любви, дорогой мой, о моей любви, о моей тайне, единственном, чем я горжусь в жизни. Как мне тебя увидеть?

– Ханымэфенди, – сказал Галип очень вежливо, – ханымэфенди, я все забыл. Это какая-то ошибка, я уже давно не пишу для газеты, они печатают мои статьи тридцатилетней давности. Понимаете?

– Нет.

– Я не хотел в своей статье ни вам, ни кому другому посылать какой-либо знак. Я больше не пишу. Но газета публикует мои старые статьи. Значит, те слова были в моей статье, написанной тридцать лет назад.

– Ложь! – воскликнула женщина. – Ложь! Ты меня любишь. Ты меня очень любил. И писал все время обо мне. – Рассказывая о прекрасных уголках Стамбула, ты писал о той улице, где стоял дом, в котором мы встречались с тобой, описывал наш маленький уголок в Куртулуше, липы, которые ты видел из окна. Пожалуйста, не отрицай, я знаю, что ты любишь меня.

– Ханымэфенди, как вы сами говорите, все это было очень давно. Я уже ничего не помню, я все давно забыл.

– Дорогой мой Джеляль, Джеляльчик, это не ты. Не могу поверить. Тебя там что, насильно держат? Заставляют так говорить? Ты один? Скажи правду, скажи, что много лет любил меня. Я ждала восемнадцать

лет и буду ждать еще столько же. Только скажи мне, скажи, что любишь меня. Ну хорошо, скажи хотя бы, что тогда любил меня, и я больше не буду звонить, никогда.

– Я любил.

– Скажи мне: дорогая.

– Дорогая.

– Нет, не так, от души скажи.

– Ханымэфенди, пожалуйста, пусть прошлое останется прошлым. Я постарел, да и вы, наверно, уже не молоды. Я совершенно не тот человек, каким вы меня представляете. Прошу вас, давайте поскорее забудем об этих неверно понятых вами словах.

– О Аллах! Что же мне делать?

– Возвращайтесь домой, к мужу. Если он любит вас, то простит. Придумайте что-нибудь; если он любит вас, то сразу поверит. Постарайтесь больше не огорчать вашего мужа, вашего любящего мужа, возвращайтесь поскорее домой.

– Я хочу увидеть тебя, хоть один раз, через восемнадцать лет.

– Ханымэфенди, я совсем не тот человек, каким был восемнадцать лет назад.

– Нет, тот. Я читаю твои статьи. Я все про тебя знаю. Я много, так много о тебе думала. Скажи мне, ведь день избавления недалек, правда? Кто этот Спаси-

тель? Я тоже жду его. «Он»-это ты. Я знаю. И многие знают. Ты – носитель тайны. Ты появишься не на белом коне, а в белом «кадиллаке». Все видят этот сон. Джеляльчик, как я тебя люблю! Ну хоть разок, хоть издалека я хочу тебя увидеть. Дай мне посмотреть на тебя издалека. В каком-нибудь парке. Ну например, в Мачке. Приходи в пять часов в парк Мачка.

– Ханымэфенди, извините, я кладу трубку. И как пожилой человек, удалившийся от мира, ради вашей любви, которой я никогда не был достоин, прошу ответить мне на вопрос: пожалуйста, скажите, как вы узнали мой телефон? Есть ли у вас какие-нибудь мои адреса? Для меня это крайне важно.

– Если я скажу, ты позволишь мне разок увидеть тебя? Воцарилось молчание.

–Сначала дай свой адрес,-лукаво сказала женщина.-Через столько лет... Я тебе не доверяю.

Галип задумался. На том конце провода он слышал нервное, шумное дыхание женщины, а может, и двух людей, подумал Галип.

– Мой адрес... – начал он, но женщина закричала:

–Нет, нет, не говори! Он тоже слушает. Он тоже здесь. Он заставляет меня говорить. Джеляль, дорогой, не давай своего адреса, он убьет тебя! Ах, ох, ах!

Галип плотнее прижал трубку к уху и услышал странный металлический стук, скрежет; похоже, там

шла борьба. Раздался громкий хлопок: то ли выстрелил пистолет, то ли грохнулся телефонный аппарат. После этого наступила тишина, но она не была полной; издалека до Галипа доносился все еще звучащий по радио голос Бехие Аксой: «Ах ты негодник, негодник» – и, тоже издалека, всхлипы плачущей женщины. Теперь трубка была у кого-то другого, и Галип слышал дыхание этого человека, но человек ничего не говорил. Так продолжалось довольно долго. По радио началась новая песня, в трубке по-прежнему слышалось неровное дыхание и плач женщины.

– Алло,-сказал Галип, сильно нервничая, – алло! Алло!

– Это я,-ответил наконец мужской голос; это был он, тот самый голос, к которому Галип успел привыкнуть. Он говорил спокойно, хладнокровно, как будто хотел успокоить Галипа и покончить с неприятной темой. – Эмине вчера во всем призналась мне. Я нашел ее и привез домой. Джеляль-эфенди, я ненавижу, презираю тебя, я тебе отомщу! – И как судья, объявляющий результат долго, очень долго длившейся игры, которая никому не доставляла удовольствия, беспристрастным тоном добавил:-Я тебя убью.

Наступило молчание.

– Послушай, – сказал Галип с профессиональным спокойствием, – статья была опубликована по ошиб-

ке. Это старая статья.

– Брось, – сказал Мехмед. (Как же его фамилия?)-Я много слышал подобных историй. Я убью тебя не поэтому, хотя за это ты тоже заслуживаешь смерти. Знаешь, за что я убью тебя? – Он задавал вопрос вовсе не для того, чтобы услышать ответ Джеляля (или Галипа): ответ у него был давно готов. Галип молча слушал: – Не за то, что ты предал военный переворот, который должен был превратить в людей этот проклятый народ, и не за то, что ты потом высмеивал храбрых офицеров, принявших участие в патриотическом деле, и других смельчаков, отправленных в ссылку; люди, рискуя жизнью, ввязались в авантюру, на которую ты подбивал их своими статьями; они с уважением и восхищением открывали тебе двери своего дома и доверяли планы переворота, а ты, сидя в кресле, уходил в свои дурацкие фантазии, более того, ты даже умудрился увлечь ими доверившихся тебе скромных патриотов; я убью тебя не за то, что ты обманул мою несчастную жену, которая пребывала в депрессии в те дни, когда мы все были охвачены революционными настроениями; я убью тебя за то, что ты обманул всех нас, всю страну, за то, что ты сумел свои вздорные фантазии, пустые мечтания превратить в милые шутки, трогательные чувства и убедительные слова и заставил поверить им всех нас, весь народ,

и прежде всего меня. Это длилось долго, но теперь у меня открылись глаза. Пусть они откроются и у других. За те дни, когда я колесил по городу, обходил его метр за метром, надеясь напасть на твой след, я понял, что единственное, чего ты заслуживаешь, – это смерти. Потому что надо забыть все, что узнал от тебя наш народ, и все, что узнал я. Ты написал как-то, что первой же весной после похорон писателей мы бросаем их в бесконечный сон бездонного колодца забвения.

– Абсолютно с тобой согласен. Я сказал тебе, что после нескольких последних статей, которые я написал, чтобы избавиться от того, что еще хранила моя изрядно потускневшая память, я бросил заниматься журналистикой. Что ты скажешь о сегодняшней статье?

– Бессовестный ты тип, знаешь ли ты, что такое ответственность, что такое преданность, что такое честность и самоотверженность? Говорят ли тебе что-нибудь эти слова? Или ты умеешь только издеваться над читателями и подавать игривые знаки несчастной обманутой? Знаешь ли ты, что такое братство?

Галип хотел сказать: «Знаю», не для того, чтобы защитить Джеляля, а потому что последний вопрос ему понравился, но Мехмед (или Мухаммед?) на том конце провода энергично оборвал его и обрушил на него

поток брани, вкладывая в него всю горечь своей обиды.

– Молчи, довольно! – сказал он, когда ругательства у него иссякли. По наступившей после этого тишине Галип понял, что эти слова он сказал жене, которая все еще плакала в углу комнаты. Он услышал голос что-то объясняющей женщины и щелчок – выключили радио.

– Ты обманул, ты унизил нас всех, – продолжал Мехмед, снова обращаясь к Дже-лялю. —Я так верил тебе, что согласился с тобой, прочитав напыщенную статью, в которой мне неопровержимо доказывалось, что вся моя жизнь – пример нищеты, серости, глупости, мелочности и примитивности, цепь обманов, кошмарный ад, состоящий из несчастий. Вместо того чтобы понять, как я унижен, я гордился тем, что знаком, встречался с человеком, у которого такие высокие мысли, такое острое перо, я был счастлив, что находился с ним на одном тонущем корабле революции в тот момент, когда он был спущен на воду военным переворотом, в котором мы вместе участвовали. Негодяй, я был так восхищен тобой, что, когда ты показывал мою трусость– причину всей нищеты моей жизни, и не только мою, трусость всего народа, я с горечью пытался понять, почему я привык к трусости, отчего, где я совершил ошибку, тебя же-

теперь-то я знаю, что ты гораздо трусливее меня, – я считал образцом смелости. Я поклонялся тебе, по сто раз читал твои ничем не примечательные юношеские воспоминания, статьи, в которых ты распространялся о темных, пропахших пригорелым луком лестницах в старом доме, где ты провел часть детства, перечитывал рассказы о твоих снах, в которых тебе являлись ведьмы, вздор о метафизических опытах, пытаюсь понять, есть ли в них чудо, потом мы подолгу обсуждали твои статьи с женой, и я верил, что там есть скрытый смысл, и даже убеждал себя, что нашел его – там, где его не было вовсе.

–Я никогда не стремился иметь таких почитателей, – вставил наконец свою фразу Галип.

–Ложь! всю жизнь ты охотился за такими, как я. Ты писал им ответы, просил присылать фотографии, изучал их почерки, делал вид, что сообщаемые секреты, подаешь волшебные знаки.

–Все это было для дела революции. Чтобы приблизить день Страшного суда, прихода Махди, час избавления.

–А потом? Когда все лопнуло?

– Но благодаря этому читатели могли хоть во что-то верить.

– Они верили тебе, и ты был в восторге. Слушай, я так преклонялся перед тобой, что, когда читал твою

блестящую статью, буквально сходил с ума, у меня капали слезы, я не мог усидеть на месте, ходил по комнате, по улицам и думал о тебе. Я так мечтал о тебе, что ты становился близким мне человеком, я все лучше и лучше понимал тебя. Казалось, будто мы с тобой-одно целое. Нет, я никогда не считал, что это я пишу статьи. Не забывай, я не душевнобольной, я просто твой преданный читатель. Но иногда мне казалось, что в твоих статьях, в изящных фразах, в находках, мыслях каким-то образом есть что-то и от меня. Будто, если бы меня не было, ты не мог бы творить эти чудеса. Пойми меня правильно, я не говорю о мыслях из моей книги, которую я написал, вдохновившись учением хуруфи; ими ты долгие годы беспардонно пользовался, ни разу не спросив разрешения. Я вовсе не говорю об открытиях в последней ее части. Я с таким трудом опубликовал свой труд. Он-твой. Я говорю совсем о другом. Я хочу тебе рассказать об ощущении причастности, понимаешь, я чувствую, что есть и моя доля в твоём успехе. Тебе это понятно?

– Понятно, я даже писал что-то об этом. Дорогой мой читатель и друг, скажи мне, почему за столько лет ты ни разу не связался со мной?

– Ты полагаешь, я не думал об этом? Я боялся. Я боялся, что, встретившись с тобой, после того как я со всей искренностью скажу восторженные и лестные

слова вроде тех, что говорю тебе сейчас, ни ты, ни я не сумеем больше ни о чем говорить, не найдем темы для разговора.

– Но ты же видишь, так не случилось. Как славно мы болтаем.

– Я убью тебя! Я тебя убью! Из-за тебя я никогда не был самим собой.

– Человек никогда не может быть самим собой.

– Ты часто писал об этом, но не можешь почувствовать это, как я, тебе не дано понять эту истину в той мере, в какой понимаю я. Ты понял, не понимая, то, что назвал «тайной», и, сам не понимая, написал правду. Человек не может открыть эту правду, не будучи самим собой. А если откроет, то он-уже не он. И то и другое не может быть правдой одновременно. Понимаешь весь парадокс ситуации?

– Я одновременно и я сам, и кто-то другой.

– Нет, ты говоришь это без полной уверенности. Поэтому ты и умрешь. Ты сейчас, как в своих статьях, убеждаешь, но сам не веришь; не веришь, но убедать тебе удастся. А когда ты понимаешь, что сумел убедить в том, во что сам не веришь, тебе становится страшно.

– Страшно?

– Я боюсь того, что ты называешь тайной, понимаешь, боюсь неясности, боюсь фальши, называемой

«слово», боюсь видеть на лицах мрачные буквы. На протяжении многих лет всякий раз, когда я читал твои статьи, я чувствовал, что нахожусь там, где читаю, – в моем кресле или за столом, и одновременно где-то совершенно в другом месте, где-то рядом с тем, кто рассказывает историю. Знаешь ли ты, что значит догадаться, что ты убеждаешь, не будучи убежденным? Когда моя жена, с которой мы прожили тридцать лет, ушла, оставив на обеденном столе ничего не объясняющее письмо, и пропала, я будто бы знал, куда она ушла, но будто бы и не знал, что знаю. А поскольку я не знал, то стал искать повсюду, я искал не тебя, а ее. Но, разыскивая ее, сам того не понимая, искал и тебя, потому что, когда я бродил по улицам, пытаюсь разгадать тайну Стамбула, у меня в голове возник ужасный вопрос: «Интересно, что сказал бы Джеляль Салик, если бы узнал, что меня ни с того ни с сего покинула жена?» Я пошел в редакцию газеты «Мил-лиет», но и там тебя тоже не было. Тебя искал не только я. В редакцию заходил сын твоего дяди, который хотел, чтобы ты встретился с английскими телевизионщиками, муж твоей сестры, Галип. Я невольно пошел за ним. Я подумал: этот мечтательный молодой человек, этот лунатик, знает, где скрывается Джеляль. Я говорил себе: уж он-то знает. Я как тень брел за ним по Стамбулу. Мы шли вроде по знакомому Стамбулу и не узнава-

ли ни одного места. Я потерял его, нашел, снова потерял, опять нашел; в конце концов он сам пришел ко мне в клуб. Там мы все, сидящие за столом, рассказали по одной истории. Я люблю рассказывать, но мне редко удается найти слушателей. На этот раз мне повезло. Посередине рассказа, когда люди с интересом вглядывались в меня, чтобы попытаться понять конец истории, я, как это бывает в подобных случаях, вдруг испугался, что мое лицо им о чем-нибудь скажет; между этой мыслью и концом рассказа я понял, что моя жена сбежала к тебе. Я подумал: «Я знаю, что она сбежала к Джелялю». Вроде бы я это знал и как будто не знал, что знаю. Во мне словно жили два человека. У меня впервые получилось то, о чем я мечтал много лет: быть одновременно и другим, и самим собой. Я решил, что истина, за которой ты годами заставлял нас гоняться, назвав ее «тайной», состоит в следующем: это то, что ты знал, не зная, и написал, не понимая: в этой стране никто не может быть самим собой! Жить в стране побежденных и униженных – значит быть другим. Я – другой, и тогда я существую! Хорошо, а если тот другой, на чьем месте ты хочешь быть, сам – другой? Вот что я имел в виду, когда говорил, что всю жизнь обманывался, обольщался. Потому что тот человек, которому я верил и которого почитал, не увел бы жену у своего горячего поклонника. В ту ночь

в клубе мне хотелось закричать проституткам, официантам, фотографам, обманутым мужьям, рассказывающим истории: "Эй, побежденные! Эй, униженные! Эй, проклятые! Эй, забытые! Эй, никчемные! Не бойтесь, никто не может быть самим собой, никто! В том числе короли, счастливые падишахи, знаменитости, кинозвезды, богачи, на месте которых вы хотели бы быть. Избавьтесь от них! С их исчезновением вы найдете то, что они преподносили вам как «тайну». Убейте их! Сами создавайте свои тайны, сами разгадывайте своизагадки! Понимаешь? Я убью тебя не из животной злости и чувства мести, как большинство обманутых мужей, а потому, что я не хочу входить в новый мир, в который ты меня тащишь. Я убью тебя, и тогда у всего Стамбула, у всех букв, знаков и лиц, о которых ты писал в своих статьях, действительно будет тайна. Газеты напишут: «Убит Джеляль Салик! Загадочное преступление!» Убийство никогда не будет раскрыто. Возможно, после этого смысл в нашем мире потеряется вообще, а незадолго до дня Страшного суда, о котором ты говорил, и прихода Махди в Стамбуле будут беспорядки, но для меня и многих других это будет открытием забытой тайны. Никто не сможет разгадать стоящего за этим происшествием секрета.

– Напрасно ты так думаешь. Ты можешь совершить свое тайное преступление, а они, счастливые и уни-

женные, глупые и забытые, немедленно объединятся и сочинят историю, доказывающую, что в этом деле нет никакой тайны. И рассказ, сочиненный ими, в который тут же поверят, представит мою смерть всего лишь как часть обыкновенного заговора. И еще до похорон каждый решит, что эта смерть – или результат заговора, представляющего угрозу нашей национальной безопасности, или завершение продолжающейся долгие годы истории любви и ревности. К тому же не факт, что ты сумеешь так легко убить меня. Скорее всего, ты попадешь не туда и просто ранишь меня. Потом тебя здорово избьют в полицейском участке – я уж не говорю о пытках, – а я вопреки твоему желанию стану героем и вынужден буду выслушивать глупости премьер-министра, который придет пожелать мне выздоровления. Уверяю тебя, нет смысла! Никто уже не хочет верить, что в мире существует тайна, которую нельзя разгадать.

– Кто мне докажет, что вся моя жизнь не была обманом, злой шуткой?

– Я, – сказал Галип, – слушай...

– Бишрев? (Слушай! (перс.) – так начинается стихи Мевляна) Нет, нехочу...

– Поверь мне, я ведь верю, как и ты.

– Я готов, – взревел Мехмед, – готов поверить, чтобы спасти свою жизнь, но что делать простым лю-

дям, которые усердствуют над полученными от тебя шифрами и словами утраченного смысла жизни? Что будет с девушками, ожидающими женихов, навсегда оставшихся в Германии и забывших о невестах? А ведь они, исключительно благодаря твоим статьям, поверили в мебель, которая будет у них в райской жизни, обещанной тобой, в соковыжималки, красивые лампы и покрывала с кружевами. Что будет с пенсионерами – автобусными кондукторами, с твоей помощью прочитавшими на своих лицах планировку квартир в собственных домах, где они будут жить в счастливые времена, или с чиновниками кадастрового управления, сборщиками денег за газ, с продавцами бубликов, старьевщиками, нищими-видишь, я никак не могу избавиться от твоих слов; ты научил их, и они, используя опыт предков, сумеют вычислить день, когда на улицах с булыжными мостовыми появится Махди, чтобы спасти эту нищую страну, всех нас; что будет со всеми твоими несчастными читателями, когда благодаря тебе они поймут, что они сами и есть та мифическая сказочная птица, которую они искали?

– Забудь, забудь о них, обо всех. Думай о последних, бродивших переодетыми, падишахах. Думай о бандитах Бейоглу, которые пытали свои жертвы, прежде чем их убить, думай, что они, по обычаю, все еще хранят деньги, золото или какую-ни-

будь тайну, думай о том, почему наши газетные ретушеры, раскрашивая кисточкой черно-белые фотографии, всегда красят небо в прусскую голубизну, а нашу черную землю – в зелень английского газона.

– На этот раз тебе не удастся меня уговорить.

– Подумай о всей тайне нашей жизни, о сотнях тысяч котлованов, вырытых в садах нашего города за две с половиной тысячи лет; когда их завалили камнями и бетоном, сооружая фундаменты домов, там остались скорпионы, лягушки, кузнечики, сверкающее золото, рубины, алмазы Ликии, Фригии (Ликия – государство на побережье Средиземного моря, существовавшее с XV в. до н. э.; в I в. н. э. была подчинена Римской империи. Фригия – древняя страна в северо-западной части Малой Азии.), Рима, Византии, Османской империи; картины, кресты, запрещенные иконы, книги и брошюры, планы кладов и черепа несчастных жертв...

– Ты снова о трупе Шемса Тебризи, брошенном в колодец? – перебил Мехмед.

–... неведомых нам преступлений; подумай о квартирах в этих домах, о дверях, о пожилых привратниках, о потемневших паркетинах, в стыках которых чернота, как под ногтями, подумай об озабоченных матерях, разгневанных отцах, шкафах с незакрывающимися дверцами, о родных и сводных сестрах...

– Ты становишься Шемсом Тебризи? Кто ты: Даджал? Махди?

– Подумай о женившихся на двоюродных сестрах, о лифте, о зеркале в нем...

– Обо всем этом ты уже писал.

– Подумай, почему старые палачи, когда отделяли головы жертв от тел, чтобы выставить их на обозрение в назидание другим, называли свои орудия – острые бритвы – «шифрами». Подумай о том, чем руководствовался полковник в отставке, когда, придумав новые обозначения шахматных фигур, взял за образец большую турецкую семью и назвал короля-"мать", ферзя-"отец", слона-"дядя", коня – «тетя», а пешки-не «дети», а «шакалы».

– Послушай, друг мой, – сказал голос на другом конце провода на удивление мирным тоном, – давай забудем все, встретимся и просто поговорим. Ты будешь нам рассказывать, как сейчас рассказываешь. Пожалуйста, скажи: да! Поверь нам, я сделаю все, что ты хочешь, принесу все, что ты хочешь!

Галип долго думал. Потом сказал:

– Дай мне все мои телефоны и адреса, которые у тебя есть!

– Сейчас дам, но знай, что я их уже запомнил.

...Галип, переспрашивая, записал все телефоны и адреса Джелеля на последнюю страницу книги, ко-

торая стояла ближе всех на полке («Характеры» де Лабрюйера). Он собирался сказать, что у него нет лишнего времени, чтобы встречаться с настойчивыми читателями. Но в последний момент передумал: у него появилась другая идея. Позднее, когда он будет оценивать события той ночи, он подумает: «Мне было любопытно. Мне захотелось увидеть мужа с женой, хотя бы издалека. Может быть, я хотел-когда найду Рюю и Джеляля по этим телефонам и адресам-рассказать им не только эту невероятную историю, не только о телефонных разговорах, но и о том, как выглядели эти супруги, во что были одеты».

– Домой я тебя не позову, – сказал Галип, – но мы можем встретиться где-нибудь. Вечером, в девять, в Нишанташи, например, перед лавкой Алааддина.

Даже эта малость, видимо, настолько осчастливила жену и мужа, что Галипу стало не по себе от их благодарной реакции. Они принесут миндальный кекс и птифуры из кондитерской Омюра; а может, Джеляль-бей считает, что лучше фундук, фисташки и большая бутылка коньяка? Ведь они будут долго разговаривать...

– Я принесу пачку фотографий лицейсток! – с нарочитой, несколько пугающей веселостью прокричал муж, и Галип понял, что большая бутылка коньяка давно была открыта и стояла перед супругами.

Загадочные картины

Тайну этого я нашел в «Месневи».
Шейх Галип

В начале лета 1952 года, если говорить точнее, в первую субботу июня, в Бейоглу, в узком переулке, начинающемся от улицы публичных домов и выходящем к английскому консульству, был открыт притон, самый большой не только в Стамбуле и Турции, но и на Балканах, и на всем Среднем Востоке. К этой торжественной дате был завершён любопытный конкурс живописи, продолжавшийся шесть месяцев. Конкурс объявил хозяин притона, известный бандит Бейоглу, тот, что впоследствии исчез со своим «кадиллаком» в водах Босфора, после чего стал легендарной личностью; бандит решил украсить просторный холл своего заведения видами Стамбула и заказал картины не для того, чтобы поддержать приходящее в упадок в нашей стране из-за запретов ислама древнейшее искусство (я имею в виду живопись, а не проституцию), а чтобы приезжающая в его «дворец удовольствий» со всех концов Стамбула и Анатолии избранная публика наряду с музыкой, наркотиками, напитками и девушками могла насладиться и красотами

ми столицы. Профессиональные художники участвовать в конкурсе отказались. Тогда бандит обратился с призывом к ремесленникам, расписывающим потолки провинциальных гостевых домов, стены летних кинотеатров, шатры для глотателей змей на ярмарках, телеги и грузовики. На призыв откликнулись двое, и наш бандит, приготовив кругленькую сумму, объявил между ними конкурс на лучшее изображение Стамбула. Мастерам были выделены две противоположные стены холла.

Конкурсанты с подозрением относились друг к другу и в первый же день натянули между стенами плотный занавес. Через сто восемьдесят дней все было готово к открытию заведения: в холле расставлены новые кресла красного бархата с бахромой, расстелены гердесские¹ ковры, на инкрустированных жемчужом тумбочках и столиках – серебряные подсвечники, хрустальные вазы, фотографии Ататюрка. Оставалось только снять занавес. Официально притон назывался Клубом поддержки классических турецких искусств, поэтому среди гостей на церемонии открытия был сам губернатор; когда хозяин отдернул занавес, разделяющий зал, гости увидели на одной стене огромную панораму Стамбула, а всю противоположную стену занимало зеркало, которое отражало картину, делая ее в отсветах серебра и хрусталя еще пре-

красней.

Премия досталась художнику, повесившему зеркало. Посещающие много лет притон клиенты были настолько очарованы изображениями на стенах, получая удовольствие от обоих произведений, что часами ходили между стенами, пытаясь разгадать тайну волшебства, которое они видели.

Несчастливая – на первой стене – собака превращалась на второй в хитрую; оборачиваясь снова к изображению на первой стене, люди замечали, что животное изображено в тревожном движении; при следующем повороте к зеркалу обнаруживались новые подробности, которые придавали иной смысл движению, и зритель уже переставал что-либо понимать и с трудом сдерживал себя, чтобы не побежать обратно к первой стене.

Если картина на стене техникой рисунка напоминала роспись телеги или ярмарочного театра, то отражение ее вызывало, с одной стороны, ассоциации с мрачными гравюрами, а с другой – напоминало яркие роскошные фрески. Большой орел в зеркальном отражении медленно махал крыльями и превращался в легендарную птицу Симуург; трещины некрашенных фронтонов старых домов складывались в зеркале в изображения человеческих лиц; отраженные праздничные площади и карусели приходили в дви-

жение, меняли краски; нарисованные на картине старые трамваи, конные повозки, минареты, парки, кофейни на набережной становились на противоположной стене знаками совершенно другого мира. Черная книга, которую художник шутливо дал в руки слепому, в зеркале раздваивалась, превращалась в книгу двух смыслов, двух разных сущностей; при возвращении к первой стене она снова становилась единой, но ясно было, что в ней кроется тайна.

Самое большое и пугающее впечатление на посетителей производила игра лиц: на полотне художника было изображено очень много людей, и в зеркале лица этих людей среди толпы, заполняющей город, обретали совершенно другой смысл, на них проявлялись знаки неизвестных миров.

Много лет спустя после того, как хозяин притона исчез в водах Босфора, в этот клуб, потерявший уже свою популярность, пришел комиссар Бейоглу, пытавшийся раскрыть преступление, убийство на улице Шишли; постаревшие женщины заведения поняли по его печальному лицу, что расследование идет трудно. Он сказал, что хотел бы заглянуть в зеркало: когда-то он видел в нем лицо, похожее на лицо одного из подозреваемых. Но оказалось, что неделю тому назад огромное зеркало разбилось вдребезги, со звоном упав на дерущихся посетителей; неизвестно, из-

за чего возникла драка: то ли из-за женщин, то ли из-за денег. Зеркала не стало; пропала и загадка картины.

Не рассказчик, а рассказ

Но мой способ письма— это скорее размышление вслух, приправленное причудами автора, и нимало не забочусь я о тех, кто внимает моей истории.

Де Куинси

Галип был уверен, что по одному из продиктованных ему телефонов он найдет Джеля-ля и Рюю, перед его глазами уже оживали улицы, дома, квартиры, где он снова увидит их. Он знал, что, едва увидев, они начнут объяснять, что заставило их прятаться, а он с первого слова поверит в правдивость и убедительность их доводов. Он был уверен, что они скажут: «Галип, мы тоже искали тебя, но не нашли ни дома, ни в конторе. Где ты был?» Галип поднялся с кресла, в котором сидел уже много часов, снял пижаму Джеляля, умылся, побрился, оделся. Буквы, которые он увидел на своем лице в зеркале, не показались ему ни продолжением таинственного заговора или безумной игры, ни явным обманом зрения, способным пробудить сомнения относительно его собственной личности. И розовое мыло «люкс», и старое бритвенное лезвие на полочке перед зеркалом, и буквы были частицами реального мира.

В просунутой под дверь газете «Миллиет» он прочитал опубликованную в рубрике Джеляля свою статью так, будто она была написана кем-то другим. Поскольку она была напечатана под фотографией Джеляля, она и должна принадлежать Джелялю. Но, с другой стороны, Галип ведь знал, что сам написал ее. Он представил себе, как Джеляль сидит в какой-то квартире и читает в своей рубрике статью, написанную другим, и решил, что Джеляль не воспримет это как выпад против него или фальсификацию. Скорее всего он подумает, что это одна из его старых статей. Поев хлеба, баклажанов, языка и бананов, Галип решил вернуться в реальный мир и завершить кое-какие дела, оставшиеся недоделанными. Он позвонил приятелю, адвокату, с которым вместе вел некоторые политические дела, сообщил, что ему пришлось спешно уехать на несколько дней из Стамбула; он узнал, что одно дело продвигается с большим трудом, а по второму состоялось решение суда, и подзащитным дали по шесть лет тюрьмы за предоставление убежища основателям подпольной коммунистической организации. Галип рассердился, вспомнив, что только что просмотрел сообщение об этом процессе в газете и там его имя не упоминалось, будто он не имел к этому никакого отношения. Он не понял толком, на кого рассердился. Набрал номер своего домашнего теле-

фона. «Если Рюя подойдет, я разыграю ее», – подумал он. Он собирался, изменив голос, попросить к телефону Галипа, но телефон не отвечал.

Галип позвонил Искендеру: сказал, что вот-вот придет Джеляля, и поинтересовался, сколько еще времени английские телевизионщики пробудут в Стамбуле. «Сегодня последний вечер, – сказал Искендер, – завтра рано утром они улетают в Лондон». Галип сказал, что Джеляль готов встретиться с англичанами, чтобы сделать заявление по некоторым важным вопросам; он придает этой встрече очень большое значение. «Тогда я договорюсь с ними на сегодняшней вечер, – сказал Искендер, – потому что они тоже очень хотят поговорить с Джелялем». Галип продиктовал Искендеру номер, написанный на телефонном аппарате Джеляля.

К шуму с площади Нишанташи добавились звуки телевизоров, доносившиеся из соседних зданий. Услышав с двух сторон музыкальную заставку восьмичасовых новостей, Галип понял, что весь Стамбул собрался за вечерним столом и шесть миллионов человек смотрят телевизор. Его вдруг охватило острое желание переломать все вещи в комнате: это они повергли его в состояние постоянного беспокойства. Он решил выбросить телефон за окошко, но в это время раздался звонок.

Это был Искендер, он поговорил с английскими телевизионщиками, они очень обрадовались и ждут Джеляля для съемок в номере гостиницы «Пера палас». Удалось ли найти Джеляля?

– Да, да, да, – ответил Галип, удивляясь своему раздражению, – Джеляль готов, он сделает важные заявления. Мы будем в «Пера паласе» в десять.

...В две минуты десятого он вошел в темное парадное дома напротив лавки Алаад-дина. И почти сразу перед лавкой появилась пожилая пара, при виде которой сердце у Галипа екнуло. Но когда через несколько минут пара вышла, Галип понял, что это не те, кого он ждет: они были слишком поглощены собой. Он нетерпеливо смотрел на дверь лавки Алааддина, но больше никто не появился. Дул ветер, Галип замерз. Было двадцать минут десятого, когда он пошел на площадь Тешвикие и сел в такси.

В холле «Пера паласа» было тепло и светло. В просторном зале справа от двери Искендер и несколько туристов сидели на старом диване и смотрели, как местные киношники, используя декор отеля XIX века, снимают исторический фильм. В ярко освещенном зале царил дух дружелюбия и веселости.

– Джеляля нет, он не смог прийти, – сразу сказал Галип Искендеру, – у него очень серьезные обстоятельства. Он вынужден скрываться и попросил, чтобы я

встретился с англичанами. Я знаю все подробности и буду говорить вместо него.

– Не знаю, согласятся ли они!

– Ты представишь им меня как Джеляля Салика, – сказал Галип с вызовом, удивившим его самого.

– Но почему?

– Потому что важно не кто говорит, а что говорится. У нас есть что сказать.

– Но они знают тебя. В ту ночь в клубе ты ведь даже историю рассказал.

– Знают?-сказал Галип, усаживаясь. – Ты неверно употребляешь это слово. Они меня всего лишь видели. Сегодня я – совсем другой. Они не знают ни того человека, которого видели тогда, ни меня сегодняшнего. К тому же они наверняка считают, что все турки на одно лицо.

– Даже если я скажу, что в тот день они видели не тебя, а другого человека, все равно они считают, что Джеляль Салик старше.

– Да что они знают о Джеляле? Им кто-то сказал: поговорите еще и с этим журналистом, это украсит вашу профамму. И они записали имя. Наверняка они не интересовались его возрастом, не видели его фотографии.

В этот момент в конце зала, где шла съемка исторического фильма, раздался хохот. Они посмотрели в

сторону смеющихся.

– Чему они смеются? – спросил Галип.

– Не пойму, – ответил Искендер, однако улыбался, будто знал, в чем дело.

– Никто из нас не является самим собой, – сказал Галип шепотом, словно открывая тайну, – никто не может быть самим собой. Ты никогда не думал о том, что каждый видит тебя другим? Ты абсолютно уверен, что ты – это ты? А уверен ли ты в том человеке, который уверен, что ты-это ты? Чего хотят эти люди? Разве человек, которого они ищут, не есть всего-навсего иностранец? Он поделится своими горестями с английскими телезрителями, сидящими перед телевизорами после ужина, и его рассказ, быть может, произведет на них впечатление. Так вот, у меня как раз есть подходящая история! Нет надобности, чтобы кто-то видел мое лицо. Пусть они не показывают лицо крупным планом. Знаменитый и загадочный турецкий журналист, опасющийся гонений правительства, политического убийства, мести участников военного переворота, – и самое главное, не забывай, что я мусульманин, – пожелал, не раскрывая себя, ответить на вопросы Би-би-си. Это же еще лучше, разве нет?

– Да, – согласился Искендер. – Я позвоню наверх, они ждут.

Галип наблюдал за съемкой в другом конце зала.

Османский паша, в феске, с бородой, в новенькой, увешанной орденами форме, разговаривал со своей покорной дочерью, которая слушала любимого отца, но лицо ее было повернуто не к нему, а в сторону работающей камеры, позади которой почтительно и молча стояли официанты и горничные.

– Помощи нам ждать неоткуда, надеяться не на кого, весь мир настроен враждебно к туркам! – говорил паша. – Видит Аллах, мы вынуждены пожертвовать и этой крепостью...

– Но, дорогой отец, посмотрите, у нас же еще есть... – начала девушка и показала не столько отцу, сколько зрителям книгу, которую держала в руках. Галип не понял, что это за книга. Он понял только, что это не Коран, и ему стало интересно, что это за книга, но и при съемке дубля названия он не разобрал.

Некоторое время спустя, поднявшись на старинном лифте, он вошел в 212-й номер.

В комнате находились три английских журналиста, которых он видел в клубе. Мужчины со стаканчиками раки в руках налаживали камеру и освещение. Женщина оторвалась от журнала, который читала.

– Перед вами наш известный журналист Джеляль Салик, – представил Искендер Галипа по-английски.

– Очень приятно! – отозвались одновременно женщина и мужчины.

– А мы раньше не встречались? – поинтересовалась женщина.

– Она спрашивает, не встречались ли вы прежде, – перевел Искендер.

– Где? – спросил Галип.

– В клубе, – ответила женщина.

– Я не хожу в клубы. Никогда в жизни я не посещал подобные заведения. Я не люблю многолюдные места, по-моему, это просто повредило бы моему духовному здоровью и нарушило мое одиночество, необходимое для творческой работы. Должен сказать, что моя напряженная журналистская работа, усилившиеся в последнее время политические гонения и участвовавшие убийства не позволяют мне вести ночную жизнь. Однако я знаю, что не только в Стамбуле, но по всей Турции есть много людей, которые считают себя Джелялем Саликом, представляются Джелялем Саликом. Более того, когда я по ночам ходил, переодевшись, по кварталам бедняков, я познакомился и даже подружился с некоторыми из них; я встречал людей, которые так перевоплощались в меня, что мне становилось страшно. Стамбул – это очень большая, необъяснимая страна.

Пока Искендер переводил, Галип смотрел через раскрытое окно на Золотой Рог и тусклые огни Стамбула: в мечети Явуза Султана Селима сделали под-

светку специально для туристов, но поскольку, как это обычно бывает, часть ламп украли, мечеть выглядела странной, мрачной грудой камней, напоминавшей черный рот однозубого старика. Когда Искендер кончил переводить, женщина весело и немного шутливо извинилась, сказав, что, видимо, с кем-то перепутала господина Салика. Кажется, она решила принять эту непонятную ситуацию и самого Галипа как странную особенность турок; так обычно ведут себя терпимые и образованные люди, сталкиваясь с другой культурой: я не понимаю, но отношусь с уважением. Галипу понравилась эта сообразительная женщина-актриса, которая видела, что документы подделаны, но не стала портить игру. Разве она не похожа немного на Рюйю?

Когда установили лампы, камеру, микрофоны и Галип уселся в кресло, которое черные электрические шнуры делали похожим на электрический стул, все заметили, что Галип нервничает. Один из мужчин с улыбкой протянул Галипу стакан, налил раки и добавил в него воду. Женщина, тоже с улыбкой, продолжая игру, поставила видеокассету и с озорным видом, словно собиралась показывать порнографический фильм, нажала на клавишу; на маленьком экране замелькали кадры, отснятые в Турции за восемь дней. Англичане смотрели их молча, но нель-

зя сказать, чтобы совсем без интереса: веселый акробат-нищий, демонстрирующий переломанные руки и вывернутые суставы ног; бурный политический митинг и пламенный лидер, делающий заявление после митинга; два пожилых человека играют в нарды; мейхане и клубы; продавец ковров, гордо стоящий перед витриной своей лавки; кочевники, поднимающиеся на холм с верблюдами; мчащийся поезд, окутанный паровозным дымом; дети перед лачугами, машущие руками; женщины в чаршафах смотрят на апельсины в овощной лавке; прикрытый газетой труп-жертва политического убийства; старый носильщик, перевозящий рояль на конной повозке.

– Я знаю этого носильщика, – сказал вдруг Галип, – это тот самый носильщик, который больше двадцати лет назад перевозил нас из дома Шехрикальп.

Присутствующие серьезно смотрели, как старый носильщик умело заводил в сад старого дома запряженную лошадь телегу, на которой возвышался рояль, и улыбался в камеру.

– Рояль Наследника вернулся обратно, – сказал Галип и услышал чей-то голос, чей – он не понял, но вдруг четко осознал, что все идет как надо. – Когда-то во дворце, на том месте, где вы сейчас видели старый дом, жил Наследник. Я расскажу его историю!

Искендер повторил, что знаменитый журналист

пришел сюда для того, чтобы сделать важное заявление. Съёмка началась. Женщина взволнованно сообщила телезрителям, что их ждет передача, рассказывающая о Турции: о последних падишахах, подпольной коммунистической партии, неизвестном прежде наследстве Ататюрка, исламском движении, политических убийствах; кроме того, они услышат мнение известного турецкого журналиста о возможности военного переворота.

Галип начал рассказ так: «Когда-то в нашем городе жил Наследник, открывший, что главное в жизни любого человека-это возможность или невозможность для него быть самим собой». Галип так ясно чувствовал состояние души Наследника, что видел себя другим человеком. Каким? История детства Наследника превратила Галипа в ребенка, жившего в давние времена. Когда речь пошла о борьбе Наследника с книгами, он увидел себя автором этих книг. Далее он воплотился в Наследника, проводящего дни во дворце в полном одиночестве. Ему словно самому приходили в голову те мысли, которые Наследник диктовал Писцу. Галип пересказывал историю Наследника, как истории Джеля-ля, и чувствовал себя героем этих историй. Рассказывая о последних месяцах жизни Наследника, он думал: «И Джеляль так рассказывал», – и оттого, что присутствовавшие не могли это-

го понять, он раздражался. Речь его была настолько взволнованной, что англичане слушали так, будто понимали по-турецки. Закончив рассказ о последних днях Наследника, он тут же принялся рассказывать снова: «Когда-то в нашем городе жил Наследник, открывший, что главное в жизни, – говорил он уверенно, – это возможность или невозможность для человека быть самим собой...» Через четыре часа в доме Шехрикальп он вспомнит, что по-разному произносил первую фразу в первый раз и в последний, и догадается, что, рассказывая историю в первый раз, он еще не знал, что Джеляль мертв, а когда повторял ее, ему уже было известно, что Джеляль лежит на асфальте неподалеку от лавки Алааддина, прямо напротив полицейского участка Тешвикие, и труп его прикрыт газетами. Повторяя историю Наследника, он акцентировал места, на которые не обратил достаточного внимания в первый, а повторяя в третий раз, ясно понял, что при каждом новом повествовании он может превращаться все в новых и новых людей. Ему хотелось сказать: «Я, как Наследник, рассказывал, чтобы обрести самого себя». У него вызывали гнев те, кто мешает ему почувствовать себя собой, он верил, что тайну, скрываемую городом и жизнью, можно разгадать только так, рассказывая истории, а в душе у него тем временем появилось предчувствие смерти и белизны. Когда он

закончил третий вариант рассказа, наступила тишина. Английские журналисты и Искендер аплодировали Галипу с искренностью зрителей, хлопающих талантливому актеру по окончании представления.

История наследника трона

Как хороши были прежние трамваи!
Ахмет Расим

Когда-то в нашем городе жил Наследник, открывший, что главное в жизни человека – это возможность или невозможность быть самим собой. Вся его жизнь была открытием себя, и открытие себя было делом всей его жизни. Наследник сам продиктовал такое определение своей короткой жизни, когда нанял Писца, чтобы тот записал историю его открытия. Наследник говорил, а Писец записывал.

В те времена – сто лет назад – в нашем городе еще не бродили по улицам, как потерявшиеся куры, миллионы безработных, холмы не были засыпаны мусором, а под мостами не текли нечистоты, из труб не валил дегтярно-черный дым, а пассажиры, садясь в автобус, не расталкивали друг друга локтями. В те времена конные трамваи двигались так медленно, что некоторые пассажиры выходили на одной пристани, не торопясь, с разговорами, шли под липами, каштанами и чинарами до следующей, выпивали чашку чая и спокойно успевали на пароход, к которому подвозил трамвай. Каштаны и деревья грецкого ореха еще не

были спилены и превращены в электрические столбы, на которые наклеивали написанные от руки объ- явления портных или исполнителей обряда обре- зания. А в том месте, где кончался город, начинались не свалки и голые холмы с лесом электрических и теле- графных столбов, а леса и рощи, в которых охотились печальные и жестокие падишахи. Двадцать два года и три месяца Наследник жил в Охотничьем дворце на одном из холмов, который позже был скрыт при про- кладке перерезавших город канализационных труб, мощеных дорог и строительстве многоквартирных до- мов.

Для Наследника диктовать означало жить. Наслед- ник был уверен, что становится самим собой только в те моменты, когда диктует Писцу, сидящему за сто- лом красного дерева. Только диктуя Писцу, он избав- лялся от голосов других, звучавших у него в ушах це- лый день, от их историй, которые откладывались в его памяти, когда он ходил вниз-вверх по комнатам дворца; он не мог избавиться от влияния чужих мыс- лей, даже прогуливаясь по саду, окруженному высо- ким забором. Наследник говорил: «Чтобы быть самим собой, человек должен слышать только свой голос, иметь свои истории и свои собственные мысли!» На- следник говорил, а Писец записывал.

Это не означало, что Наследник, диктуя, слышал

только собственный голос. Начиная диктовать, он думал о чьей-то, не своей, истории; начиная развивать собственную мысль, он наталкивался на мысль, высказанную другим; в своем гневе он чувствовал отголоски гнева другого. Наследник знал, что свой голос человек может обрести, лишь не слушая голоса, звучащие внутри себя, придумывая свои истории, отличные от тех, что он узнал от других. Наследник называл это: «сражаться с чужими мыслями». Он полагал, что во время диктовки находится на поле битвы, в которой должен одержать победу.

Сражаясь на этом поле битвы с мыслями, словами и историями других, Наследник ходил по комнатам, произносил предложение, поднимаясь по одной лестнице, менял его, когда спускался по другой, начинавшейся там, где кончалась первая, затем, снова поднимаясь по первой или сидя, а то и лежа на диване напротив стола Писца, повторял продиктованное и говорил: «Ну-ка, прочти»; Писец ровным голосом зачитывал господину последние записанные фразы.

«Наследник Осман Джалалиддин Эфенди знал, что на этой земле, на этой проклятой земле, самая важная проблема для человека – это возможность быть самим собой, и если эта проблема не будет решена как должно, все мы обречены на катастрофу, поражение, рабство; все народы, не сумевшие стать самими

собой, обречены на рабство, знатные – на презрение, нации – на исчезновение и вымирание, вымирание» – так говорил Осман Джалалиддин Эфенди.

«Вымирание надо написать не два, а три раза!» – говорил Наследник, поднимаясь или спускаясь по лестнице или шагая вокруг стола Писца. Он говорил это таким голосом, в такой манере, что, не успев докончить, слышал сердитые шаги и наставительный голос француза Франсуа Эфенди, который учил его французскому языку в детские и юношеские годы; воспоминание тотчас парализовывало умственную деятельность Наследника. Он нервничал. Многоопытный Писец оставлял в такие моменты перо, надевал на лицо, как маску, застывшее, бессмысленное и пуртое выражение и ждал, когда пройдет гнев, ждал окончания приступа под названием «Я не могу быть самим собой».

Одно время Писец часто записывал сцены, где говорилось о счастье, развлечениях, веселых и живых картинах детства и юности, прошедших во дворцах династии Османов в Стамбуле.

Писец записал, как маленький Наследник открывал и закрывал двери в гареме дворца Долмабахче, как прыгал по лестницам через две ступеньки, убегая от ловившего его старшего брата Решала, и захлопнул дверь прямо перед лицом черного евнуха, и тот упал

в обморок. Писец записал, как на приеме в честь англичан и французов, прибывших в Стамбул в связи с Крымской войной, Наследник с разрешения матери танцевал с одиннадцатилетней английской девочкой и еще долго рассматривал с ней книгу, где были нарисованы железные дороги, пингвины и пираты. Писец записал, как на торжестве по случаю присвоения пароходу имени бабушки Наследник на спор съел ровно два окка (мера веса, равная 1,25 кг) локума с фисташками и получил выигрыш – вlepил старшему брату подзатыльник.

Диктуя Писцу воспоминания, Наследник скажет про эти блаженные годы: «Годы счастья, глупого счастья моего детства длились очень долго. Империя, которая могла позволить наследнику, готовящемуся занять трон, до двадцати девяти лет вести жизнь глупого и счастливого ребенка, естественно, была обречена на развал, распад, исчезновение». До двадцати девяти лет Осман Джалалиддин Эфенди, как и всякий пятый в ряду наследников, развлекался, любил женщин, читал книги, приобретал имущество, немного занимался музыкой и живописью, еще меньше военным делом, женился, стал отцом троих детей-из них двое были мальчиками – и, как всякий наследник, заимел врагов и друзей. Позднее Наследник продиктует: «Мне надо было дожить до двадцати девяти лет,

чтобы избавиться от всего этого груза, от этих вещей и женщин, друзей и глупых мыслей». Когда ему исполнилось двадцать девять, в результате совершенно неожиданных исторических событий он в один миг передвинулся с пятого на третье место в очереди на престолонаследие. Но, по мнению Наследника, только дураки могли говорить, что все произошло «совершенно неожиданно», потому что не могло быть ничего более естественного, чем болезнь и смерть его дяди Абдулазиза, который был слаб и духом, и телом, и волей, и свержение с трона занявшего освободившееся место старшего брата Наследника, который в скором времени сошел с ума. Наследник поднимался по одним лестницам дворца и говорил, что севший на трон его старший брат Абдулхамид был таким же сумасшедшим, как и самый старший из братьев; спускаясь по другим лестницам, он сообщал, что другие наследники, которые должны занять трон раньше его и так же, как он, ждут своей очереди, еще более безумные, чем старшие братья.

Любой человек, живущий всю жизнь ожиданием имперского трона, обречен на безумие; перед любым, кто видит, как сходят с ума ожидающие того же трона старшие братья, стоит дилемма «сойти или не сойти с ума»; человек сходит с ума не потому, что хочет этого, а потому, что не хочет, и это невольно превращается

в навязчивую идею; каждый наследник в годы ожидания хоть раз да задумывается над тем, что его предки, едва усевшись на трон, убивали остальных братьев, а потому мучились, не могли жить спокойно и сходили с ума; каждый наследник, обязанный знать историю государства, на трон которого сядет, в любой книге по истории прочтет, как один из его дедов, Мехмед III, став падишахом, предал смерти девятнадцать своих братьев, среди которых были и грудные младенцы; вынужденные читать рассказы об убивающих своих братьев падишахах, наследники обречены на сумасшествие; потому что невыносимо жить, ожидая каждый миг удушения, отравления или другого вида убийства, которое потом будет объявлено самоубийством; в этом положении сойти с ума, что означало: «я выхожу из игры», было самым легким путем бегства для наследников, которые ждали, конечно, трона, но это было равнозначно ожиданию смерти; «сойти с ума» означало избавиться от контроля доносчиков падишаха, от заговоров и ловушек интриганов-политиков, которые проникали к наследникам сквозь цепи доносчиков; «сойти с ума» означало избавиться от невыносимых мечтаний о троне; любой наследник, бросив взгляд на карту империи, трон которой он мечтал занять, понимал, как огромны, беспредельны земли, которыми он будет управлять, взяв на себя всю полноту

ответственности; наследник, не испытывающий робости при осознании масштаба будущей ответственности, просто не мог не считаться сумасшедшим. Всякий раз, перечисляя причины сумасшествия наследников, Осман Джалалиддин Эфенди говорил: «Я понимаю, сколь безгранична и величественна Османская империя, а потому я разумнее всех, кто ею сегодня управляет».

Став третьим в очереди на престол, он весь отдался чтению: каждый наследник, который воспринимал свое восхождение на трон не как чудо, а как нормальный жизненный процесс, думал о том, что должен подготовить себя к предстоящему событию, и верил, что может сделать это с помощью книг. Он читал страстно, увлеченно, словно глотал страницы, и из каждой книги извлекал «полезные идеи», обращенные в будущее; чтобы не сойти с ума и сохранить веру в то, что он в ближайшее время осуществит свои блестящие идеи в будущем счастливом Османском государстве, он решил избавиться от всего, что напоминало ему о беспечной детской жизни в течение двадцати девяти лет: он оставил жену, детей, старые вещи и привычки во дворце на берегу Босфора и перебрался в Охотничий дворец, где ему предстояло провести двадцать два года и три месяца. Наследник неоднократно говорил, что первые шесть лет в Охотничьем

дворце были самым счастливым периодом его жизни. «Потому что, – объяснял он, – в то время я только читал и думал только о прочитанном. Потому что те шесть лет я прожил исключительно с мыслями и глосами писателей, книги которых читал». И добавлял: «Но за эти шесть лет я ни разу не сумел стать самим собой. Я не был собой и, может быть, поэтому был счастлив, но обязанность падишаха-не быть счастливым, а быть самим собой!» Дальше непременно следовала фраза, записанная Писцом в тетрадях тысячи раз: «Не только падишах, каждый человек должен быть самим собой».

Свое открытие Наследник называл «самое крупное открытие» и «цель моей жизни»; сделал он его и продиктовал запись о нем на исходе шестого года жизни в Охотничьем дворце: «В мечтах я уже сел на трон Османов и гневно упрекал воображаемого падишаха (себя), решая какой-нибудь государственный вопрос. Я обличал, как Вольтер, этого правителя, созданного собственной фантазией, и вдруг замер, осознав, в какое положение я попал. Человек, являющийся в моем воображении тридцать пятым османским падишахом, был словно бы не я, а Вольтер или кто-то, подражающий Вольтеру. Тогда-то я впервые ощутил весь ужас того, что падишах, направляющий жизнь миллионов и миллионов рабов своих, правящий странами,

которые на картах выглядят такими огромными, является не самим собой, а кем-то другим».

«Приняв решение быть истинным падишахом, а не тенью кого бы то ни было, я понял, что должен избавиться от книг, прочитанных не только за последние шесть лет, но и за всю мою жизнь, -диктовал Наследник, начиная рассказ о следующих десяти годах своей жизни. – Чтобы быть не кем-то, а самим собой, я был обязан избавиться от книг, писателей, историй, голосов. Это заняло у меня десять лет».

Наследник стал рассказывать Писцу, каким образом он избавлялся от книг, оказавших на него влияние. Писец записал рассказ Наследника о том, как он сжег все имеющиеся во дворце тома Вольтера, потому что, читая этого писателя, вспоминая его произведения, он чувствовал себя умнее, остроумнее и холоднее, таким французским шутником, но не самим собой. Из дворца, как записал Писец, были вывезены книги Шопенгауэра, потому что, глядя на них, Наследник помимо своей воли отождествлял себя с автором, и в результате на османский престол мог сесть не настоящий наследник, а пессимистически настроенный немецкий философ. Тома Руссо, на приобретение которых было израсходовано столько средств, превращали Наследника в дикого человека, пытающегося самого себя поймать на месте преступления,

а потому были разорваны и выброшены из дворца. «Я сжег всех французских философов, Дельтура и Де Пассе, Морелли, который считал, что мир можно постичь разумом, и Бришо, утверждающего противоположное: читая их, я видел себя не падишахом, как мне надлежало быть, а ироничным профессором-полемистом, пытающимся опровергнуть неверные взгляды мыслителей, живших до него». Так говорил Наследник. Он сжег «Сказки тысячи и одной ночи», потому что переодетые падишахи, описанные в этой книге, не были такими, каким должен был стать Наследник. Он сжег «Макбета», ибо каждый раз, когда читал эту книгу, видел себя трусом и безвольным человеком, готовым ради трона обагрить руки в крови, и – что хуже – вместо того чтобы стыдиться, что он таков, испытывал некую гордость. Он велел увезти из дворца «Месневи», потому что всякий раз при выборе рассказа из этой беспорядочной книги он отождествлял себя с дервишем, верящим, что изложенные Мевляной истории и есть сама жизнь. «Шейха Галипа я сжег, – пояснял Наследник, – потому что, читая его, я становился „грустным влюбленным“. С Ботфолио расправился, потому что из-за него представлял себя западным человеком, мечтающим стать восточным, а с Зерхани – потому что, читая его произведения, я превращался в человека Востока, мечтающего стать челове-

ком Запада; я не хотел видеть себя ни восточным, ни западным человеком, ни увлеченным, ни сумасшедшим, ни авантюристом, никем другим из героев этих книг». После этого обычно звучал мотив, который Писец за шесть лет запечатлел в несчетном количестве тетрадей несчетное количество раз: «Я хотел быть самим собой, только самим собой, я хотел быть только самим собой».

Наследник знал, что это непросто. После того как он избавился почти от всех книг и много лет диктовал Писцу свои воспоминания, он перестал слышать чужие рассказы внутри себя, однако в уме Наследника воцарилась такая непереносимая тишина, что он против воли отправил одного из своих слуг в город купить новые книги. Проглотив залпом эти книги, он сначала высмеивал их авторов, а потом торжественно и гневно сжигал, но поскольку продолжал слышать их голоса и невольно подражал этим авторам, то решил, что избавиться от них может, только читая другие книги; с грустью понимая, что клин можно выбить только клином, он посылал человека в магазины Бейоглу, где торговали зарубежной литературой и всегда с нетерпением ждали посланца от Наследника. В одном месте Писец записал: «Приняв решение „быть самим собой“, Наследник Осман Джалалиддин Эфенди ровно десять лет воевал с книгами»; Наследник поправил

его: «Напиши: сражался не на жизнь, а на смерть!» Через десять лет после непрекращающейся борьбы с книгами Наследник Осман Джалалиддин Эфенди понял, что сумеет стать самим собой, только если противопоставит голосам, мыслям и историям из этих книг свой голос, свои мысли и свои истории. Тогда он нанял Писца.

Наследник кричал сверху, с лестницы: «В течение десяти лет Наследник Осман Дже-лалиддин Эфенди яростно боролся не только с книгами, но и со всем, что мешало ему стать самим собой». Писец аккуратно записывал это предложение, повторенное уже тысячу раз и произносимое в тысячу первый с той же убежденностью и волнением, что и в первый; дальше шли такие же решительные слова. Писец записал, что в течение десяти лет Наследник боролся не только с книгами, но и с окружающими вещами, которые воздействовали на него не меньше, чем книги.

Наследник освобождался от вещей – одни разбивал, другие сжигал, третьи выбрасывал. Но кроме того, он все эти десять лет жестоко воевал со своими воспоминаниями, делавшими его кем-то другим. Наследник говорил: «Я сходил с ума, когда среди моих размышлений и-мечтаний вдруг вспоминал какую-то мелкую, неважную, простую вещь из прошлого, она являлась передо мной, как безжалостный убийца, как

безумец, желающий мне за что-то отомстить». Человек, которому после вступления на престол османов предстоит думать о жизни миллионов и миллионов подданных, вдруг посреди своих раздумий спотыкается о чашку клубники, съеденной в детстве, или о пустое слово презренного евнуха-это поистине страшно. Чтобы быть самим собой, падишах, как и каждый человек, должен быть преисполнен только своих мыслей, руководствоваться только своей волей и решениями и должен научиться отметать случайные воспоминания и не поддаваться переменам настроения. Писец записал: «Чтобы бороться с воспоминаниями, которые разрушали твердость его воли, он опустошил все сосуды для благовоний, уничтожил все знакомые вещи и одежды, забросил усыпляющее искусство, называемое музыкой, а заодно и белый рояль, на котором никогда здесь не играл; все комнаты дворца он выкрасил в белый цвет».

Диван, стоящий около стола Писца, не был выброшен; лежа на нем, Наследник читал записанное Писцом и добавлял: «Но хуже всего, хуже воспоминаний, вещей и книг, непереносимей всего были люди». Они появлялись неожиданно, в неподходящее время, в самый неудачный момент и приносили с собой мерзкие сплетни и дурацкие слухи. Вроде бы желая сделать добро, они лишали вас покоя. Вместо любви и

успокоения они приносили тоску.

На шестнадцатом году «нечеловеческой борьбы между бытием и небытием», борьбы с привычными вещами, любимыми запахами и книгами, Наследник как-то ночью посмотрел в окно через «европейские» жалюзи на снег, покрывающий просторный сад, и на луну; это был миг, когда он понял, что борьба, которую он ведет, – не его личная, а борьба миллионов людей, связанных судьбой с Османским государством. Потому что, как десятки тысяч раз за последние шесть лет жизни Наследника записывал Писец, «народы, которые не в состоянии быть самими собой, цивилизации, подражающие другим, нации, довольствующиеся историей других, обречены на крах, вымирание, забвение». На шестнадцатом году ожидания трона Наследник отчетливо увидел, что борьба, которую он вел все это время как свою личную, на деле является «исторической борьбой между жизнью и смертью», что настал решающий момент битвы за «султанский тюрбан», какой выпадает раз в тысячелетие, что это «очень важный момент исторического развития, который историки будущего назовут поворотным моментом». Тогда-то Наследник и принял твердое решение бороться с чужими историями, звучащими в нем, пересказом своих.

Через некоторое время после той ночи, когда лу-

на, сияя над заснеженным садом, напоминала о пугающей бесконечности времени, Наследник нанял пожилого, верного и терпеливого Писца и каждое утро, усадив его за стол, диктовал ему истории, рассказывая о своих поисках и догадках. Наследник вспомнит, что много лет назад он сделал чрезвычайно важное открытие, касающееся «в высшей степени важных исторических перемен»: до своего добровольного заточения во дворце он видел «собственными глазами», как с каждым днем менялись улицы Стамбула в стремлении подражать воображаемому западному городу. Несчастные, заполняющие стамбульские улицы, глядя на костюмы западных туристов и изучая фотографии в зарубежных журналах, попавших им в руки, меняли свою одежду. Он слышал собственными ушами, как вечерами в кофейнях на окраинах города собравшиеся вокруг печки грустные люди вместо того, чтобы рассказывать друг другу услышанные от отцов сказки, читали всякую дрянь в газетах, написанную бездарными журналистами; в газетах печатали «Трех мушкетеров» и «Графа Мон-те-Кристо», изменив имена героев на мусульманские. А разве он сам не покупал у армянских книготорговцев под видом книг всякое бесстыдство, за чтением которого так быстро летело время? До того как он проявил волю и решимость и закрылся во дворце, когда он еще, как

все, влачил жалкое привычное существование, разве не замечал он при каждом взгляде в зеркало, что таинственный смысл на его лице постепенно пропадает, точно так же, как у всех окружающих? «Да, поупал! Да, замечал!» – писал Писец, изучивший стиль Наследника. Осман Джалалиддин Эфенди ощущал, как после каждого дня диктовки меняется его лицо, меняется он сам.

Иногда Наследник не находил темы для диктовки. Воцарялось безмолвие. Потом Наследник говорил: «Если не о чем рассказывать, значит, человек очень близко подошел к тому, чтобы быть самим собой. Безмолвие означает, что молчат воспоминания, книги, истории, память; только услышав это безмолвие, человек может стать свидетелем того, как вырастает его истинный голос из глубин его собственного духа, из бесконечных и темных лабиринтов его собственной сущности, и этот голос способен сделать человека самим собой».

Однажды Наследник затронул тему женщин и любви, которой до этого касался очень мало, говоря, что это «самая опасная тема». Около шести месяцев он рассказывал о старых увлечениях, об отношениях с гаремными женщинами (воспоминания о них, за исключением нескольких случаев, вызывали сожаление и грусть), которые нельзя было назвать любовью, и о

своей жене.

Самым ужасным в этих отношениях, по мнению Наследника, было то, что незаметно для тебя женщина, даже самая неприметная, начинала занимать почти все твои мысли. Он подумал, что надо сблизиться с как можно большим количеством женщин: тогда он обретет иммунитет к яду, называемому любовью; но поскольку он старался выработать у себя равнодушные к любовному опьянению, женщины, с которыми он имел дело, не вызывали у него никакого влечения. Так получилось, что он стал чаще всего встречаться с Лейлой-ханым: она была «самой невыразительной, самой бесцветной, самой спокойной и самой безвредной» из всех знакомых ему женщин, и он верил, что не сможет влюбиться в такую женщину. «Наследник Осман Джалалиддин Эфенди без страха открыл сердце Лейле-ханым, поскольку верил, что не сможет влюбиться в нее», - написал Писец как-то ночью, потому что теперь они работали и по ночам. А Наследник тут же добавил: «Но поскольку она была единственной женщиной, которой я с легкостью открыл сердце, я тут же влюбился в нее. Это был один из самых тяжелых периодов моей жизни».

Писец записал, что Наследник и Лейла-ханым ссорились, когда встречались во дворце. «Конкретных причин для наших ссор не было, – пояснил как-то На-

следник, – я злился, что из-за нее не мог быть самим собой, что из-за нее мои помыслы теряли чистоту, что из-за нее я переставал слышать голос, идущий из глубины моей души. Это длилось до самой ее смерти, произошедшей в результате несчастного случая, и я так и не понял, была ли в том моя вина».

Наследник рассказал, что смерть Лейлы-ханым его огорчила, но зато он обрел свободу. Писец, всегда молчаливый, всегда почтительный и внимательный, сделал то, чего никогда не позволял себе за шесть лет работы с Наследником: несколько раз сам написал об этой смерти и этой любви; Наследник же возвращался к этой теме, когда считал нужным.

Последние перед болезнью Наследника месяцы прошли, как записал Писец, «в напряженной работе». Это были дни, когда Наследник диктовал, рассказывал свои истории и все сильнее слышал собственный голос, помогающий ему быть самим собой. Они работали до поздней ночи, но как бы ни было поздно, Писец в повозке, ожидающей его наготове в саду, отправлялся домой; рано утром он возвращался и усаживался за стол красного дерева.

Наследник рассказывал о государствах, которые рухнули из-за того, что не могли быть самими собой, о народах, исчезнувших потому, что они подражали другим племенам, о забытых в далеких и неизвестных

странах народах, которые не смогли жить своей жизнью. Иллирийцы (Древние индоевропейские племена на северо-западе Балканского полуострова; в 111-I вв. до н. э. были покорены римлянами) ушли с исторической сцены, потому что за два века не сумели найти правителя, который силой своей личности научил бы их быть самими собой. Вавилонская башня рухнула не оттого, что царь Нимрод (мифологический царь-безбожник) бросил вызов Всевышнему, а оттого, что отдавал все силы строительству башни и забыл об истоках, которые могли сделать его самим собой. Кочевые племена, перейдя на оседлый образ жизни, в стремлении создать настоящее государство подражали оседлым, с которыми вели торговлю, и в результате, подпав полностью под их влияние, исчезли с лица земли.

Падение сасанидов произошло потому, что последние три правителя – Кавад, Ар-дашир и Яздегерд-преклонялись перед величием византийцев, арабов и иудеев и, как написано в истории Табари (арабский историк, автор многотомной «Истории посланников и царей»), за всю свою жизнь ни одного дня не сумели быть самими собой. Великая Лидия (страна в древности на западе Малой Азии, в VI-IV вв. до н. э. находилась под властью персов, позднее входила в державу Александра Македонского и другие государства)

ушла с исторической сцены всего через пятьдесят лет после того, как в ее столице Сардес под влиянием Суз (древний величественный город в Персии) был сооружен первый алтарь. О племени сабиров (племена в Северном Причерноморье (VII в. до н! э. – III в. н. э.)) ничего не знают сегодня даже историки, и это оттого, что, когда они собрались создать великую азиатскую империю, они вдруг-словно эпидемия началась – стали одеваться в одежды сарматов (племена в Северном Причерноморье (VII в. до н! э. – III в. н. э.)), носить их украшения, читать их стихи и, таким образом, утратили свои воспоминания; они забыли таинство, делавшее их самими собой. «Ми-дийцы, пафлагонийцы, кельты», - диктовал Наследник, а Писец, прежде чем господин открывал рот, добавлял: «Исчезли, потому что не сумели стать самими собой». «Скифы, калмыки, мидийцы», —? продолжал перечислять Наследник, а Писец завершал предложение: «Исчезли потому, что не смогли стать самими собой». Усталые до изнеможения, они поздно ночью заканчивали работу над историями о смертях и падениях; в безмолвии летней ночи слышался только стрекот сверчков.

В ветреный осенний день, когда в садовый бассейн с кувшинками и лягушками падали красные каштановые листья, Наследник простыл и слег в постель; оба они не придали этому большого значения. Наследник

как раз говорил о том, что если он не станет наконец самим собой, то пойдет в толпу, на замусоренные улицы Стамбула. Тогда он не сядет на Османский престол, а «империя глазами других будет смотреть на свою жизнь, вместо собственных историй слушать чужие и вместо собственных лиц будет видеть очаровавшие их лица других». Они заварили чай из цветков липы, собранных в саду, выпили его и работали допоздна.

На следующий день Писец поднялся наверх за одеялом, чтобы укрыть господина, который лежал на диване в жару; он увидел, что дворец совершенно пуст: на протяжении многих лет из него выбрасывалось все, что там было, даже двери были сняты. Пустые комнаты дворца, лестницы, стены – все было выкрашено в белый цвет. Писец бродил по пустым комнатам и набрел на белоснежное чудо, выделявшееся белизной даже на фоне всеобщей белой краски. Это был несравненный белый рояль «стейнвей», единственный в Стамбуле. Он остался с детства Наследника, долгие годы к нему никто не прикасался, и он стоял в пустой комнате совершенно забытый. Писец увидел инструмент в белоснежном лунном свете, который проникал через окна во дворец; такая белизна напоминала человеку о том, что воспоминания блекнут, память угасает и все, что есть вокруг, останавли-

вается: голоса, запахи, вещи, само время. Когда он спустился по лестнице с белым, без запаха одеялом под мышкой, он почувствовал, что диван, на котором прилег Наследник, стол красного дерева, за которым он проработал столько лет, белые листы бумаги, оканна-все вокруг хрупкое и нереальное, как в детских игрушечных домиках. Укрывая Наследника, он увидел, что его не бритая два дня борода поседела. Около больного лежали белые таблетки и стоял стакан, наполовину наполненный водой.

Наследник продиктовал с дивана: «Вчера ночью во сне я видел свою мать, она ждала меня в густом темном лесу далекой страны. Она лила воду из огромного красного кувшина, и вода была густая, как боза... Я понял, что существую до сих пор только потому, что всю жизнь упорно стремлюсь быть самим собой». Писец записал: «Наследник Осман Джалалиддин Эфенди прожил всю жизнь в ожидании тишины внутри себя, необходимой, чтобы услышать собственный голос и собственные истории». Наследник с перерывами диктовал: «Чтобы ждать безмолвия...», «Пусть в Стамбуле часы не останавливаются...», «Глядя во сне на часы...» Писец закончил это предложение: «Он думал, что рассказывает истории других». Наступило молчание. Наследник нарушил его: «Я завидую только камням безлюдных пустынь и скалам в горах, на которые

не ступала нога человека, потому что только они могут быть самими собой...», «Когда я во сне бродил в саду моей памяти...», «Ничего». «Ничего», – аккуратно записал Писец. Наступило долгое, очень долгое молчание. Писец встал из-за стола, подошел к дивану, на котором лежал Наследник, внимательно посмотрел на господина и вернулся к столу. Он записал: «Наследник Осман Джалалиддин Эфенди, продиктовав это предложение, скончался; это произошло 7 числа месяца шабана (восьмой месяц лунного календаря) 1321 года (1321 год хиджры (мусульманского летосчисления) соответствует 1929 году христианского летосчисления.) в четверг, в Охотничьем дворце на вершине холма Тешвикие». А через двадцать лет тем же почерком Писец приписал: «Через семь лет на трон, которого не дождался Наследник Осман Джалалиддин Эфенди, сел его брат Мехмет Решад Эфенди, тот самый, которому он в детстве дал подзатыльник, и Османская империя, вступившая во время его правления в большую войну, рухнула».

Тетрадь Джелялю Салику принес родственник Писца, а эту статью мы нашли в бумагах нашего сотрудника после его смерти.

Но это же я написал

Вы, читающие, вы, все еще живущие, Это написал я, Давно идущий По стране теней.

Э.А.По

«Да, я-это я! – подумал Галип, закончив рассказ о Наследнике. Да, я-это я!» Он рассказал англичанам историю и не сомневался, что был самим собой; довольный, что в конце концов желаемое все-таки свершилось, он заторопился в дом Шехрикальп: сесть за стол Джеляля и писать новые статьи.

Шофер такси, в которое он сел, когда вышел из отеля, начал рассказывать историю. Галип, понимая, что человек может стать самим собой, только рассказывая истории, благосклонно слушал.

...Сто лет назад, в жаркий летний день, когда строящиеся вокзал Хайдарпаша (Железнодорожный вокзал, открытый в 1908 г. на азиатской части Босфора в одноименном районе Стамбула) немецкие и турецкие инженеры сидели вместе за столом, делая какие-то расчеты, один из работавших неподалеку ныряльщиков показал им монету, поднятую со дна моря. На монете было отчеканено лицо византийской императрицы. Молодой инженер-турок был потрясен его загадочным выражением; юноша испытал чувство такого

восторга и одновременно испуга, что ныряльщик даже удивился. На лице императрицы читались арабские и латинские буквы, которые инженер переписал на листок бумаги; инженера поразило, что это лицо чем-то напоминало лицо дочери его дяди, на которой он давно хотел жениться. А девушку собирались выдать замуж за другого...

Такси уткнулось в знак «Проезд запрещен» и резко затормозило. «Со стороны полицейского участка на Тешвикие дорога закрыта, – сказал шофер, – наверно, опять кого-то убили».

Выйдя из машины, Галип пошел по короткой узкой улочке, соединяющей проспект Эмляк с проспектом Тешвикие. Мигающие голубые огни полицейского микроавтобуса, припаркованного в том месте, где улица пересекалась с проспектом, освещали асфальт тусклым светом неона. На площадке перед лавкой Алааддина, в которой горел свет, царила пугающая напряженная тишина.

Движение было перекрыто. Маленькая площадка напоминала театральную сцену при искусственном освещении. Манекены в витрине лавки швейных машин «зингер», казалось, были готовы присоединиться к полицейским и столпившимся зевакам. У Галипа в голове пронеслось: «Да, я – это я!» Вдруг в толпе сверкнула серебряно-голубая вспышка фотоаппара-

та, выхватив на миг из темноты знакомое лицо; Галипу показалось, будто он вспомнил давно забытый сон, нашел ключ, потерянный много лет назад; на мостовой, в двух шагах от витрины с зингеровскими машинками, лежало прикрытое газетами тело убитого: Джеляль. Где Рюйя? Галип подошел поближе.

Из-под газет, прикрывавших тело, как одеяло, была видна только голова, подушкой для которой стал грязный тротуар. Следов крови не было. Глаза закрыты. Лицо задумчивое – будто он видит сон; сосредоточенное – будто углубился в собственные мысли; спокойное – будто смотрит на звезды и говорит: «Я и слушаю, и вспоминаю». Где же Рюйя? «Это игра, шутка», – промелькнуло в голове Галипа. Ему стало не по себе: почему он еще до того, как увидел, понял, что это труп Джеляля? Ему захотелось сказать: послушайте, я знал, что все знаю. Был колодец: у него в мыслях, у меня в мыслях, у нас в мыслях; была пуговица, фиолетовая пуговица. Мы смотрели на звезды через ветви деревьев... А тело словно взывало: натяните одеяло, холодно. Натяните одеяло, пусть Джеляль не мерзнет. Галипу стало зябко. «Я – это я!» Радужные пятна мазута. Труп прикрыт развернутыми страницами газет «Терджюман» и «Миллиет». Газета, в которой Галип всю жизнь читал статьи Джеляля. Очень холодно.

Через открытую дверь микроавтобуса был слышен равнодушный голос, разыскивающий по радиации комиссара. Но где же Рюйя, где, где? На углу впустую работал светофор: зеленый свет, красный. Снова зеленый. Опять красный. В витрине кондитерской напротив тоже: зеленый, красный. Помню, помню, помню, говорил Джеляль. Ставни лавки Алаад-дина были закрыты, но внутри горел свет. Возможно, это что-то означает. Галипу хотелось сказать: господин комиссар, я пишу первый турецкий детективный роман, посмотрите, вот и первая ниточка: свет в лавке забыли выключить. На земле окурки, обрывки бумаги, мусор. Галип подошел к молодому полицейскому и стал расспрашивать его.

Оказывается, это случилось между половиной десятого и десятью. Кто убийца – неизвестно. Бедняга скончался мгновенно. Да, он известный журналист. Нет, рядом с ним никого не было. Почему покойного не увозят, он не знает. Нет, он не курит. Да, тяжела полицейская служба. Нет, рядом с убитым никого не было, он уверен в этом; почему бейэфенди ('Господин, вежливая форма обращения) спрашивает об этом? Чем занимается бейэфенди? Что бейэфенди понадобилось здесь в такой час? Может ли бейэфенди показать удостоверение личности?

Пока полицейский изучал удостоверение, Галип

смотрел на газетное одеяло, прикрывавшее труп Джеляля. С этого места было видно, что неоновые лампы бросают на газеты розоватый свет. Галип подумал: «Эх, господин полицейский, покойный обязательно обратил бы внимание на этот свет. Фотография на удостоверении – моя, и лицо на мне – мое. Ясно? Так-то лучше. Я пойду. Меня жена дома ждет. Кажется, я наконец решил все проблемы».

В квартире никого не было. Ничто не указывало на то, что Рюйя заглядывала хотя бы на минутку. Дверные ручки, ножницы, ложки, пепельницы, когда-то полные окурков выкуренных Рюйей сигарет, стол, за которым они прежде вместе ужинали, скучающие пустые кресла, одно против другого, – у всех вещей был угнетающе печальный вид. Он стремительно бросился из дома.

Входя в дом Шехрикальп, он почувствовал непривычную усталость. Квартира Джеляля, так старательно хранящая прошлое, показалась Галипу трогательной до слез, как дом – солдату, вернувшемуся с войны после долгих скитаний. Как далеко он был от этого прошлого! А ведь он ушел отсюда меньше шести часов назад. Прошлое манит, как сон. Галип по-детски подумал, что во сне сумеет увидеть статьи, фотографии, тайну, Рюйю, все, что ищет, и еще подумал, что во сне он не совершит ничего предосудительного. С

этой мыслью он лег в постель Джеляля и уснул.

Проснулся он в середине дня. Суббота. День, когда не надо идти ни в контору, ни в суд. Не надевая тапочек, он пошел в коридор и взял из-под двери «Миллиет»; «Убит Джеляль Салик». Сообщение было помещено на первой странице. Под заголовком фотография, сделанная до того, как труп прикрыли газетами. Вся страница посвящена этому событию. Опубликованы заявления премьер-министра и других известных людей. Статью Галипа «Вернись домой» поместили в траурной рамке как «последнюю статью» Джеляля. Напечатали симпатичную фотографию Джеляля, сделанную недавно. По мнению известных людей, пуля была выпущена в демократию, в свободу мысли, в мир и прочие хорошие вещи, которые вспоминаются в подобных случаях. Приняты меры к тому, чтобы убийца был пойман.

Галип сел за стол, заваленный бумагами и газетными вырезками, закурил. Долго сидел в пижаме и курил. Когда зазвонил дверной звонок, ему показалось, что он целый час курил одну сигарету. Это была Камер. Сжимая ключ в руке, она посмотрела на Галипа, стоявшего в дверях, как на привидение, потом вошла, тяжело опустилась в кресло у телефона и заплакала. Утром, прочитав известие, она тут же отправилась к тете Хале. Проходя мимо лавки Алааддина, она уви-

дела, что внутри много народу. В лавке нашли мертвую Рюйютханым. Алааддин, открыв лавку, наткнулся среди кукол на труп Рюйи.

Читатель, эй, читатель, я с самого начала очень старался в этой книге отделить рассказчиков от героев, статьи от событий, но сейчас, до того как книга уйдет в набор, я хочу вмешаться в события. В некоторых книгах бывают страницы, которые будто написаны не автором, а родились сами собой, и действие развивается само по себе; такие страницы обычно запоминаются лучше других, они остаются в нашей памяти на долгие годы, как трогательное воспоминание, не как образец мастерства писателя, а как истинная жизнь – для кого-то райская, для кого-то адская, для кого-то ни та, ни другая или и та, и другая одновременно. Если бы я был истинным профессионалом, талантливым писателем, а не жалким журналистом, я был бы уверен, что мы дошли до тех страниц моего произведения «Рюйя и Галип», которые на много лет останутся жить в душе умного и чуткого читателя. Но поскольку я трезво оцениваю свои книги и способности, такой уверенности у меня нет. А потому здесь мне хочется оставить читателя наедине с его воспоминаниями. Лучшим способом сделать это было бы попросить наборщика закрасить страницы черной краской. Чтобы то, что я не смог выразить, вы дополнили силой

своего воображения. Я вмешался сейчас в повествование, чтобы напомнить вам о черном цвете снов и пустоте, которая царит в моей душе, когда я, как лунатик, брожу среди событий. Следующие страницы, черные страницы, читайте, как воспоминания лунатика.

Из лавки Алааддина Камер побежала к тете Хале. Там все плакали, считали, что Галип тоже погиб. Камер открыла им тайну Джеляля: сказала, что Джеляль много лет, а Галип с Рюией последнюю неделю пряталась в доме Шехрикальп в квартире на последнем этаже. Все снова подумали, что вместе с Рюией погиб и Галип. Когда Камер вернулась в дом Шехрикальп, Исмаил сказал ей: «Иди наверх, посмотри!» Поднявшись наверх, Камер в страхе протянула руку с ключом, чтобы открыть дверь, но вдруг почувствовала уверенность, что Галип жив. На Камер была фишашкового цвета юбка, которую часто видел на ней Галип, и грязный фартук.

Потом, когда Галип пришел к своим родственникам, он увидел, что такого же фишашкового цвета платье с фиолетовыми цветами было и на тете Хале. Матери, отцу, дяде Мелиху, тете Сузан, всем, кто слушал его со слезами на глазах, Галип рассказал, что они с Рюией пять дней назад вернулись из Измира и эти пять дней, иногда оставаясь и на ночь, провели с Дже-

лялем в доме Шехрикальп: Джеляль много лет назад купил верхний этаж, но скрывал это. Он прятался там от тех, кто угрожал ему.

После обеда, ближе к вечеру, сообщая то же самое сотрудникам службы безопасности, которые записывали его показания, и прокурору, он долго рассказывал про голос по телефону. Но следователей не заинтересовала эта информация. Он почувствовал безвыходность человека, который не может проснуться и не может никого впустить в свои сны. В голове у него была полнейшая пустота.

На следующий день, во время панихиды в мечети Тешвикие, оказавшись наедине с главным редактором «Миллиет», Галип сказал, что остались целые коробки неопубликованных статей Джеляля, что последние недели, несмотря на то, что он посылал мало материалов в газету, он очень напряженно работал, осуществил старые проекты, дописал некоторые незаконченные статьи и даже написал кое-что совсем новое, в новом ключе, на темы, которых раньше не касался. Главный редактор, естественно, сказал, что они хотят опубликовать эти статьи в рубрике Джеляля. Так началась работа Галипа в рубрике Джеляля, которая продлится много лет. Когда похоронная процессия, выйдя из мечети Тешвикие, двигалась в сторону площади Нишанташи, Галип увидел Алааддина,

рассеянно глядевшего в окно лавки. В руке он держал маленькую куклу, которую собирался завернуть в газету.

Накануне того дня, когда Галип принес в редакцию новые статьи Джеляля, он первый раз увидел во сне Рюю с этой куклой в руках. Передав статьи Джеляля и выслушав соболезнования и мнения о случившемся друзей и врагов Джеляля, в том числе и Нешати, он пошел в кабинет Джеляля и стал читать лежащие на его столе газеты за последние пять дней. Внимание его привлекла статья молодого журналиста, где рассказывалось, как было совершено преступление; она была помещена среди статей, в которых авторы – в зависимости от убеждений – возлагали ответственность за убийство на армян, турецкую мафию (Галипу захотелось исправить эти слова зеленой ручкой на «бандитов Бей-оглу»), коммунистов, контрабандистов, поставляющих сигареты, русских, накшибендис-тов; здесь же публиковались отрывки из воспоминаний о Джеляле и описания похожих преступлений, имевших место в нашей истории. Заинтересовавшая его статья в газете «Джумхуриет», опубликованная в день похорон, была написана кратко, сдержанно, и Джеляль с РюЙей были обозначены там лишь инициалами:

«Известный журналист Дж. С., ведущий рубрику в

газете „Миллиет“, в пятницу вечером, в семь часов, с сестрой Р. вышел из своего дома в Нишанташи и отправился в кинотеатр „Крнак“. Фильм „Возвращение домой“ закончился в двадцать минут десятого. Журналист и его сестра, состоящая в браке с молодым адвокатом (здесь Галип впервые в жизни, пусть в скобках, увидел свое имя в газете), вышли со всеми зрителями из кинотеатра. Снег, десять дней засыпавший Стамбул, прекратился, но было холодно. Пройдя по проспекту Валиконагы, они вышли на проспект Эмляк, а оттуда на проспект Тешви-кие. Смерть настигла их в девять тридцать пять, когда они находились как раз перед полицейским участком. Убийца, использовавший старый пистолет „кырыккале“ – он еще хранится у отставных военных, – по всей вероятности, целился в журналиста, но попал в обоих. Видимо, пистолет заело, потому что было выпущено только пять пуль, из которых три попали в журналиста, одна – в его сестру и одна – в стену мечети Тешвикие. Поскольку одна из пуль попала журналисту в сердце, он скончался на месте. Другая пуля попала в ручку в левом кармане пиджака журналиста (все газеты взволнованно писали об этом символическом совпадении), поэтому белая рубашка писателя больше была залита зелеными чернилами, чем кровью. Что касается сестры, то, тяжело раненная в левое легкое, она вошла

в лавку, которая находилась к месту происшествия так же близко, как и полицейский участок». Автор репортажа, как детектив, снова и снова просматривающий пленку важного события, красочно описывал, как сестра, с трудом передвигаясь, подошла к известной в округе лавке Алааддина, но Алааддин, находившийся на улице, ее не заметил. Сестра с трудом входит в лавку и падает среди кукол. Потом пленка стала перематываться быстрее, и все становилось непонятным и нелогичным: лавочник, снимавший журналы с ветвей каштана перед лавкой, испугался услышанных выстрелов и, поскольку не видел, что кто-то вошел внутрь, опустил ставни и побежал домой.

Несмотря на то что в лавке до утра горел свет, ни полицейские, обследовавшие окрестности, ни кто-то другой не обнаружили умирающую внутри нее молодую женщину. Странно, что дежурный полицейский, стоявший на посту на противоположном тротуаре, не заметил второго раненого человека.

Убийца скрылся в неизвестном направлении. Утром один гражданин сообщил, что он незадолго до происшествия купил в лавке Алааддина лотерейный билет, а после этого недалеко от места происшествия видел устрашающего вида тень в странной одежде и пелерине, как в исторических фильмах (он сказал: «будто султан Фатих Мехмед»), и еще до того, как

прочитал о случившемся, рассказал об этом жене и ее сестре. Завершал молодой журналист статью пожеланием, чтобы молодые женщины не становились жертвами всеобщего равнодушия.

Солнечным утром в начале февраля отец сообщил Галипу, что пришел ответ из Кадастрового управления на запрос дяди Мелиха по поводу наследства, и выяснилось, что у Джеляля была еще одна квартира на окраине Нишанташи.

Квартира, куда дядя Мелих с Галипом отправились, прихватив с собой слесаря, находилась на верхнем этаже трехэтажного дома с почерневшими от копоти и дыма стенами, с облупившейся местами краской, напоминавшими кожу неизлечимо больного человека; попадая на такие узкие разбитые улицы, Галип всегда думал: почему богатые селились когда-то в столь бедных местах или почему людей, живущих в таких бедных местах, некогда называли богатыми? Слесарь легко открыл нехитрый замок двери, на которой не было никакой таблички, и удалился.

В квартире было две маленькие спальни, в каждой стояло по кровати. Их разделяла небольшая гостиная, освещенная солнцем через окно, выходившее на улицу. По обеим сторонам большого стола, находившегося посередине гостиной, стояли кресла. На столе лежали кучи газетных вырезок, рассказывающих

о совершенных в последнее время убийствах, фотографии, кино- и спортивные журналы, новые издания знакомых Галину с детства романов-комиксов, вреда «Техас» и «Томмикс», детективные романы, груды всяких бумаг и газет. Скорлупки от фисташек, доверху наполнявшие большую медную пепельницу, не оставляли у Галипа ни малейших сомнений, что за этим столом сидела Рюйя.

Там, где, должно быть, была спальня Джеляля, Галип увидел пакетики с «мнемоник-сом», другие антисклеротические лекарства, сосудорасширяющие препараты, аспирин и коробку спичек. То, что он увидел на стуле в комнате Рюйи, напомнило Галипу, что, уходя из дома, жена не взяла почти никаких вещей: немножко косметики, тапочки, брелок, который, она считала, принесет ей счастье, и щетку для волос с зеркалом на обратной стороне. Галип внимательно посмотрел на все эти вещи, лежащие на стуле фирмы «Тхонет» в пустой, с голыми стенами комнате, и они вдруг открыли ему какой-то скрытый смысл, ему показалось, что он постиг тайну мира. Вернувшись к дяде Мелиху, которого мучила одышка, он подумал: «Они пришли сюда рассказывать друг другу истории». Бумаги в папке на краю стола свидетельствовали о том, что Рюйя начала записывать истории, которые рассказывал Джеляль, и что Джеляль сидел в крес-

ле слева, где сейчас сидел дядя Мелих, а слушавшая его Рюйя сидела на втором, свободном сейчас, кресле. Галип сунул в карман пиджака рассказы Джеляля, чтобы потом использовать их в статьях для газеты «Миллиет», и дал объяснения дяде Мелиху, которых тот терпеливо ждал.

Джеляль заболел тяжелой болезнью, приводящей к потере памяти; эту болезнь давно открыл известный английский врач, но пока она считается неизлечимой. Чтобы скрыть от всех свою болезнь, он прятался в этих квартирах и постоянно просил помощи у Рюйи и Галипа. Поэтому иногда Рюйя, иногда Галип оставались здесь на ночь и для того, чтобы Джеляль вспомнил что-то и восстановил прошлое, слушали рассказы Джеляля и даже записывали их. Когда на улице шел снег, Джеляль часами рассказывал им нескончаемые истории.

Дядя Мелих как будто все понял и долго молчал. Потом заплакал. Закурил. Снова стал задыхаться. Справившись с приступом, сказал, что Джеляль всегда вел себя неправильно. Покинув дом Шехрикальп, он всю жизнь, казалось, мстил семье за то, что отец, женившись во второй раз, некрасиво поступил по отношению к нему и его матери. А ведь отец любил его не меньше, чем Рюйю. И вот теперь нет ни Джеляля, ни Рюйи. Теперь единственный у него, Мелиха, ребен-

нок-Галип.

Слезы. Молчание. Звуки незнакомого дома. Галип хотел сказать дяде Мелиху, что надо купить бутылку раки в лавке на углу и скорее вернуться домой. Но вместо этого он задал вопрос себе; читатели могут представить, какой это вопрос, и пропустить один абзац.

Какие истории, какие воспоминания, какие сказки, какие цветы в саду памяти Джеляля и Рюйи побудили Рюйю покинуть Галипа и перебраться сюда? Почему она это сделала? Потому что Галип не умел рассказывать истории? Потому что он не был интересным и веселым собеседником? Или потому, что некоторые рассказы он просто не мог понять? Или чрезмерным обожанием мешал их веселью? Или они сбежали от его постоянной грусти?..

Невозможно было примириться с потерей Рюйи, воспоминания о ней были непереносимы, казалось, от переживаемой им боли и тоски вещи начнут сдвигаться со своих мест; к концу лета Галип выехал из квартиры, которую они снимали с Рюйей, и перебрался в дом Шехрикальп, в квартиру Джеляля.

...В конце лета произошел военный переворот. Новое правительство, сформированное из почтенных людей, не запачканных грязью, называемой политикой, объявило, что найдет всех виновных в политиче-

ских убийствах, совершенных в недавнем прошлом. В годовщину смерти Джеляля Салика газеты вежливо напомнили, что не раскрыто даже его убийство. Одна газета, но почему-то не «Миллиет», в которой работал Джеляль, посулила оказавшему содействие в поисках его убийцы приличное вознаграждение. Сумма была такая значительная, что получивший ее мог купить грузовик, маленькую хлебопекарню или бакалейную лавку, то есть обеспечить себя постоянным доходом до конца жизни. Началось расследование убийства Джеляля Салика. Власти в Стамбуле и в провинции засучив рукава принялись за работу.

К этому времени я немного пришел в себя и начал потихоньку превращаться в деятельного человека. Этот новый человек, каким я стал, не особенно прислушивался к доходившим до Стамбула сообщениям провинциальных корреспондентов, например, о том, что убийца задержан в горном селении, около которого недавно упал в пропасть и разбился автобус с футболистами и болельщиками; потом поступило известие, что преступника поймали, когда он в приморском городке сидел и смотрел с тоской и чувством выполненного долга в сторону заморской страны, заплатившей ему мешок денег. Эти первые сообщения воодушевляли тех, кто раньше не осмеливался давать какую-либо информацию, а также побуждали власти

работать еще усерднее.

Сотрудники стамбульской службы безопасности стали вызывать меня по ночам, чтобы с моей помощью установить преступника. С наступлением комендантского часа и до утра отключали электростанцию, так как у муниципалитета не хватало на нее денег, и жизнь города разделилась на две половины – белую и черную. Спекулянты-мясники в темноте приводили в исполнение смертные приговоры, забивая старых лошадей. Жизнь города стала похожа на жизнь далеких провинциальных поселков. После полуночи, окутанный клубами сигаретного дыма, я вставал из-за рабочего стола, где с вдохновением, достойным Дзеляля, писал новую статью, спускался к парадному дома Шехрикальп, выходил на пустую улицу и ждал полицейскую машину, которая везла меня в здание госбезопасности в Бешикташе, похожее на замок за высокими стенами. Насколько пустым, застывшим и темным был город, настолько оживленным, полным жизни и света был этот замок.

Мне показывали фотографии самых разных молодых людей: то с мечтательными лицами, то с растрепанными волосами, то с воспаленными глазами. Разглядывая пугающие лица людей, вынужденных позировать фотографу среди некрашеных, грязных, неизвестно чем заляпанных стен отделов безопасности,

я иногда различал какие-то показавшиеся мне знакомыми тени, задерживался взглядом, и тогда бдительные сотрудники, неизменно торчавшие рядом, сообщали мне жуткие подробности о человеке, мечтательное выражение лица которого я рассматривал на фотографии: этот парень был схвачен по доносу в кофейне «Улькюджю» в Сивасе, на его счету четыре убийства; этот молодой человек, у которого и усы еще не растут, опубликовал большую статью против Джеляля в журнале энверходжаевского толка; фотографию этого, с оторванными пуговицами на пиджаке, прислали в Стамбул из Малатья (город в центральной части Анатолии)-он был учителем и лет десять назад, после публикации статьи Джеляля о Мевляне, настойчиво объяснял своим девятилетним ученикам, что Джеляль должен быть убит за оскорбление великого религиозного деятеля; человек средних лет с испуганными глазами, выглядевший как отец семейства, напившись в кабаке в Бейоглу, произнес длинную речь, призывая очистить страну от заразы; сидящий за соседним столом гражданин, мечтающий об обещанном газетой вознаграждении, донес на него в полицейский участок Бейоглу, сказав, что, говоря о заразе, он упомянул и Джеляля Салика. Знает ли Галип-бей этого человека с испитой физиономией, видел ли Галип-бей в последнее время рядом с Джеля-

лем кого-либо из этих людей, чьи фотографии лежат перед ним?

В середине лета, когда на новых пятитысячных купюрах появилось изображение Мевляны, я прочитал в газетах, что умер отставной полковник Фатих Мехмет Учунджу. Мои вынужденные ночные визиты в управление езопасности участились, а число предлагаемых мне фотографий увеличилось. Я увидел еще более печальные, страшные и странные лица, чем те, что были в скромной коллекции Джеляля. Мастера по ремонту велосипедов, студенты-археологи, портные, заправщики с бензоколонок, подмастерья в лавках, киностатисты, владельцы кофеен, авторы религиозных брошюр, кондукторы автобусов, сторожа парков, сводники, молодые бухгалтеры, продавцы энциклопедий... все они прошли через пытки, были измучены – кто больше, кто меньше – и смотрели в объектив с выражением «Я не здесь», «Это не я», прикрывающим печаль и страх, как будто они забыли тайну, хранившуюся в глубине их памяти, а поскольку забыли, то и не стремились постичь ее.

Я не собирался говорить о буквах, которые видел на лицах, запечатленных на фотографиях, потому что не хотел снова возвращаться к старой игре, казавшейся мне (и моим читателям) давно законченной: все идет так, как идет, судьбой все предопределено. Но

в одну из бесконечных ночей в замке (может быть, правильнее было бы говорить «крепость»?), когда я с неизменной решимостью отказывался узнавать показываемые мне лица, один из сотрудников службы безопасности – позднее я узнал, что он полковник генштаба, – спросил: «Вы совсем не видите букв? – и с профессиональной уверенностью добавил: – Мы тоже знаем, как трудно человеку в этой стране быть самим собой. Но все же помогите нам хоть немного».

В другую ночь коренастый подполковник рассказывал, что в Анатолии еще сохранились остатки ордена, члены которого по-прежнему верят в Махди, причем не преподносил это как результат работы спецслужб, а будто дружески делился информацией: во время одного из своих тайных путешествий в Анатолию Джеляль завязал отношения с этими «реакционерами», ему удалось встретиться с ними то ли на окраине Коньи в доме автослесаря, то ли в Сивасе в доме одеяльщика, и он сказал, что в своих статьях поместит знаки, извещающие о приближении дня конца света. Так вот, статьи о циклопах, проливах, из которых ушла вода, переодевающихся пашах и падишахах полны этих знаков.

Один из служащих госбезопасности объявил, что он в конце концов разгадал знаки и надеется расшифровать акrostих, который складывается из начальных

букв абзацев давнишней статьи Джеляля под названием «Поцелуй». Мне захотелось сказать: «Я знал». Я прекрасно понимал, зачем они разъясняют мне смысл названия книги «Разгадка тайны», где автор рассказывает о своей жизни и борьбе, и показывают фотографии, отснятые им на темных улицах Бурсы, когда он был в ссылке в этом городе; мне хотелось их прервать: «Я знаю». Я, как и они, после статей Джеляля о Мевляне знал о пропавшем человеке и забытой тайне. Они сказали мне с веселыми улыбками, что у Джеляля «винтики раскрутились», то есть память ослабла, и потому он искал человека, который убил бы его, чтобы «обрести» забытую тайну; среди выложенных передо мной фотографий я увидел лица грустные, серьезные, растерянные, похожие на те, что хранились у Джеляля в шкафу черного дерева; и опять мне захотелось сказать: «Я знал». А еще мне хотелось сказать, что я знаю, кто те влюбленные, к которым Джеляль обращался в статье об отступивших водах Босфора, и знаю, с кем он встречался в своих снах еще до того, как засыпал.

. Может быть, им было прекрасно известно, что я знал и чего не знал, и они просто хотели поскорее закончить свое дело и изгнать все сомнения, которые были у меня и у читателей газеты, до того, как они непомерно разрастутся; они хотели лишить нашу

жизнь тайны, раскрыть тайну Джеляля раньше, чем мы ее раскроем.

Иногда, видя, что дело порядком затянулось, кто-нибудь из опытных работников, которого я впервые видел, или тщедушный прокурор, с которым познакомился давно, принимались выстраивать улики, как в плохих детективных романах. Они высказывали предположения, что убийца был пешкой, засланной внешними силами, желающими «дестабилизировать» наше общество, что преступниками являются бекташи-накшибен-дисты, возмущенные тем, что их тайны стали объектом насмешек, что виноваты некоторые поэты, пишущие акростихи размером аруз, то есть добровольные хуруфиты, которые, сами того не подозревая, взяли на себя роль представителей внешних сил в этом заговоре, толкающем нас к беспорядкам, своего рода Страшному суду. Нет, у этого убийства не было никаких политических мотивов: это легко понять, достаточно вспомнить, что убитый журналист долгие годы писал не имеющую ничего общего с политикой чушь, которую вбил себе в голову, причем старомодным стилем и так длинно, что никто не в силах был это читать. Убийца – или сам знаменитый бандит Бейоглу, считающий, что Джеляль распустил о нем оскорбительные слухи, или нанятый им человек.

Наконец они решили, что убийца-парикмахер, на

которого поступил донос. Мне показали этого маленького худого человека лет шестидесяти, увидели, что я не могу опознать и его, и после этого меня больше не звали в замок на безумные пляски смерти, жизни, тайны и власти. Через неделю все газеты сообщали о парикмахере, который сначала отрицал свою вину, потом признал, потом опять отрицал и снова признал. История была такая: Джеляль Салик написал об этом человеке в статье под названием «Я должен быть самим собой», которую впервые опубликовал много лет назад; в той статье и – позже — в других статьях Джеляль писал, как парикмахер пришел к нему в газету и задал вопросы, касающиеся Востока, нас и нашего будущего, вопросы глубокие, способные пролить свет на тайну; Джеляль на все эти вопросы дал шуточные ответы, причем в присутствии других людей. Парикмахер с возмущением увидел, что эти шутки, которые он принял как оскорбление, были использованы Джелялем в нескольких статьях. Когда спустя двадцать три года статью снова опубликовали под тем же названием и тем самым снова нанесли ему оскорбление, парикмахер не выдержал и решил отомстить журналисту (были здесь и другие причины). Осталось неизвестным, о каких других причинах, существование которых отрицал парикмахер, шла речь, но действия парикмахера, говоря языком полицейских и га-

зет, были определены как «индивидуальный терроризм». Вскоре после этого в газетах была напечатана фотография измученного, усталого человека, на лице которого не было ни букв, ни смысла; быстро вынесли и утвердили приговор, и в назидание другим парикмахер был повешен; это произошло на рассвете, когда по улицам Стамбула бегают только собаки, не признающие комендантского часа.

В те дни дома я работал над статьей о горе Каф, а в контору ко мне приходили посетители, которые хотели поговорить о Джеляле. Я слушал их в каком-то полусне и ничем не мог им помочь, просто выслушивал их излияния. Экзальтированный учащийся лицея им. Имама Хатиба говорил, что из статей Джеляля о палачах убийца мог сделать вывод, что Джеляль на самом деле Даджал, и тогда, убив Джеляля, этот человек становился Махди, то есть ставил себя на место Его; портной из Нишанташи уверял, что шил для Джеляля исторические костюмы, я с трудом вспомнил, что именно его видел сидящим в мастерской в ту ночь, когда пропала Рюйя, – так смутно помнится фильм, увиденный много лет назад. Пришел Саим, стал просвещать меня на предмет богатства архива госбезопасности; пока он рассуждал о названии статьи «Я должен быть самим собой», ставшей причиной убийства, я унесся мыслями куда-то далеко-далеко и от себя, и

от Сайма.

Некоторое время я полностью посвятил себя адвокатской практике, делам, которые вел. Я жил активной жизнью, нашел старых друзей, завел новых, проводил вечера в компаниях. Иногда я замечал, что облака над Стамбулом окрашены в необычный желтый или пепельный цвет, иногда видел знакомое, привычное, обычное небо. По ночам, написав на одном дыхании две-три статьи, как делал это Джеляль в свои лучшие годы, я вставал из-за стола, садился в кресло около телефона, вытягивал ноги на подставке и ждал, когда окружающие меня вещи превратятся в знаки другого мира. И тогда я чувствовал, как в глубине моей памяти шевелится какое-то воспоминание, оно как тень перебирается из одного сада памяти в другой и третий, и я в этот момент будто открывал и закрывал двери своего "я" и постепенно превращался в другого человека, который мог бы встретиться с этой тенью и быть счастлив с ней; я ловил себя на том, что был готов заговорить голосом этого другого человека.

Я старался владеть собой, поменьше отдаваться воспоминаниям о Рюйе – они наваливались, как правило, в самое неподходящее время – и очень боялся, что меня может одолеть меланхолия. Два-три раза в неделю я вечерами ходил к тете Хале, после ужина кормил с Васыфом японских рыбок, но никогда не са-

дился на край постели и не смотрел газетных вырезок (один раз все же посмотрел и увидел вырезку, где фотография Джеляля была напечатана вместо фотографии Эдуарда Робинсона; так я открыл, что они немного похожи, как дальние родственники). Когда становилось поздно, мой отец или тетя Сузан говорили, чтобы я поторопился и не опоздал домой – как будто меня там ждала больная Рюйя, – а я им отвечал: «Да, пойду, пока не наступил комендантский час». К дому Шехрикальп и нашему старому дому я никогда не ходил мимо лавки Алаад-дина, я шел окольным дальним путем по переулкам, стараясь не оказаться на тех улицах, где мы гуляли с Рюйей и по которым шли Рюйя и Джеляль, выйдя из кинотеатра «Конак». В результате я попадал в странные стамбульские переулки с фонарями, буквами, незнакомыми стенами, страшными слепыми домами, окна которых были задернуты темными занавесками. Плутание в темноте по незнакомым местам делало меня настолько другим человеком, что, когда я подходил к дому Шехрикальп уже после наступления комендантского часа и видел все еще висящий кусок материи, привязанный к решетке балкона на верхнем этаже, я с радостью воспринимал это как знак того, что Рюйя ждет меня дома. Увидев эту синюю тряпку, я неизменно вспоминал одну ночь в третий год нашей женитьбы: мы по-

доброму разговаривали в тишине, как старые друзья, хорошо понимающие друг друга, и беседа не тонула в бездонном колодце равнодушия Рюйи. Открыл тему я, но заработало ее воображение, и мы вместе стали представлять, как проведем день вдвоем, когда нам будет по семьдесят три года.

Итак, нам по семьдесят три года, и зимним днем мы вместе идем по улицам Бейоглу. На сэкономленные деньги мы покупаем друг другу подарки: свитер или перчатки. На нас старые, тяжелые, сохраняющие наш запах пальто, к которым мы привыкли и потому любим. Мы идем бесцельно, просто разговариваем и равнодушно смотрим на витрины. Мы ругаем все подряд, жалуемся, что все переменялось, вспоминаем, насколько лучше была раньше одежда, витрины и люди. Причем мы прекрасно понимаем, что разговоры наши вызваны тем, что мы старые, что нам нечего ждать от будущего, но все равно ведем мы себя именно так. Мы покупаем килограмм засахаренных каштанов, тщательно следя, как их взвешивают и заворачивают. Потом на одной из улочек мы набредаем на старую книжную лавку, которую никогда раньше не видели, и поздравляем друг друга с этим удивленно и радостно. В лавке низкие цены, здесь продаются детективные романы, которые Рюйя не читала или забыла, что читала. Мы разгребаем книжные завалы, выбирая

книги; старая кошка бродит среди книжных груд и мурлычет, а понятливая продавщица улыбается нам. Потом мы заходим в кондитерскую, радуясь, что книги, купленные так дешево, обеспечат Рюю чтивом минимум на два месяца; за чаем у нас возникает маленькая ссора: поскольку нам по семьдесят три года, мы, как все люди этого возраста, ссоримся оттого, что все эти семьдесят с лишним лет жизни прошли впустую. Мы возвращаемся домой, разворачиваем пакеты, раздеваемся и, не стесняясь наших белых, дряблых тел, предаемся любви, поедая каштаны и запивая их сладким сиропом. Блеклый цвет наших старых, усталых тел похож на полупрозрачную кремовую белизну нашей кожи шестьдесят семь лет назад, когда мы только познакомились. Рюя, у которой фантазия всегда была развита сильнее, чем у меня, сказала, что, занимаясь любовью, мы закурим сигареты и будем плакать. Я заговорил на эту тему, потому что знал, что в семьдесят три года Рюя уже больше не будет тосковать по другим своим жизням и будет любить меня. А Стамбул, как понимают читатели, будет оставаться таким же бедным.

Иногда в старых коробках у Джеляля, среди вещей в моей конторе или в одной из комнат у тети Хале я все еще натыкался на какие-то старые вещи, не выброшенные лишь оттого, что я почему-то не обратил

на них внимания. Фиолетовая пуговица от цветастого платья, которое было на ней в тот день, когда мы познакомились; «модные» очки с приподнятыми верхними краями: в шестидесятые годы они появились в европейских журналах на лицах богатых женщин, тогда же носила их и Рюйя, но месяцев через шесть перестала; маленькие черные шпильки: одной она обычно закалывала волосы, укладывая их обеими руками, а другую зажимала в уголке рта; крышка от деревянной коробочки, в которой она держала иголки и нитки и о пропаже которой сильно жалела; каким-то образом оказавшееся среди адвокатских дел дяди Мелиха задание по литературе: Рюйя с помощью энциклопедии сочинила рассказ о птице Симург, живущей на горе Каф, и приключениях тех, кто искал ее; написанный рукой Рюйи список покупок, которые я должен был сделать (солёный тунец, журнал «Бейяз пердэ», газ для зажигалки, шоколад с фундуком «Бонибон»); дерево, которое Рюйя нарисовала под руководством Дедушки; зеленый носок, один из тех, что я видел на ней, когда она девятнадцать лет назад садилась на взятый напрокат велосипед.

Перед тем как осторожно опустить эти предметы в мусорный ящик возле дома на улице Нишанташи и убежать, я несколько дней, иногда несколько недель, даже – да, да! – несколько месяцев, носил их в наби-

тых всякой ерундой карманах, а когда, выбросив, ушел, всегда мечтал, что однажды эти грустные вещи вернуться ко мне вместе с воспоминаниями, так же как выступают из тьмы вещи в квартире Джеляля.

Сегодня мне от Рюи остались только записки. мрачные, черные, совсем черные страницы. Тут записаны рассказы о палачах и сказка о Рюие и Галипе, услышанные от Джеляля ночами, когда шел снег; я вспоминаю, что единственный способ для человека стать собой – это стать другим, заплутаться в историях другого; эти истории мне хотелось бы поместить рядом в черной книге, они напоминают мне о наших воспоминаниях и любовных историях и сказках, рассказанных нам другими, а еще напоминают о влюбленном, потерявшемся на улицах Стамбула, и человеку, забывшем смысл выражения своего лица и старающемся разгадать тайну; таким образом, я подхожу к концу своей книги, усердно занимаясь новой работой, которая состоит в новом пересказе старых, очень старых историй. В конце моей книги Галип пишет последнюю статью Джеляля, ее надо вовремя передать в газету; но в общем-то этими статьями уже никто не интересуется. Под утро я с горечью вспоминаю Рюю и, встав из-за стола, смотрю в темноту просыпающегося города. Вспоминаю Рюю и, встав из-за стола, смотрю в темноту города. Я вспоминаю Рюю, и мы

словно вместе смотрим в темноту Стамбула, и когда вдруг начинает казаться, что между сном и явью я найду ее след на голубом клетчатом одеяле, нас охватывают печаль и волнение. Потому что нет ничего более удивительного, чем жизнь. Кроме слова. Кроме утешительного слова.

1985-1989